

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ**

№ 4

АПРЕЛЬ

**ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1928**

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>Низ. Карев.</i> —К итогам и перспективам споров с механистами. (По поводу третьего сборника «Диалектика в природе»)	5
<i>Н. Альтер.</i> —Теория пролетарской революции Каутского	30
<i>В. Поляков.</i> —О первоначальном накоплении. (К вопросу о методологической постановке проблемы первоначального социалистического накопления)	72
<i>Г. Дашевский.</i> —Номинализм и проблемы ценности денег.	93
<i>А. Зивельчинский.</i> —Социологическое обоснование эстетики	115
<i>З. Чусарев.</i> —Природа и пределы методики условных рефлексов.	129

Дискуссионный отдел.

<i>В. Фридман.</i> —Ответ на «Несколько замечаний» по поводу книги В. Фридмана «Возможно ли движение» в связи с апорией Зенона «Ахиллес и черепаха».	164
<i>Г. Дмитриев.</i> —Еще раз о парадоксе Зенона «Ахиллес и черепаха» и путанице В. Фридмана.	169

Памяти А. А. Богданова.

<i>Ст. Кризов.</i> — А. А. Богданов.	179
--	-----

Памяти А. Я. Троицкого.

<i>В. Луштол.</i> —Человек единой цели.	195
<i>В. Асатур.</i> —Памяти А. Я. Троицкого.	193

Критика и библиография.

<i>А. Талмийер.</i> —Учение Маркс и учитель Розе	199
<i>З. Амлас.</i> —Проф. А. Вебер. Депозитные и спекулятивные банки.	204
<i>Н. Альтер.</i> —Роза Люксембург. Избранные сочинения.	211
<i>Кутский.</i> —Эдуард Бернштейн. Детство и юность	213
<i>Б. Монахис.</i> —А. Острогорский. Демократия и политические партии	216
<i>Н. Браславский.</i> —Карл Маркс в личной жизни.	219

Сообщения и заметки.

Условия приема на основные отделения в Институт Красной Профессуры на 1928—29 учебный год.	223
Принят аспирантов в Институт экономики	232



—

—

К итогам и перспективам споров с механистами.

(По поводу третьего сборника «Диалектика в природе»).

Ник. Карев.

1. Вместо введения.

Споры с механистами продолжаются. Споры эти проникают во все новые и новые области знания, захватывают все более и более широкие круги партийцев, молодежи, научных работников. При этом, чем более вынуждаются отдельные механисты сдавать свои позиции в области принципиальной, тем ожесточеннее становятся их нападки, тем острее борьба. В чем причины столь странного явления? Каков его социальный смысл? Чей «социальный заказ» выполняют спорящие стороны? Такие вопросы не очень уместно ставить в теоретической дискуссии по каким-либо конкретным вопросам, разрешаемым текущей научной и политической практикой. Но такие вопросы обязательно поставить для марксиста перед лицом борьбы, ведущейся несколько лет под ряд по ряду центральных вопросов мировоззрения. С законной тревогой должно спросить себя: что же дальше? Не слишком ли много свободы получают гнилые процессы, куда устремляются они, что именно несут они с собою, как их изолировать и обезвредить?

Для того, чтобы подвести некоторые итоги, лучше всего воспользоваться только что вышедшим третьим сборником «Диалектики в природе» — своего рода центральным органом наших механистов. Меньше всего разбор его может ставить себе целью способствовать разработке вопросов теории марксизма. Для теоретической дискуссии по существу стоящих перед марксистской наукой вопросов сборник не дает материала. Специальная, естественно-научная часть его, за исключением двух статей Гумбеля, имеющих очень далекое отношение к диалектике, мягко выражаясь, более чем элементарна. Удельный вес философской части будет виден из дальнейшего. Сборник — лишь новый букет полемических красот, который имеет смысл собирать только с той же целью, с какой в свое время Н. Г. Чернышевский коллекционировал полемические красоты современных ему умственно и морально дефективных профессоров и журналистов. Однако, вместе с тем, сборник нуждается в изучении. И как социальное явление особого рода в условиях пролетарской диктатуры, и как

материал для выводов о возможных дальнейших путях нашей теоретической борьбы за марксизм.

Своеобразие спора с механистами видно прежде всего хотя бы из того, что первый вопрос, который неизбежно приходится ставить себе каждый раз, когда начинаешь рассмотрение какого-либо нового их произведения,—это вопрос: есть ли у механистов точка зрения? Сохранились ли на данном этапе хоть какие-нибудь остатки того, что еще вчера утверждалось с пеной у рта? Сколько самых тяжелых обвинений ни бросалось по адресу «диалектиков», сколько ни было пролито чернил для того, чтобы сделать белое черным, никто еще до сих пор не решался сказать; что у «диалектиков» нет точки зрения. Между тем сами механисты не могут сказать, что у них хотя бы по какому-нибудь значительному вопросу есть единая, устойчивая позиция. Расплывчатость, двусмысленность формулировок, попеременное признание или отрицание важнейших положений марксистской методологии, своеобразие точки зрения каждого «индивидуума», входящего в состав течения, образуют неоспоримо отличительную черту механистического направления. Объединяет отрицательная позиция. Эта своеобразная черта имеет глубокие корни и чрезвычайно характерна. Над нею нельзя не задуматься.

В идейной рыхлости механистов одновременно и их слабость, и их сила. Она объединяет Степанова с Варьяшем и Аксельрод с Тимирязевым. Она позволяет механистам без всякого труда свои издания превращать в своеобразную лавку старьевщика, в которой есть все, но либо в виде изношенного тряпья, либо в виде причудливой комбинации исключающих друг друга лоскутков. Но и она же вместе с тем свидетельствует о том, сколь далеки механисты марксистскому, механистическому взгляду на природу и историю.

Третий сборник повторяет в этом отношении своего предшественника, разобранный уже нами в № 4 «Под Знаменем Марксизма» за 1927 год.

Когда-то, на заре полной надежд и простодушной юности, механисты выступали с более или менее ясными формулировками, определенными положениями. Своего рода классиком современного механизма являлся тов. Степанов, договаривавший свои положения почти до конца. Тимирязевский институт, издатель «Диалектики в природе», бурно демонстрировал солидарность с тов. Степановым и клялся в том, что «теоретически в конечном счете социальные явления также доступны не только качественному—социологическому анализу, но и количественному—«физико-химико-биологическому»¹⁾. Тов. Степанов провозгласил, что философия марксизма тождественна выводам современного естествознания, а гегелевская диалектика и ее изучение представляют бесплодную схоластику.

¹⁾ Госуд. Тимирязевский научно-исследовательский институт, Механистическое естествознание и диалектический материализм, 1925 г., стр. 63.

Но с тех пор утекло много воды. Не даром говорят, что за битого двух небитых дают, да и то не берут. Механисты поняли, что взять в лоб крепость материалистической диалектики, «гегельянщины», как они сие называли, нельзя. Тогда началось обходное движение. Кроме того, слишком уже явна была собственная теоретическая несостоятельность, слишком явно было, что все выступления механистов прямо противоположны тому, чему учили Энгельс, Плеханов, Ленин. Наконец, в среде самих неудовлетворительных диалектикой «мыслителей» оказалось столько различных мнений и столько бьющей в глаза путаницы, что выработать собственную положительную точку зрения оказалось невозможным. Между тем признать ошибки не хватало мужества. Сила, питающие эти ошибки, оказывались сильнее голоса марксистского разума. И вот люди, сбившие со своих настоящих позиций, либо чисто внешне усваивали те или иные положения диалектики, стремясь вложить в них свой смысл и на этой почве отвоевать себе право на дальнейшую пуганицу, либо на самом деле теряли в области теории всякую твердую почву и беспомощно оттадживались то от одного, то от другого берега. И чем больше путал человек, тем больше кричал он о путанице у людей, разоблачавших его эклектизм.

Так сложилось механистическое направление в его современном виде.

Сборники «Диалектика в природе» для него типичны. С одной стороны уже во втором сборнике Тимирязевский институт устами Васильева, Рубановского, Перельман, Великанова отмежевывался от тов. Степанова. Реверансы и поклоны философии, диалектике, Гегелю делались на каждой странице.

С другой стороны, продолжалась яростная атака на тех, кто заставлял механистов своей критикой отвешивать эти поклоны. Настоящий теоретический бунт на коленях!

«Диалектика в природе» № 3 продолжает ту же тактику. С той лишь разницей, что, попробовав ее однажды, механисты, очевидно, решили, что за таким надежным прикрытием можно позволить себе и несколько больше, чем позволялось до сих пор. Зато тем разительнее противоречие между диалектической терминологией, превратившейся в чистую словесность, и механистическим содержанием воззрений. И чаще, чем во втором сборнике, спадает в том или другом месте диалектическое покрывало и перед глазами читателя выступает механистическая эклектика во всей ее природной наготе. Когда древние изображали Аполлона и Афродиту без покровов—это было прекрасно, но сколь далеки от богов Эллады Аполлон и Афродита механистов.

Итак, для того, выяснить—есть ли в настоящее время у механистов точка зрения, разберем важнейшие философские и методологические положения третьего сборника.

II. Роль диалектики в научном исследовании.

Прежде чем перейти к рассмотрению постановки этого вопроса в третьем сборнике, предварительно нужно сделать одну оговорку насчет формы нашего изложения. В невероятно нудных и скучных спорах с механистами, нудных и скучных в виду бедности привлекаемого нашими противниками материала и элементарности обсуждаемых вопросов, моим товарищам неоднократно приходилось, с одной стороны, для углубления и оживления спора привлекать новые проблемы (за все время споров механисты не поставили ни одной проблемы!), а с другой—стремиться оживлять несколько и скучную форму изложения. Один товарищ, в статье о Спинозе, имел несчастье, иллюстрируя точку зрения Спинозы, привести несколько стихов из оды Державина «Бог». Речь идет сейчас не о том, близки или далеки эти стихи по существу точке зрения Спинозы, а лишь о самом факте наличия их в статье. И что же? Тов. Тимирязев, анонимная редакция (прекрасная незнакомка, которая, несмотря на все требования ответить, кто же отвечает за журнал, боится потерять свою невинность, подняв вуаль) громят злодейское преступление. А. К. Тимирязев так пишет: особого внимания заслуживает, как крайне опасная, статья с цитатами из оды «Бог», и засим ставит в скобках негодующий восклицательный знак (стр. 52).

При этих условиях противники тов. Тимирязева оказываются в тяжелом положении. Как писать против него, иронизировать и цитировать, коль вдруг поэт или писатель, художественным образом которого ты захочешь воспользоваться, будет запрещен тов. Тимирязевым? Хорошо было Марксу цитировать в свое время «Божественную комедию» Данте, когда не было столь строгого блюстителя нравов. Попробовал бы он теперь, когда на-страже стоит А. К. Тимирязев! Ждн, пожалуй, пока сам тов. Тимирязев начнет писать оды вместе с Варьяшем и Перовым и тем самым заполнит вдруг образовавшуюся пропасть в разрешаемой к цитированию художественной литературе. Впрочем, в известном смысле и произведения друзей тов. Тимирязева тоже относятся к «художественной литературе», но их «художественность» совсем особого рода и их «музыка» по своему тембру, очень далека от музыки божественной поэзии.

Написал «божественной»—и вновь передо мной А. К. Тимирязев! Нет, уж видно не избежать его гнева, заранее клясь в том, что хочу цитировать Гете, у которого тоже не все было благополучно по части наличия в стихах богов и чертей, и, чтобы не слишком раздражать пуризм тов. Тимирязева, позволю себе привести слова поэта всего лишь один раз. Уважение зонтику тов. Тимирязева, предохраняющему его белоснежные ризы даже от неблагоприятных стихов!

Итак, к делу.

Как и подобает, согласно указанной ранее тактике, сборник начинается передовой, в которой таинственная редакция раскланивается

с Гегелем и диалектическим материализмом. На стр. 11 приводится известная цитата из Ленина, требующая от современных естествоиспытателей изучения гегелевской логики и даже отвергается «старый механический материализм». Слово «старый» должно, очевидно, послужить здесь тою лазейкой, через которую, в том случае, если не лезет голова, должен пролезть хвост. Но затем на стр. 15—17, начинается истолкование того, какова роль диалектики в научном исследовании. Важнейшие формулировки таковы: сборники «ставили своей целью найти диалектику в природе, доказать истину диалектики при помощи данных наук, обогатить, развить ее, а не, наоборот, доказывать истины специальных наук из общих законов диалектики» (15—16). И далее: «Диалектика, ее законы должны быть в первую очередь выводом, а не доводом в научных исследованиях». А за сим следует великолепное «но»: «Но эти законы, полученные из опыта, могут и должны уже руководить дальнейшими исследованиями как в области природы, так и общества» (17). В заключение же объявляется, что, если не доказывать естествоиспытателю, что он диалектик, хотя часто и плохой, то естествоиспытатель «махнет рукой и остережется входить в такую коллекцию»!..

Типичное для механистов рассуждение, о котором хотелось бы сказать словами чорта у Гете:

Резолютивен наш отважный вид,

Но абсолютность все же нам вредит.

На первый взгляд все как будто благополучно. И права науки защищены, и диалектика упомянута, и даже, правда—после «но», дана определенная характеристика задач диалектики. Если же вдуматься в весь ход мысли статьи и сопоставить ее с некоторыми замечаниями в следующей статье А. К. Тимирязева, то вскрыется целый ворох путаницы, в которой, впрочем, есть своя, особая логика.

В самом деле—что значит, что диалектику должно найти в природе, а не из ее законов доказывать истины специальных наук? Что значит самая постановка вопроса? Что такое законы диалектики? Они—выражение наиболее общих форм и законов движения в природе, истории и человеческом мышлении. Законы диалектики являются выводом из всей предшествующей истории познания мира. Сами по себе они не дают ответа ни на один конкретный вопрос специального знания, будучи лишь выражением, абстракцией наиболее общих форм движения. Они указывают лишь путь, метод, следуя которому мы должны изучать конкретную действительность. Истинность нашего познания доказывается в конечном счете нашей практической деятельностью. Таким образом, законы диалектики не представляют собой ни пассивный продукт специального научного знания, ни готовые схемы и формулы, из которых может быть выведено положительное знание. Они дают метод открытия новых истин, так как указывают путь наиболее всесто-

ронного изучения движения и связей данного предмета. Вместе с тем, служа орудием конкретного исследования, метод не только указывает способ научной обработки данного материала, но сам применяется в процессе этой обработки, включает в себя понимание новых, все более и более тонких и сложных взаимозависимостей в движении и новых способов образования понятий. Одинаково враждебно духу марксизма рассматривать диалектику и как некую шкатулку, которая пополняется и обогащается данными специальных наук, не действуя на сами эти науки, и как некий универсальный закон, из которого чисто-логически могли бы быть выведены частные законы природы. Откуда это противопоставление? Из какой «коллекции» оно извлечено? Всем, кто помнит споры с механистами за последние годы, легко это установить. Диалектику в качестве некоего универсального закона, из которого при помощи понятия «импликация» должна была быть выведена вся мировая характеристика, пытались истолковать не кто иной, как А. Варьяш в его статье «Формальная и диалектическая логика» в № 6—7 «Под Знаменем Марксизма» за 1923 г. Таким образом—сделать вид, что критикуешь «диалектиков», подsunуть им свою собственную точку зрения и, запутав вопрос, в качестве спасающего «но» списать вывод, скажем, из Энгельса,—разве не замечательная тактика? Но так как правильный вывод соединен в корне с неправильной постановкой вопроса,—то обеспечена затем возможность затушевать его как угодно.

В самом деле. Если диалектика должна только искаяться в природе, в специальных науках и обогащаться ими, не перерабатывая в то же время и не обогащая специальное знание, не вскрывая его метафизичность и односторонность, то где учиться диалектике? Очевидно, вовсе не в материалистическом истолковании Гегеля, как заповедал Ленин, не у Маркса и Энгельса, а у Дж. Дж. Томсона и Ленада, главных вдохновителей физика А. К. Тимирязева. Вот в чем смысл всей философии. Марксизм может-де и даже должен заимствовать кое-что из естествознания и обогащаться им, но он вовсе не нужен самому естествознанию. Такова внутренняя тенденция всей этой аргументации.

—По своей философской наивности тов. Тимирязев на стр. 43 пишет, что ведь Ленин указывал, что диалектика должна браться не как сумма примеров, а должно уметь вскрывать ее законы в любом явлении действительности. Тов. Тимирязев с замечательным остроумием понимает это в том смысле, что Ленин рекомендует заниматься изучением диалектики именно на отдельных примерах. Ему не понятен полный смысл ленинского положения. Между тем Ленин как раз возмущается против того, чтобы диалектику превращать в набор примеров, а требует, чтобы была разработана теория диалектики, связь ее законов, которая позволила бы затем на любом примере вскрывать все важнейшие из них. Тогда лишь, владея этими основными законами диалектики, можно будет все действительное рассматривать как единство противоположных определений, а не просто

диалектические законы к отдельному или нескольким примерам. Впрочем, то, что тов. Тимирязев не понял в данном случае Ленина, не удивительно. Удивительно лишь, что он имеет неужердимое влечение писать именно о том, о чем, судя по его произведениям, он не имеет ни малейшего представления. Так он берется защищать невежественную статью Рубановского, Перельман и Великанова в № 2 «Диалектики в природе», в которой они утверждали, что у Гегеля развитие дано только в пространстве, а не во времени. В докладе на заседании о-ва воинствующих материалистов я указал, что это неграмотно, и привел соответствующую цитату из Л. Фейербаха. Что к чему—тов. Тимирязев не знает. А высказаться ему хочется во что бы то ни стало именно по тому вопросу, по которому для него: слово—серебро, а молчание—золото. И вот на стр. 50 он торжественно заявляет, что, отмечая ошибку Великанова и др., я-де «не допускаю критики Гегеля». Энгельс же утверждал, что у Гегеля природа неспособна к развитию во времени. Действительно, и совершенно правильно, Энгельс это утверждал. Но, когда Энгельса, который знал Гегеля, повторяют Великановы и Тимирязевы, не имеющие о Гегеле никакого понятия, получается величайший конфуз. Дело в том, что у Гегеля действительно нет развития во времени в «Философии природы», так как на этой ступени логическая идея существует в форме внешнего бытия и ее ступени помещены как бы рядом друг с другом в пространстве. Но, как я и отметил, в «Феноменологии», в «Философии духа», в «Философии истории» у Гегеля, по словам Л. Фейербаха, есть «только все исключающее время, но не пространство... его система знает только о сопоставлении и преемственности и ничего не знает о согласовании и сосуществовании»¹⁾. Впрочем, от того, что тов. Тимирязев не читает Гегеля, он очень мало теряет.

Аналогично ведет себя тов. Тимирязев, когда речь идет и о французском материализме XVIII века, чтение классиков которого, казалось бы, является элементарной обязанностью для человека, берущегося не только рассуждать, но и писать о материалистической философии. Чтобы спасти современный механизм, тов. Тимирязеву понадобилось объявить французский материализм XVIII века, неоднократно критиковавшийся классиками марксизма, сплошной массой вульгарных механистов. Мы ему указали, что это далеко не так, что среди французских материалистов были разные группы. Что возразить Тимирязеву? На самих французских материалистов он не ссылается либо потому, что не знает их, либо, что еще хуже, потому,

¹⁾ (1) том что у Гегеля в «Философии природы» нет развития во времени, уж коль хочет тов. Тимирязев по этому поводу полемизировать, см. в моей статье «Проблемы философии в марксизме» («Под Знаменем Марксизма», № 8—9 за 1925 г., стр. 23). Одним из важнейших недостатков гегелевской системы являлось как раз то, что развитие в пространстве и развитие во времени у него были оторваны и противопоставлены друг другу, вместо того, чтобы рассматриваться, как единый процесс.

что считает неудобным для себя их истинные воззрения. Что же остается? Апеллировать к тому, что-де Маркс и Энгельс называли французский материализм метафизическим и механическим. Но ведь Маркс и Энгельс давали общую характеристику, а затем Маркс, скажем, «Племянника Рамо» Денро специально выделял, вслед за Гегелем, как особо блестящее произведение. Ведь, казалось бы, сыска рассуждая о французском материализме, тов. Тимирязев не мог бы указать, в чем же философски и методологически он над ним возвысился. А для этого недостаточно совершенно верной общей характеристики, данной Марксом. И вот тов. Тимирязев вертится вокруг да около вопроса, демонстрируя на примере своих «философских» произведений, как физик-эмпирик перевешивает марксизма.

Полагаясь на слышанный где-то звон, он считает, что его ключ в науке достаточен для решения всех проблем философии и ее истории, будучи в то же время абсолютно независим от всего окружающего. По сути дела перед нами причудливое сочетание цеховщины и мещанства в науке, соединенное с нежеланием определенных кругов естествоиспытателей подчиниться проникновению диалектико-материалистического метода в их домен, в их полосу специального знания. Эту цеховую косность и ограниченность начинают, правда, преодолевать за последние годы более крупные представители естествознания, работающие над дальнейшим развитием его основных понятий, начинающие сознавать, что без помощи накопленного в философии исторического опыта познания не двинуться вперед. К сожалению, однако, люди, являющиеся коммунистами, подчас оказываются позади них, несмотря на то, что те идут ощупью, побуждаемые лишь логикой своей научной работы, а эти имеют перед глазами Энгельса и Ленина, читают их слова, не понимая смысла.

Впрочем, выросшая в революцию, прошедшая марксистскую школу молодежь в большинстве своем методологически тоже оказывается выше, чем «ординарные» во всех отношениях профессора, входящие в единственную в своем роде «коллекцию».

Стремясь преуменьшить роль диалектики в научном исследовании, механисты тормозят развитие диалектико-материалистической точки зрения в естествознании. Но сколько бы ни путали они — данью уважения, отдаваемой лицемерным добродетели, является уже хотя бы то, что самую путаницу механисты вы и уже давно прикрывают диалектическим флагом.

III. О старой путанице в новой форме.

В своей статье «Из области наших разногласий» с тов. Деборным» тов. А. К. Тимирязев оказывается в претензии, что я в разборе его статей недооцениваю сумму разногласий, отделяющую «мещанство» от «диалектиков».

Должен сознаться, что это единственный пункт, в котором как будто приходится согласиться с тов. Тимирязевым. Никогда еще так не опошлялся и не принижался уровень теоретического спора, как в «антикритике» механистов. Возьмем важнейшие проблемы, служившие предметом обсуждения.

Начнем с проблемы конкретного понятия, проблемы реальности «вида» и «класса».

Как известно всякому марксисту, конечно, за исключением тт. Тимирязева, Варьяша и др., одним из важнейших положений диалектической логики является утверждение, что всеобщее и единичное не представляют собою исключающие друг друга противоположности, а взаимно предполагают и обуславливают одно другое. Самая возможность мышления, познающего природу, основывается на том, что мы отвлекаем из бесконечного многообразия окружающих нас предметов общие, сходные признаки и свойства и образуем понятия, отражающие их единство и законы движения.

Отличие формально-логической от диалектической теории понятия заключается в том, что в то время, как метафизическое мышление исходит из абстрактно-всеобщего, исключающего единичное, диалектика требует конкретно-всеобщего, включающего в себя единичное, представляющего не что иное, как отображение совокупности всех данных сходных единичных предметов, взятых в их взаимной связи и общем движении.

Именно идею конкретно-всеобщего с таким удовлетворением подчеркивал у Гегеля Ленин. Но ведь для того, чтобы читать замечания Ленина о гегелевской логике, надо знать гегелевскую логику. А по отношению к нашим механистам можно вполне повторить старую задачу Плеханова: дан механист; дано полное незнание им Гегеля и диалектики; дано неудержимое желание рассуждать о том и о другом. Спрашивается—сколько же в его рассуждениях следует ожидать ошибок?—Очевидно, столько же, сколько рассуждений, за исключением тех случаев, когда случайное совпадение неизбежно по законам вероятности...

Итак, точка зрения конкретно-всеобщего обязательна для всякого, кто хочет быть диалектическим материалистом. Уже самый элементарный пример диалектики Ленин видел в том, что в каждом суждении (а эта мысль целиком восходит к гегелевской логике) дано единство всеобщего и особенного. Таков смысл знаменитого примера «Иван—человек», «Жучка—собака» и т. д. Если бы этот тип суждения не выражал никаких реальных взаимозависимостей в природе, то и познавательная ценность его, а вместе с тем и всей логики, была бы равна нулю. Однако, для того, чтобы уразуметь его значение, мало повторять «схоластика», «схоластика», «схоластика» и т. д. одно и то же заученное раз навсегда слово.

Не даром коллега тов. Тимирязева по сборнику, И. Орлов, в конце концов завопил: «Необходимо больше работать головой» (стр. 152). Плохо лишь то, что, как часто бывает, из одной крайности он немедленно кидается в другую, требуя привнесения в науку «априорных положений» (151). В истории философии требование привнесения в исследование априорных положений имеет только один смысл — Zurück nach Kant! Назад к Канту! Изгнание диалектики мстит за себя! Впрочем, почему в лавке старьевщика не сохраниться и куску из «Критики чистого разума»?

Итак, проблема значения вида и класса, проблема конкретного понятия вовсе не так легко разрешается обвинениями в схоластичности, как это кажется свободному от всяких предпосылок в этом вопросе тов. Тимирязеву. Легко показать, что самая возможность исторического закона во всех областях знания связана с ним. Скажем, понятие общественно-экономической формации, например, капитализма, понятие общественного класса и т. д. представляют собой именно того рода конкретно-всеобщее.

Само собой разумеется, что не понятие, как это имело место в идеалистической диалектике Гегеля, является при этом движущим, не оно из себя создает конкретные единичные вещи, а взаимная связь и единство этих вещей находят себя в мышлении отражение в форме данного понятия. Критика гегелевского понятия, данная Марксом в «Святом семействе», остается в полной силе. Но сила этой критики и заключается в том, что, преодолев идеализм Гегеля, она не возвращается затем к формально-логической точке зрения, а возвышается до материалистической диалектики. Именно поэтому во введении к «К критике политической экономии» Маркс отличает свой способ воспроизведения конкретного путем мышления от идеалистического, разваливающего понятие из самого себя, и от формально-логического, возвышающегося лишь до тощих абстракций.

Несомненно, что понятие общественного класса представляет собой не саморазвивающуюся логическую сущность и что в действительности никакого другого «общественного класса», кроме совокупности отдельных, составляющих его индивидов, напр., рабочих, нет. История рабочего класса есть история жизни и борьбы всей совокупности рабочих. Но вместе с тем, если не желать распыляться с азбучкой ленинизма, так же несомненно, что класс не есть только абстракция от отдельных рабочих, а понятие класса выражает и их историческую связь, и исторически данное их единство, возвышающееся над отдельным рабочим; интерес класса, борьба класса, история класса не есть только интерес, борьба, история отдельных, входящих в состав класса, индивидов.

Именно поэтому тов. Деборин и писал, что «общественный класс существует, движется и изменяется, переживает историю, рождается, борется и умирает; что общественный класс, словом,—не отдельное

ловитие, а живое коллективное существо». Эту именно формулу встречает в штыки тов. Тимирязев.

В своей ничем не обремененной теоретической беспечности он не замечает, что, отрицая эту единственно марксистскую постановку вопроса, он логически должен прийти к атомистической точке зрения на общественный класс, т. е. к явно мелкобуржуазной точке зрения. Принять ее значило бы разоружить пролетариат, как целое, в борьбе с остальными классами, разложить его на составляющие его группы, прослойки, отдельных индивидов, подорвать самую идею классовой борьбы пролетариата и его конечной цели. Но какое дело тов. Тимирязеву до того, к чему обязывает его на составляющие его группы, прослойки, отдельных индивидов, наивистых «деборнцев». «Карфаген должен быть разрушен», чего бы это ни стоило. Тов. Тимирязев отличается от некоторых своих союзников справа тем, что те-то знают, чего они хотят, тов. Тимирязев же видит лишь мяч, о который он должен тренировать свою голову,—и ничего более.

Однако в паре мест и его охватывает некоторое смутное беспокойство. Как-никак ведь и И. Дницген, и К. А. Тимирязев¹⁾ по этому вопросу высказывались совершенно недвусмысленно. И вот, нападая на совершенно правильную формулировку тов. Деборна, тов. Тимирязев начинает затем нанизывать различные оговорки, смысл которых сводится к тому, что существование вида, как «группы индивидов: всех лошадей, зебр, кант и т. д., есть реальный факт». (Еще бы! Попробовал бы тов. Тимирязев отрицать факт наличия в природе группы ослон!) Но дело в том, что-де тов. Деборн признает существование вида не в этом смысле, а как существование «животного вообще». А затем следует сокрушающая декламация по всему сборнику от анонимной передовицы анонимной редакции до анонимных заключительных статей²⁾.

Тов. Тимирязев! Побойтесь хотя того, что бумага не стерпит такой интерпретации точки зрения, против которой вы выступаете. Неужели вы думаете, что кто-либо поверит, что такого типа мыслитель, как И. Дницген, признавал на ряду с отдельными ослон еще сверх того ослон вообще. Впрочем, мало ли во что можно поверить—для этого достаточно лишь самому принадлежать к отрицаемому тобою виду. Мысль И. Дницгена заключается в том, что вид переживает историю, как некоторая реальность, а не как только формально-логическая совокупность произвольно абстрагируемых нами

¹⁾ В сборнике досадная опечатка. На стр. 23 «Исторический метод в биологии» К. А. Тимирязева приписан А. К. Тимирязеву.

²⁾ Между прочим, в сборнике напечатано письмо Тимирязева, Перова и Варьяш, объявляющее недавнего активнейшего представителя механистов и редактора изданий Тимирязевского института Босса не имеющим с механистами ничего общего и плохим популяризатором. Зрелище для богов: Перов и Варьяш, столпы науки, отлучают от нее Босса!

признаков. И мысль эта совершенно верная. А когда Варьяшн позволяют себе издеваться над глубокими положениями И. Дицгена, то не согласится ли тов. Тимирязев, что следует ударить по рукам, не считаясь с тем—будет ли это признано галантным?

Итак, в вопросе о реальности видов—путаница плюс искажение противной точки зрения с неизбежными оговорками на всякий случай, которые позволили бы затем за них спрятаться.

А в конечном счете запутывается и превращается в «дискуссионную» проблему одна из центральных идей марксизма.

• • •

Перейдем к следующему вопросу, вызывавшему не малые споры, к вопросу об объективности различных качеств в природе.

Диалектико-материалистическая точка зрения заключается в том, что качества объективно существуют в природе, что они указывают на узловые пункты, скачки, через посредство которых совершается переход от одной формы движения к другой. Без признания объективности существования различных качеств в природе—самый переход количества в качество превращается в нечто субъективное, неправомерное, качества растворяются в количественном, эволюционном ряду, отрицается революционная точка зрения.

Поэтому так не любил Бернштейн диалектику. В тенденции отрицание объективности качества означает стремление, пусть неосознанное,—мы все время говорим не о субъективных желаниях и намерениях, которые могут быть превосходны, а об объективном смысле, логике позиции,—к подмене революционного марксизма реформизмом. Не даром Богданов, в ранних своих произведениях противопоставлявший качественно-революционную точку зрения количественно-эволюционной, пришел затем к отрицанию объективности качеств почти одновременно с отрицанием революционной стороны марксизма, заменив ее своей «организационной наукой».

Как быть механистам перед лицом этих бесспорных положений?—Они финтят, а это самое вредное, что может быть, так как создает впечатление «дискуссионности» того, что на самом деле составляет азбуку марксизма. Гегелевская диалектика была когда-то названа алгеброй революции именно потому, что она в положительное признание существующего вкладывала его отрицание, неизбежность его перехода в качественно-новую форму. Кто это отказывается понимать—тот безнадежен для марксизма.

Какими же способами расшатывают механисты такие, казалось бы неоспоримые, истины?

Во-первых, они стремятся представить противоположную точку зрения в им желательном виде. Здесь они следуют уже осмеянному Марксом в «Святом семействе» способу «характеризующего» изложе-

ния точки зрения противника. Новое в истории создается лишь углублением борьбы и напряженной работой. Механисты и в технике своей идейной борьбы благополучно повторяют (охотно допускаем—не догадываясь об этом) приемы Эдгара Бауэра. Так, на стр. 119, конечно, пером тов. А. Варьяша, заявляется, что суть споров в вопросе о жизни между диалектиками и механистами заключается не в том, что механисты отрицают специфичность жизни, а диалектики признают ее, а в том, что механисты отрицают, что «жизнь есть первоначальное качество», Деборин же и его сторонники признают это.

О том, отрицают ли механисты специфичность жизни, Варьяшу следовало бы предварительно получить указания у тов. Степанова. Но написать, что Деборин и его сторонники защищают первоначальность жизни—превосходит меру всякого вероятия. Ведь именно Деборин и его сторонники уж сколько лет под ряд доказывают историческое происхождение жизненной формы. Об этом тов. Деборин писал и в «Диалектике в биологии», и в предисловии к сочинениям Дидро. Что касается его сторонников и учеников, то я могу сослаться на написанную еще до споров с механистами рецензию в «Под Знаменем Марксизма» на «Исторический материализм» Горева, где подчеркивалось, что сознание мы должны при данном состоянии науки считать лишь свойством особым образом организованной материи. На диспуте в театре Мейерхольда в присутствии тов. Варьяша я подчеркивал, что этот вопрос нельзя смешивать с вопросом об атрибутивности сознания по отношению к материи, и указывал почему.

Наоборот, у механистов (напр., у тов. Степанова) качества материи уже заранее даны и не подвержены исторической трансформации. Это вытекает из самых основ механистической точки зрения, как уже неоднократно выяснялось (в том числе и в анализе «Тектологии» А. Богданова).

Но разве дело идет о выяснении истины?

И вот, соорудив «удобную для себя точку зрения» противников, А. Варьяш на следующей странице с ученым видом заявляет, что механисты уж зато «не принимают больше основных несводимых качеств, чем это безусловно нужно для объективного объяснения (!!!). И эта пустая, обывательская формула, за которой не скрывается никакого содержания, преподносится с таким самодовольным видом, что перед нами едва ли не новый... Евг. Дюринг. Но куда Е. Дюрингу до А. Варьяша! Ведь Дюринг все же довольно много знал и защищал определенную точку зрения. У А. Варьяша же его пошлости выполняют чисто служебную роль.

Заставляет задуматься прежде всего самый факт возможности приписать противной точке зрения заведомо противоположное тому, что она утверждает. Изучать этот факт должно именно с точки зрения его социальной значимости, а не для опровержений, потому что ничто не может помешать завтра А. Варьяшу на-

печатать в четвертом сборнике, что кто-либо из диалектиков режет свою бабушку и поклоняется Перуну.

Однако, когда целое теоретическое направление возводит подобный метод полемики, в систему и покрывает его, — это уже показательно. Позывает же оно двойное: и силу марксизма, и то — в каких формах растет ревизионизм в наших условиях.

Итак, одной рукой при посредстве пера Варьяша нарисовав «подходящий» для себя образ «диалектиков», затем рукой тов. Тимирязева механисты рисуют пути «преодоления» диалектиков по существу дела. Тов. Тимирязев все же идет иными путями, чем А. Варьяш. Впрочем, как мы сейчас увидим, и эти пути не новы.

Тов. Тимирязев считает, что основная задача науки «объяснять, откуда берется новое качество» (стр. 34).

Один небезызвестный писатель считал, что основной недостаток Энгельса и Маркса заключается в том, что они «потеряли возможность объяснить (курсив автора) переход количества в качество»¹⁾.

Несчастье этого автора в наши дни заключалось в том, что его звали Богдановым, тогда как все методологически важнейшие положения механистов уже давно были им сформулированы. С той разницей только, что Богданов додумывал до конца то, что его внешние последователи в области методологии не могут додумать до конца.

Так обстоит дело с «объяснением» специфичности явлений. Если бы речь шла о том, что нельзя какое-либо качество брать вне обуславливающего его исторического процесса, что само это качество в свою очередь возникает из некоего другого качества и должно браться не изолированно, а в связи с другими предметами и в своем переходе из одного состояния в другое, — не могло бы быть и спора. Качество возникает и исчезает в движении материи, количество переходит в качество и обратно, при чем нет ни изолированного, отвлеченного качества, ни отвлеченного количества, а реально, в природе дано всегда единство того и другого, качественное количество или количественное качество, находящее себе границу в мере предмета. Все это представляет элементарные положения диалектической логики. Об этой ли связности качества с количеством и историчности его идет речь, когда требуют «объяснение» качеств Богданов, механисты? Нет, не об этом. Речь идет о том, что качество признается не объективно существующим, хотя и исторически возникшим и обусловленным, узлом, а тем, что подлежит развязыванию, сведению к количественным отношениям, разложению на них, «объяснению» из них.

А это «объяснение» и означает отказ от признания объективной, активной роли качества, значения в превращении формы разрыв

¹⁾ А. Богданов, *Философия живого опыта*, изд. 3-е, 1923 г., стр. 34.

связи данного целого. Так и реформисты «объясняли» революцию как сумму бесконечно мелких изменений, пролагая методологически путь к безболезненному «врастанию» из капитализма в социализм.

* * *

Следующим вопросом, по которому механисты ухитрились наговорить совершенно невероятного вздора, является проблема атомистического строения материи.

Основным способом полемики для механистов и в данном случае является стремление спасти свои ошибки приписыванием противнику того, чего он никогда не утверждал.

Стоит лишь привести одну цитату из «послесловия» к статье тов. А. К. Тимирязева:

«Тов. Карев,—пишет А. К. Тимирязев,—набрасывается на упомянутых нами трех авторов — Перельман, Рубановского и Великанова («Диалектика в природе», сборн. 2) за то, что они отношения между отдельными материальными телами называют отношением между субстанциями. Тов. Карев заявляет, что это «безграмотно, так как марксизм не может говорить об отношениях между предметами, как об отношениях между субстанциями, потому что марксизм признает только одну субстанцию—материю». Таким образом, оказывается, что части материи, по тов. Кареву, не являются материей!» («Диалектика природы», № 3, стр. 52). Столь блестящее логическое рассуждение не может не быть подхваченным А. Варьяшем, что он и делает на стр. 114. Наконец, и замаскированная редакция на стр. 317, делая мне страницей раньше грациозный комплимент в невежестве и младенческой несерьезности, тоже заявляет: «По Кареву марксизм стоит как будто на той точке зрения, что субстанция-материя не состоит из частей или, говоря на языке естествознания, что атомы и электроны суть фикции естествознания». Что Рубановский, Великанов и Перельман—бесконечно более серьезные и образованные диалектики, чем мы—«деборинцы», видно хотя бы из того, что все они являлись до последнего года... учениками в семинариях Стэна, Тронцкого и моем. На заседаниях этого семинара Рубановский выступал с утверждениями, прямо противоположными тем, которые печатаются в разных механистических изданиях. Не знаю, с коих пор точка зрения двойственной истины стала покровительствоваться в советской стране. Не угнаться видно за последней тактической модой механистов,—на то мы и ославлены реакционерами и консерваторами!..

По существу же дела то, что пишут тов. тов. А. Тимирязев, Варьяш, редакция etc., представляет нуждающийся в специальном изучении классический пример загадочной осечки в понимании цитируемого. Что писали Великанов, Перельман, Рубановский? «Отношение между двумя субстанциями существует объективно, но не есть субстанция». Т.-е. они утверждали, что в мире есть множество субстанций, нахо-

дящихся в неких отношениях одна к другой, при чем, так как отношения противопоставлены субстанциям, между субстанциями нет перехода одной в другую, а есть лишь внешняя соотнесенность их, как независимых предметов.

Что такое субстанция?

В философии термин этот не новый, и, скажем, Спиноза, у которого он играл наибольшую роль, субстанцию определял как то, что независимо в своем существовании ни от чего другого. Переход от Спинозы к Лейбницу и состоял в том, что Лейбниц признал существование не одной субстанции, как это было у мониста Спинозы, а не двух, как это имело место у дуалиста Декарта, а многих. Его монады независимы одна от другой, существующее же между ними соответствие обуславливается «предустановленной гармонией». Материализм, следуя Спинозе, всегда признавал существование одной только субстанции, ибо признание существования нескольких субстанций ведет к разрыву единства материи, к метафизике и идеализму. Исходя из этих совершенно элементарных для всякого мало-мальски грамотного марксиста соображений, я и написал, что признавать несколько субстанций безграмотно. А что источником этой путаницы является Варьяш, было ясно хотя бы уже из того, что еще в 1923 г. в статье «Формальная и диалектическая логика» он писал, что «вся задача диалектической логики состоит именно в том, чтобы все предикации преобразовать в отношения» — вполне в духе идеалистической, реалистической логики («Под Знаменем Марксизма», № 6—7 за 1923 г., стр. 217). Теперь же А. Тимирязев, Варьяш и *tutti quanti* умоуказывают из отрицания множественности субстанции, что я отрицаю существование атомов, и осмеливаются утверждать, что я считаю их фикциями естествознания! Тут уж не учиться, а лечиться надо! Впрочем, теоретическая совесть в данном возрасте лечению, кажется, не поддается... Ведь даже по отношению к Спинозе, которого с наибольшим основанием можно было бы упрекать в пренебрежении отдельными, конечными проявлениями, модусами, материи, Энгельс писал, что его субстанция, как *causa sui* (единая субстанция!), наилучшим образом выражает взаимодействие. Впрочем, кто может помешать Тимирязеву и Варьяшу в «Диалектике в природе» № 4 написать, что признавать взаимодействие — значит уж заведомо отрицать существование электронов и отдельных вещей!

И атомы, и электроны несомненно реально существуют, — отрицать это может лишь враг материализма. Но напрасно г. Тимирязев и иные с ним полагают, что признанием их реального существования исчерпывается диалектический материализм. Отличие диалектического материализма от механического, по Ленину, заключается между прочим, и в том, что диалектический материализм не признает неизменных, неразложимых далее элементов материи, а считает их познаваемым до конца, неисчерпаемым и самый малый из них. Не

ужли и этого не заметили в «Материализме и эмпириокритицизме» наши механисты?

С другой стороны, проблема атомистического строения материи вовсе не решается окончательно тем, что признается реальность атомов и электронов. На данной ступени развития науки мы считаем основными кирпичиками мироздания электроны. Но когда будут более или менее прочно установлены законы движения и соотношения электронов, несомненно встанет (и уже встает) вопрос о дальнейших, еще более мелких частицах материи, и это вовсе не будет противоречить диалектическому материализму. Наоборот, диалектический материализм требует все более и более глубокого анализа структуры материи. Но одновременно с этой проблемой разложения материи на все более и более мелкие составляющие ее частицы, стоит вопрос о соотношении, формах связи между этими частицами, прерывистости и непрерывности в материи. Эта проблема—кардинальная для современной физики, и она вовсе не решается простым постулированием абсолютной прерывистости или абсолютной непрерывности материи. В рассмотрении этих важнейших понятий современного естествознания и должен прийти на помощь опыт, накопленный тысячеуговой работой человеческой мысли в материалистической диалектике. Именно при разрешении подобных задач Лениным рекомендовал естествоиспытателям обращаться к гегелевской логике. Но ведь для того, чтобы хотя бы поставить все эти проблемы, необходимо высоко развитое теоретическое мышление, а оно-то у наших механистов и запрещено.

Наконец, по важнейшему вопросу, разделяющему механический и диалектический материализм, по вопросу о различных формах движения, у механистов не могла не прорваться антимарксистская точка зрения. Энгельс в «Диалектике природы» писал, что движение в применении к материи следует понимать не только как механическое движение, как перемещение, а как изменение вообще. Участник же механистского собрания Л. Рубаковский утверждает, что «не существует никаких известных нам изменений состояния, которые заключали бы в себе что-либо помимо сложнейших и невероятно мелко раздробленных перемещений материальных элементов» (стр. 240).—Борьбу классов, напр., Л. Рубаковскому, очевидно, никогда не приходилось наблюдать. А как она поучительна!

Конечно же, Энгельс, говоря о движении, как изменении вообще, вовсе не имел в виду движение, которое происходило бы в непространстве и независимо от каких бы то ни было перемещений частиц материи. Формулировка, которую дал в одной из своих статей т. К. Милонов, утверждая, что диалектический материализм «не видит своей задачи в том, чтобы упереться (?) в характеристику материи, как протяженности»¹⁾, неудачна. Тов. Милонов прав, когда

¹⁾ «Вестник Комм. Академии» кн. XVIII, стр. 169.

в философском определении материи считает необходимым исходить из ленинского указания на то, что в него входит лишь свойство материи быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания, и ничего больше.

Тов. Милонов прав, считая, что протяженность не является единственным свойством, атрибутом материи. Вопреки всем крикам механистов у него нигде нет отрицания протяженности материи.

Но все же рекомендовать не «упираться» на протяженность, хотя она и не отрицается, неправильно, так как пространственность, наряду с временем, является важнейшей формой существования материи, без которой не мыслимы ни материя, ни движение. Понятие объективной реальности, независимой от сознания, включает в себя момент протяженности.

Но эта неудачная формулировка тов. Милонова ни в малой мере не спасает механистов, ибо в основном, в том, что движение вообще нельзя свести только к перемещению в пространстве мельчайших частиц, что оно включает в себя и изменение высших форм движения, т. Милонов совершенно прав и целиком следует Энгельсу. Механисты и в этом вопросе, как мы еще раз могли убедиться из утверждения Рубановского, выступают против Энгельса.

Когда же бесстрашный Рубановский выступает против А. М. Деборина с обвинением в союзе с махистами, то приходится констатировать, что механистов постигло тяжелое несчастье: они потеряли чувство смешного. Не даром же Харазов, выступавший против Маркса ¹⁾, — у них марксист; З. Цейтлин, защищающий по-прежнему схоластическое учение о врожденных идеях — у них диалектик; А. К. Тимирязев — писатель на философские темы, а Л. Рубановский — наставник А. М. Деборина! Можно ли придумать более остроумную диспозицию действующих лиц?

* * *

— Далее, загадочной редакции сборника не нравится, что, разбирая в «Диалектике в природе» № 2 проблему применения моделей в общественных и естественных науках, я брал слово «точные» науки в кавычки. В этих кавычках, по мнению редакции, читающей в сердцах (до головы дело не возвышается) противников их сокровенные чувства, сказывается плохо скрытая нелюбовь к естествознанию. «Марксистской» реакции сборников непонятно, что эти кавычки служат не для того, чтобы продемонстрировать субъективную приязнь или неприязнь

¹⁾ Харазов в своей статье требует признания прав мнимых чисел. Странно, что сборник «Диалектика в природе» не пропагандирует употребление букв «о» в алфавите, по крайней мере, для того, чтобы восклицать: «О, необходимы мнимые числа!». Впрочем, я забыл, что «о» употребляется Державными в оди и не в почету у т. А. Тимирязева...

к естествознанию (где редакция взяла, что теоретические вопросы решаются по тому, нравится или не нравится иос Ивана Кузьмича?), а для того, чтобы отмежеваться от точки зрения, согласно которой в науке лишь столько науки, сколько в ней математики. Редакция и не задумывается иад тем, что это положение Ка и та не может быть согласовано с марксизмом, так как, скажем, исторический материализм или политическая экономия для марксиста тоже—и а у к и. Не может быть согласовано оно с марксизмом потому, что возможно установление не только количественных, но и качественных закономерностей развития.

В связи с этим необходимо остановиться на одном частном вопросе. Как на пример того, к чему приводит даже близких диалектике естествоиспытателей проповедь механистов, я ссылаюсь на цитирование Б. Козо-Поляиским в сборнике «Диалектика в природе» № 2 в качестве философа-марксиста Я. Бермана. Безвестная редакция называет это извращением того, что писал Козо-Поляиский. К сожалению, криком здесь не поможешь, так как, по старой пословице, что написано пером, того не вырубишь топором. В статье же Козо-Поляиского было написано: «Мы не собираемся здесь подписываться под мнениями названных критиков (Треиделеибурга, Бермана), но—их выступления, думается, выявляют, что именно в диалектике уже не может быть оспариваемо и представляется наиболее устойчивым» (стр. 255). А далее следовала ссылка на Ф. Р. Адлера по тому же вопросу, известного механиста. То, что идущий к диалектике естествоиспытатель признает имеющими какое-либо значение выступления против диалектики Бермана и Ф. Адлера,—остается на ответственности печатающей его статью редакции.



Разбирать детально весь тот ворох путаницы, которым наполнена статья А. Варьяша, нет никакой нужды. Кроме того, спор с ним совершенно бесполезен, так как всеми полемизировавшими с ним товарищами вполне установлен своеобразный и несложный способ его полемики: приписывать противнику свою собственную путаницу, а возращения противника излагать под видом своих собственных воззрений. Необходимо отметить лишь одну, особо завуалированную черту в его рассуждениях.

А. Варьяш ставит своей целью истолковать основные законы диалектики. По сути дела сам он во всех своих произведениях всегда стоял на точке зрения формальной логики. Как выйти из затруднительного положения? И вот, на стр. 78, процитировав известное место из Энгельса, что абстрактное тождество формальной логики годится лишь

для домашнего употребления, для незначительных ¹⁾ отношений и коротких промежутков времени, Варьяш заключает: «В условиях малых движений можно пользоваться законами формальной логики». А в другом месте (стр. 109) он называет законы формальной логики «предельными случаями диалектики».

Какой смысл имеет приведенная выше цитата из Энгельса? Положение Энгельса имеет тот смысл, что когда мы изучаем предмет не научно, а приблизительно, для целей домашнего обихода, за короткий промежуток времени, то мы можем отвлечься от происходящих в нем изменений и следовать в его характеристике формально-логическому закону тождества. Метафизическая же, формально-логическая точка зрения рассматривает мир как совокупность вещей, а не как совокупность процессов. Характеризуя же движение, процесс, мы необходимо выходим за пределы абстрактного тождества формальной логики. Во всяком моменте движения дано единство противоположных определений, прежде всего, прерывности и непрерывности. Варьяш же утверждает права формальной логики и на малые движения. А где мера этой малости? Не обосновывается ли тем самым самодовлеющая значимость формальной логики и для характеристики процессов в природе вообще? Так с заднего крыльца впускается та самая метафизика, которая якобы изгоняется нашими механизмами с парадного подъезда в их сборниках. Ошибки имеют свою логику, коль на них упорствовать, и их нельзя прикрывать никакими словесными заклинаниями. Наука представляет собою целостную систему, в которой одна область необходимо обуславливает другую и одна ошибка necessarily влечет за собою круг новых ошибок, все более и более расширяющийся.

То, что А. Варьяшем написано в защиту позиции механистов по вопросу о случайности,—совершенно неверно. А. Варьяш на протяжении двух десятков страниц бродит вокруг да около проблемы, то ни с того ни с сего противопоставляя случайности вероятность, которые неразрывно связаны одна с другой, то отрицая объективность случайности, то заявляя, что он, Варьяш, не говорит, что «случайность есть такое слово (!), которое нужно исключить из употребления!» В конце концов, Варьяш сосредотачивает свое внимание на рассмотрении того примера А. М. Деборина, в котором т. Деборин доказывал, что случайность, не в смысле беспричинной, а в смысле второстепенной закономерности по отношению к основной закономерности развития, играет известную объективную роль. Так, предательское поведение отдельных вождей соц.-демократии (в частности Эберта) способствовало поражению немецкой революции в 1918 г. А. Варьяш называет такую точку зрения чудовищной для марксиста. Сеем его заверить, что с ним, независимо от его воли, в этом солидарны лишь одного рода «марксисты»—

¹⁾ Варьяш переводит «малых». Но в данном случае *kleine* явно означает не величину отношения, а его значимость лишь для «домашнего употребления».

меньшевики. Именно меньшевизм стремился всегда истолковать марксизм в духе исторического фатализма, оправдывающего необходимо все измены и бесхарактерность участвующих в революции социал-демократов.

Это вовсе не значит, что измены вождей социал-демократии беспричинны, а взятые в целом случайны. Они обуславливаются глубокими процессами, происходящими в различных классах эпохи империализма, в частности, в рабочем классе. Но это вовсе не исключает цитируемого т. Дебориным положения Маркса (в письме к Кутельману), что «творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо-благоприятных шансов. С другой стороны, история имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли». Эти случайности входят, конечно, сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых фигурирует даже «такой случай, как характер людей, стоящих вначале во главе движения» (Курсив наш.—Н. К.).

А. Варьяш переписывает приводимую т. Дебориным цитату, но ухитряется при этом сделать вид, что, принимая цитату, он вместе с тем возражает т. Деборину. Чем помочь А. Варьяшу, не различающему нападения на соц.-демократию от ее защиты? Чем помешать А. Варьяшу цитировать Маркса лишь для того, чтобы прикрывать свое несогласие с ним?—Лучший способ—прекратить раз навсегда какой бы то ни было спор с А. Варьяшем. Его нельзя опровергать, на него можно лишь указывать. Он—по ту сторону критики и антикритики. Он—сверхдиалектик. Его точку зрения нельзя уловить даже один раз.

* * *

А. К. Тимирязев, сей доблестный Дон-Кихот механизма, с усердием, достойным лучшей участи, сражается с ветряными мельницами, упорно разыскивая всегда и всюду махизм. Между тем, он не замечает, как у него под боком его верный Санчо-Пансо, тов. З. Цейтлин, проповедует чистейшие махистские, правда, вперемежку со схоластическими и картезианскими, взгляды. Во-первых, З. Цейтлин защищает в XX в. точку зрения врожденных идей, которую вряд ли, после имевшей уже место полемики, следует еще раз критиковать. Во-вторых, ставя себе целью обосновать Евклидову геометрию, он ухитряется разрешить эту задачу так, что способ доказательства оказывается совершенно идеалистическим. З. Цейтлин пишет:

«Все признают, что до сих пор еще «экономнее» мыслить при помощи геометрии Евклида. А это значит, с точки зрения материалистической теории мышления, что физика, постро-

енная на базе геометрии Евклида, лучше, полнее соответствует естественной простоте реальных движений. Дialectический материализм чужд, однако, всякого догматизма. Возможно обнаружение таких сложных движений, что их «экономнее» будет исследовать при помощи понятий не-Евклидовых геометрий, а физику в некоторых ее частях целесообразнее будет тогда излагать при помощи этих понятий. Но это будет только способом изложения» («Диалектика в природе», № 3, стр. 146—147).

Это—чисто махистский подход к науке, чисто махистский критерий истины. С точки зрения материализма «экономнее» всего и самое простое, а наиболее точно отражающее предмет понятие, практически подтвержденное опытом, экспериментом. Об этом очень убедительно говорит одна много цитируемая, но мало читаемая и вовсе не изучаемая механистами книга: «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина.

А если бы механисты хоть сколько-нибудь интересовались историей своего мировоззрения, они знали бы, что очень и очень многие махисты и агностики, включая Дюбуа Реймоном, были механистами. Механизм не предохраняет от идеализма, а в наши дни, наоборот, облегчает ему дорогу. Наиболее проникательные идеалисты типа Липсиуса даже считают главной опорой для сохранения идеализма победу механистической точки зрения в науке. Ибо, так как действительность явно не укладывается в узких рамках механистического миропонимания, лишь тогда удастся обосновать необходимость ограничить знание для того, чтобы дополнить его телеологией и верой.

Но разве, скажем, А. К. Тимирязев борется против махизма? Да Тимирязева махизм—это все то, что не укладывается в его ограниченном поле зрения. Не удивительно после этого, что он сам прикрывает махистские формулы своих со товарищей по механистскому блоку.

З. Цейтлин—за наиболее экономное описание опыта; Вл. Сарбьянов—за Богданова против Ленина по вопросу об объективной истине («Под Знаменем Марксизма» за 1925 г., № 2, стр. 192); тот же тов. Сарбьянов считает невозможным признавать деление на виды, роды и классы в природе «без субъективизма» («Основное в едином научном мировоззрении—методе», стр. 108); методологически все механисты, начиная с т. Степанова, лишь повторяют богдановскую критику диалектики, с тою только разницей, что Богданов прямо выступал против Энгельса, а механисты конструируют двух Энгельсов.

Таким образом, на деле механисты повторяют в новых формах лишь старые-престарые ошибки, с тою особенностью на данном этапе, что от механического материализма они начинают переходить к механистическому махизму.

IV. Итоги споров.

Если попытаться подвести некоторые самые общие итоги тому, что дали спорящие стороны за последние годы, то получится, примерно, следующая картина.

Что дали диалектики?—Выполнен завет Ленина о том, чтобы поставить в центре внимания материалистическое истолкование гегелевской диалектики. Отвоевано самое право на это, оспаривавшееся механистами. Выдвинуты проблемы качества, исторического метода в науке, единства противоположностей, напечатан ряд работ по истории диалектического метода, поставлены проблемы случайности, причинности, конкретно-всеобщего, соотношения марксистской философии и естествознания. Издана библиотека материализма. Издана серия работ по истории материализма. Создана философская литература ленинизма. Ведется преподавание марксистской философии во всех крупнейших центрах подготовки новых кадров борцов за марксизм—МКП, РАНИОН, философская секция Комм. Академии, Этнологический факультет МГУ, пропаганда марксизма среди научных работников. Все это может быть подтверждено многими научными работами, книгами, статьями, центрами марксистской мысли. И в то же время давалась критика современной западно-европейской философии (Бергсон, Гуссерль, Шелер, Шпенглер, нео-кантианцы-социал-демократы, психоанализ Фрейда и т. д.), эмигрантщины, меньшевизма и т. п. Всего этого, конечно, недостаточно. Но все же некоторый минимум задач, стоявших перед марксизмом в этой области, разрешен.

Что дали механисты?—Кроме путаницы—ничего. Не выдвинули ни одной новой проблемы. В области естествознания обнаружили лишь высокомерное неумение разобраться в происходящем в нем кризисе. В области метода—перепевы Богданова. В истории материализма¹⁾ и в истории диалектики—нуль. Издали эклектическую историю философии А. Варьяша, единственные в своем роде три сборника «Диалектика в природе», да еще несколько работ не большего значения.

Зато по всему фронту велась атака на материалистическую диалектику,—всеми возможными способами от искажения взглядов противника до личных нападок на них. И все не помогло!

Что может это опровергнуть?

Каков же социальный смысл существования механистского блока? Механисты в третьем «сборнике» пытаются истолковать мое замечание об их втором сборнике,—«левые уклоны представляют по большей части наказание за правые грехи» в том смысле, что я считаю механистов «левым уклоном» (318). Отнюдь нет! Механисты считали диалектиков левым уклоном. Я же считаю механистов прежде всего путаниками в марксизме, отражающими давление некоторых анти-

¹⁾ Если не считать попытку исключить из нее Спинозу.

марксистских сил в стране. «Левых марксистов» вообще нет. Всякий марксист левый в том смысле, что он—не марксист, если не стоит за пролетарско-революционной точкой зрения. Есть же в природе лишь марксисты и путаники от марксизма. К последним и принадлежат механисты.

Коль вдуматься в состояние теоретической борьбы за марксизм в настоящий период во всех областях знания, то мы, во-первых, увидим, что везде борьба против марксизма облекается в защитный цвет специального знания. Критика марксизма в наших условиях выступает почти всюду под флагом специального знания. Во-вторых, во всех важнейших отраслях общественной науки борьба против марксизма идет по линии, аналогичной той, по которой идет борьба в области философии с механистами. В области исторической науки основным, выступающим против марксизма, методологическим направлением является риккертство. Но весь замысел границ естественно-научного образования понятия Риккерта заключается в противопоставлении механически истолкованного естествознания—истории. Если естествознание должно познать природу, как «телесный механизм», по словам Риккерта, а законы природы—как механические законы, то история в своей закономерности принципиально отлична от незнающего истории механизма природы. Механистическое истолкование природы и ее законов составляет ключ к позиции Риккерта, падающей вместе с проникновением в естествознание исторического, т.е. в конечном счете диалектического, метода. Преодоление механического миропонимания,—значит уничтожить теоретическую почву для риккертства. Конечно, его еще долго будет питать классовый интерес буржуазии, но тем ярче будет его научная несостоятельность.

То же мы имеем в области методологии политической экономики, где, скажем, проф. Кондратьев истолковывает Марковского учение о кризисах в духе богдановской теории равновесия. И здесь механистическая точка зрения питается стремлением затушевать противоречивый характер экономики переходного периода, затушевать борьбу с остатками старых капиталистических классов.

Потому так опасны в этой общей перспективе механисты?

Потому, что приходя, иногда, в конечном счете, даже к признанию тех или иных, ранее оспаривавшихся ими положений материалистической диалектики, они уже самими своими выступлениями трактуют как дискуссионные те вопросы марксизма, которые составляют его внутреннее ядро. Они, независимо от своей воли, диктатуру марксизма стремятся превратить в дискуссионную проблему. И в этом основная опасность «механизма». Механисты устраивают диспуты, обращенные ко всем и вся, по «коренным вопросам марксизма». Они служат своей критикой диалек-

тики орудием развязывания идеологически враждебных марксизму течений. Они тормозят создание кадров идеологически выдержанных борцов за марксизм и ленинизм.

И поэтому их нужно бить беспощадно, и они должны быть разбиты.

Глупо думать, что их можно уничтожить раз и навсегда. В обстановке, в силах, их питающих, заложены корни их дряблости, разношерстности, теоретического недомыслия, переходов от резких атак к депрессии, внутреннего разложения, но вместе с тем и известной живучести до поры до времени.

Отбрасывая клевету и извращения—к марксизму они не пристают,—неизменно отбивая атаки механистов, игнорируя их попытки утопить принципиальный спор в личных нападках, необходимо вместе с тем в ближайшее время и наибольшее внимание сосредоточить на положительной работе—разработке актуальнейших проблем метода, воспитании широких масс молодежи, рабочих, коммунистов в духе ортодоксального марксизма.

Ошибочно было бы противопоставлять полемические задачи положительной работе. Три четверти основной марксистской литературы—полемические произведения. Марксизм прежде всего—оружие борьбы, в борьбе оттачивающееся. Но необходима и систематическая работа, на ряду с полемической и в соединении с ней. Интерес к марксизму возбужден в сотнях тысяч и миллионах голов. На опыте революции самые широкие массы убеждаются в его правоте и научаются его ценить. Самые отдаленные области науки неизбежно втягиваются в сферу его влияния. Удовлетворение всех этих потребностей требует огромных сил, которых в нужном количестве нет, но которые растут. Сюда внимание! Эта созидательная, положительная работа есть вместе с тем и критическая, разрушительная работа по отношению к старым предрассудкам, враждебным идеологическим течениям, анти-марксистским, псевдо-научным элементам в самой современной науке.

Огромно поле работы. И рассмотрение кризиса в современной физике, биологии, и построение системы диалектической логики, и критика новейших социологических и социал-демократических теорий (Вебер, Кунов, Каутский, если назвать только важнейшие)—все это на очереди, не ждет, жизнь, борьба торопят.

Пусть же не пекают механисты, если, ставя себе эти задачи, для обеспечения возможности работы над их разрешением—мы будем считать и впредь ревизионистами тех, кто самый марксизм превращает в дискуссионную проблему.

Теория пролетарской революции Каутского¹⁾.

И. Альтер.

Ровно 30 лет тому назад в феврале 1898 г. в «Neue Zeit» была напечатана статья Бернштейна «Теория переворота и колоннальная политика». Статье этой суждено было стать исторической. Она положила начало великой расправе двух лагерей, расправе, переросшей в идейной борьбы в борьбу по разные стороны баррикады. Эта борьба распространилась на весь капиталистический мир, на все страны с рабочим движением.

Но наиболее законченные, классические формы она приняла в Германии. Если Франция и Италия шли впереди в деле реформистской практики, в деле парламентского развращения рабочих вождей, если Англия отличилась своими профсоюзными вожаками, систематически продававшимися буржуазии, если Бельгия дала лучшие образцы кооперативного оппортунизма, то за Германией остается слава первого поставщика теории оппортунизма, слава родины ревизионизма. Изучать ревизионизм можно и нужно лучше всего в Германии.

Здесь спор двух лагерей принимает самые тяжелые, запятанные и драматические формы. Здесь каждая его стадия, начиная с журнальной полемики и кончая гражданской войной, получает одновременно и теоретическое отражение. Колебаниям и отклонениям от революционной практики соответствуют, как в сейсмографе, записи колебаний и отклонений от марксистской теории.

Но, в отличие от записей физических колебаний, теоретический и тактический ревизионизм не всегда поддается немедленной расчистке. Здесь процесс не протекает вполне открыто. Между ревизионизмом и революционным марксизмом на протяжении длинного ряда лет впедряется третье течение—центризм, значительно осложняющее обстановку, затемняющее и скрывающее смысл всех событий.

До войны руководителями германской с.-д. были центристы. Они то привили рабочему классу уверенность в блестящих успехах и бесперывном продвижении партии вперед. Миллионы голосов на выборах, сотни тысяч членов, богатейшая пресса, сильнейшая организация. И в то же время молчком и ползком, тихой сапой в партию прокрадывается змея оппортунизма. Под звуки громких слов о революции он высасывает ее живую душу: волю к борьбе. Под числовые выкладки прошедших и готовящихся побед, под успокоительно-торжественные

¹⁾ Доклад, прочитанный автором 16 февраля 1928 г. в Ленинградском Исследовательском Институте марксизма. Доклад этот затрагивает лишь доовую теорию Каутского. Послевоенная эволюция его взглядов будет изложена особо.

отчетные речи затуманиваются грозные перспективы надвигающейся войны.

Война впервые ярким светом освещает всю бездну пропасти, в которую вовлечен рабочий класс предыдущим парламентско-просветительно-каутскианским периодом жизни партии. Сова Минервы вылетает в сумерки.

Война помогает назвать все собственными именами, оценить глубину расхождений и измены, наметить новые пути, поднять массы на революционные бои.

На фоне победоносной Октябрьской революции немецкий рабочий класс переживает тяжелые годы революционных взлетов и поражений. Между единым фронтом ревизионистов, прилагающих все свои усилия, чтобы спасти капиталистическую власть и капиталистическое хозяйство, и молодым коммунистическим движением идет неравный бой. Нереализованный подъем 1923 года мстит за себя годами экономической стабилизации и политической фашизации Гинденбургской республики. Социал-демократия, расшатанная в период инфляции, вместе с новым временным подъемом капитализма, оживает, перераспределяет свои силы и набирается новой смелости. Бернштейновская теория, впервые 30 лет тому назад увидевшая свет на гостеприимных страницах «Нейе Цейт», одержавшая уже в начале войны свои первые большие победы, консолидируется и в чуть измененном, модернизированном виде становится официальной теорией всего II Интернационала. Вместе с необернштейнианством оживает также и неоцентризм, поблекший, потерявший свою былую независимость и самостоятельность, насквозь лживый и лицемерный, ежедневно разоблачаемый коммунистической критикой, но сохранивший еще до известной степени свою старую роль течения, прикрывающего контрреволюционное вырождение современной социал-демократии.

На теоретическом фронте социал-демократии за последние годы чувствуется заметное оживление. Происходит спешная разработка всех частей нового конструктивного социализма, под именем которого выступает необернштейнианство. Ближайшую волну революционного подъема с.-демократия хочет встретить во всеоружии новой теории, радикально порвавшей с революционным марксизмом. Ей надоело путаться со старыми «революционными» предрассудками марксизма, мешающими делу предательства рабочих.

Ради той же цели идет спешная переделка всей истории партии. Кампфмейеры, Липинские, Драны¹⁾ пытаются изложить историю эту на оппортунистический лад и подпереть ею свои сегодняшние вырожденческие взгляды. В таких условиях потребность в разработке этой истории с точки зрения ленинизма становится особенно настоятельной. История германской социал-демократии должна в первую очередь выявить преемственную связь между старым и новым оппортунизмом и ревизионизмом, также как и преемственность между довоенным и послевоенным революционным марксизмом.

Однако наиболее важной из проблем этой довоенной истории для ленинизма является вопрос о центризме как скрытой форме оппортунизма. Элементы центризма, которыми больше всего оперируют сегодняшние так называемые «левые» с.-демократы, продолжают представлять для революционной идеологии особую опасность. В этом

¹⁾ P. Kampfmeyer, Die Sozialdemokratie in der deutschen Geschichte bis zur Reichsgründung, 1927; Lipinski, Die Sozialdemokratie, 1927; E. Drahn, Die deutsche Sozialdemokratie, 1926.

смысле в первую очередь важно разоблачение довоенной теории революции Каутского, являющейся основным историческим наследством современного центризма.

1. Немецкий центризм.

Что такое центризм и когда он появился, какова его организационная и социальная база, в чем особенности его идеологии? Таковы предварительные вопросы, на которые без краткого, хотя бы суммарного, ответа нельзя с должной серьезностью подойти и к теории революции Каутского.

Формально центризм появляется вместе с левым радикализмом в конце первого десятилетия XX века, фактически же он зарождается в Германии значительно раньше.

Семидесятые годы означают для германской с.-д. период идейного разброда. В это время идеология создающейся партии находится еще под преобладающим влиянием лассальянства, дюрингианства, катедер-социализма (а не марксизма). Марксизм завоевывает себе почву лишь в 80-х годах. Но этот марксизм не совпадает полностью с революционным марксизмом основателей этого учения. Он носит на себе, и в первую очередь в области тактики, идейные следы указанных учений, господствовавших в 70-х годах.

Правда, немецкая с.-демократия была первой большой марксистской партией, вынужденной впервые создавать основы марксистской политики. И в этом смысле колебания и ошибки были неизбежны. И все же указания причина не может полностью этих колебаний и ошибок оправдать. Длительной и серьезной причиной отклонения немецкой с.-демократии от революционного марксизма были особые исторические условия развития Германии. Обединение сверху, — такой важнейший политический фактор, тяготеющий над историей современной Германии ¹⁾. Он означал мирное сожительство конкурства с буржуазией на основе гегемонии первого. — Он породил рабское преклонение всех буржуазных и мелкобуржуазных классов и партий перед государством, совершившим своими собственными силами великое дело национального возрождения. Он предопределил мирный революционный путь развития немецкого общества. Он завершил разложение немецкого либерализма, показавшего еще в революции 1848 г. свою гибкую неустойчивость и слабость. Вытекающее отсюда соотношение классов обусловило в свою очередь особую историческую роль немецкой соц.-демократии. Социал-демократия переняла в значительной степени оппозиционные функции либерализма, становясь организационным центром всех демократических чаяний народных масс. Таким образом, социал-демократия подпадала под сильнейший удар мелкобуржуазных попутчиков.

Выросшая в таких условиях с.-демократическая теория изначальн страдала неясностями, недоговоренностями и смягчениями во всех тех вопросах, которые касались революции и перехода от буржуазного строя к социализму. Вот этот-то урезанный, смягченный, обезвреженный, подпавший под влияние оппортунистических течений и тенденций марксизм, мы и называем центризмом. Центризм исподтишка, незаметно, постепенно ревизовал марксову теорию революции и диктатуры пролетариата. В дальнейшем к этому присоединилось непонимание

¹⁾ См. интересные замечания Ленина по этому поводу в «Вопросы И. И. Степанову-Скворцову», т. XX, ч. 1, стр. 313—317.

империализма и империалистической политики и даже ее косвенная поддержка. Таким образом, своеобразие немецкого марксизма и вообще марксизма эпохи II Интернационала выражается не в одной лишь неспособности к проблемам новой эпохи империализма, как некоторые это думают, а в одновременном сползании также и в области теории революции и государства. Мелкобуржуазная теория империализма есть по существу лишь частный случай мелкобуржуазной теории революции. И только сумма этих ошибок и дает нам наиболее существенное и характерное в центризме как особом теоретическом течении.

Необходимо сразу же оговориться. Центризм, как и оппортунизм, не появился сразу, как что-то готовое и законченное. Он зреет в течение десятилетий вместе со всей обстановкой и со всеми противоречиями, которые несет с собой эпоха империализма. Он начинается с отдельных «правых» ошибок и оформляется лишь тогда, когда эти правые ошибки становятся хроническими и превращаются в особую тактическую, а потом и теоретическую линию. Он растет по мере того, как выдвигается вперед проблема революции и захвата власти.

Для эпохи 80-х годов характерным был еще не теоретический, а тактический центризм, при чем центризм лишь в зародышевом виде. Подобно тому, как Фольмар со своими политическими выступлениями начала 90-х годов, обосновывавшими тактические принципы оппортунизма, предшествовал Бернштейну, давшему их теорию, подобно этому Бебель предшествовал Каутскому.

Почему политику Бебеля в эпоху закона против социализма мы вправе условно назвать центристской?

Основные усилия Бебеля состояли в сохранении партийного равновесия на основе критики левых (фракция Моста) и правых (оппортунистическое большинство фракции рейхстага) при больших поблках правым. Это не трудно доказать на поведении Бебеля во все важнейшие моменты того периода. Достаточно вспомнить, хотя бы, его позицию в год растерянности и ликвидаторских настроений, непосредственно после проведения закона, его филистерское отношение к анархистам, его колебания в партийных дискуссиях о пошлинах, в вопросе о направлении и тоне «С.-Демократа»¹⁾, его постановку проблемы насильственной революции (декларация в рейхстаге в 1881 г.), его знаменитую речь в рейхстаге в 1880 г. о защите отечества и пр., и пр. Во всех этих случаях Бебель склонялся направо и не вел достаточно решительной борьбы с оппортунистами.

Но может быть к этому его толкала обстановка? Как раз наоборот. Эпоха закона протекала в обстановке экономической депрессии и систематических преследований рабочего движения. Массы еще не были пропитаны парламентским пошибом и неолиберальной рвением в бой. Оппортунизм еще не имел солидной социальной базы и выступал, главным образом, как верхушечный оппортунизм с.-д. парламентариев. Основные принципы оппортунистической тактики—всепоглощающий парламентаризм, недоверие к низовому массовому движению и торможение его, незапугивание буржуазии, непонимание проблем внешней политики и пр.—только складывались. В таких условиях и в такой обстановке подлинно революционная тактика больше чем в какой-либо другой момент предвоенной истории германской с.-д. имела бы шансы на успех. Бебель был прекрасным организатором,

¹⁾ См., напр., переписку между Бебелем и Энгельсом в связи с первой статьёй Фольмара в 1882 г. в «Социал-Демократе».

сумевшим создать громадную авторитетную в массах партию, великодушным массовиком, чутко улавливающим потребности и настроения рабочих и отвечавшим на них, популярнейшим и любимейшим вождем пролетариата, его преданнейшим солдатом, самым блестящим обличителем капиталистического строя. И все же в Бебеле чувствовались многие предрассудки мелкобуржуазной ремесленной среды, из которой он вышел. Организатор отторгал на задний план революционера, практик—теоретик, мастер партийного равновесия—обличителя реформистов. Бебель больше всего верил в медленную, упорную, систематическую работу партийного строительства и меньше всего ожидал и хотел стихийных революционных потрясений и переворотов. Целость и сохранность трудом долгих лет создаваемой им организации была для него дороже всего на свете, невольно превращаясь из средства в самоцель. Бебель не дал решительного отпора зарождавшемуся оппортунизму, а потом и ревизионизму, и таким образом сам стал невольным их пособником.

Что касается оценки бебелевской тактики в эпоху исключительного закона, то здесь мы имеем свидетельства Маркса и Энгельса, а потом одного Энгельса в их тогдашней переписке. Критика их шла все время на левый подталкивание партийного руководства влево. Они с пристальным вниманием и немалой тревогой следили за политикой партии. Всякое соскальзывание с позиции «гражданской войны» на позицию «братства людей», всякое протаскивание мелкобуржуазных идей «по кусочкам, контрабандой», ликвидаторства, политическую трусость они резко и беспощадно клеймили. Особенно жестоко они обрушивались на тогдашних вожаков,—эту «смесь из докторов, студентов и катедер-социалистов» (Маркс), заражавший рабочих своими мелкобуржуазными принципами.

Основной недостаток положения Энгельс видел в несоответствии между левизной масс и оппортунистической слабостью вождей. При чем критика его задевала и Бебеля. «Вечные придирки» старика (Энгельса) явно раздражали Бебеля. Ссылкой на трудные условия, на их своеобразие, намекая на то, что тебе, мол, старику издали легко говорить, а нам-то здесь каково,—Бебель старался смягчить энгельсову критику правых.

Дискусней с «молодыми», закончившейся их исключением из партии при одновременном сохранении зарождающегося правого фольмаровского крыла, закрывается эта первая вступительная глава немецкого центразма.

Дальнейшая история его развития и его постепенного сползания вправо идет параллельно с историей развития оппортунизма. Отмена исключительного закона против социалистов открыла новую эпоху в истории германской социал-демократии. Выступление Фольмара, развернувшего законченную программу оппортунистической политики, имело уже не только верхушечное, но и глубоко социальное значение. Фольмаризм было выражением м.-б. давления на рабочий класс. Крестьянский юг становится важнейшей крепостью оппортунизма, рассадником идей о соглашении с буржуазией, о социал-монархизме и социал-империализме. Одновременно — происходит сдвиг всего партийного руководства вправо. Партия, решительно отвергнутая предложения Фольмара, все же сама свертывает на путь мирных, законных, парламентских методов борьбы. Дискуссии по аграрному вопросу, по вопросу о пошлых и о тактике южан обнаруживают центристскую неустойчивость Правления партии.

Выступление Бернштейна,—важнейший шаг вперед не только оппортунизма, но и центризма. Бернштейнианство представляет уже не один лишь мелкобуржуазный юг, но и общегерманский оппортунизм на основе начавшей крепнуть рабочей аристократии. «Особые условия» юга становятся в глазах Бернштейна особыми условиями всей Германии. Оппортунизм идет лобовой атакой против партии. Для этого он пытается теоретически себя оформить.

Правление партии в начале дискуссии молчит; оно тайно, а иногда и явно симпатизирует Бернштейну. Выявившееся на Штутгартском партийтаге левое настроение низов вынуждает Бебеля и Каутского выступить против Бернштейна. Это первое выступление было в достаточной степени двусмысленным и неопределенным. Если Каутский приходит к заключению, что Бернштейн «заставил нас размышлять, будем ему за это благодарны», то Бебель явно склоняется к отсрочке дискуссии и не желает связывать себя еще окончательным суждением. Резкие же выступления Парвуса и Розы Люксембург против Гейне и «Форвертса» Бебель смягчал, пытаясь занять «объективную», примирительную позицию ¹⁾.

Если в следующие годы, особенно в Ганновере и Дрездене дискуссия приводит к поражению и отступлению бернштейнианцев, то и это не должно скрывать центристского характера. всей кампании против ревизионизма.

Во-первых, вся атака идет, главным образом, по линии теоретических разногласий. Уже в Штутгарте Бебель и Каутский в конкретном вопросе о пошлаих идут на уступки Шиппелю. В своей речи в Ганновере решительное осуждение бернштейновских теорий Бебель сопровождает сочувственными отзывами о практической деятельности баварских и баденских товарищей. Строгие резолюции против Бернштейна на партийтагах сопровождаются полным попустительством в деле роста и развития ревизионистских организаций и прессы, включая и ежедневный орган партии—«Форвертс», проводивший в продолжение всей дискуссии оппортунистическую линию.

Во-вторых, само бернштейнианство как социально-политическое явление недооценивается и затушевывается. Каутский в своем выступлении в Ганновере и в своем «Анти-Бернштейне» надеется, что «настоящая дискуссия» будет последней, и что можно будет перейти к «более важным проблемам». Социальные причины ревизионизма или замалчиваются, или умаляются. В статье своей о «3 кризисах марксизма» Каутский в смерти Энгельса видит главную причину возникновения бернштейнианства. Никто поэтому, кроме Розы Люксембург, не требует исключения Бернштейна из партии. Напротив, ему помогают приехать из Англии и персонально продолжать дело разложения рабочего класса, его проводят депутатом в рейхстаг, его лишь мягко журят в Любеке (1901) за явно антисоциалистическую лекцию, прочитанную студентам после приезда в Берлин («Возможен ли социализм как наука»).

В-третьих, и теоретическая критика Бернштейна сохраняет за собой печать центризма, особенно в вопросах о революции, о диктатуре, о демократии, о бланкизме и пр., о чем будет идти речь дальше.

Печать двойственности лежит на всей кампании. Это есть главная причина зарождения к этому времени и лево-радикалистских настроений. Но двойственности этой партия еще не видит. Бебель для партии не центрист, а автор прекрасных выступлений против Бернштейна в

¹⁾ Protokoll über die Verhandlungen der S.-d. Partei Deutschlands, Abgehalten zu Stuttgart, Berlin 1898 г., стр. 122—126.

Гаиовере и в Дрездене. Особенно речь его в Дрездене, где Бебель объявляет себя «смертельным врагом буржуазного строя», говорит об «экспроприации экспроприаторов», о классовом лице современного государства и о некомпетентности парламентаризма, где он искусно разоблачает ревизионистскую тактику («Только покой, только покой. Никакого шума... Только не возбуждать масс, это могло бы потревожить наш выборный округ»), такая речь меньше всего могла навредить Бебелю упрек в колебаниях.

Если последующие три года прошли под знаком левого курса и глубокого отступления бернштейнианцев, то поражение революции в России дало сигнал для их реванша по всей линии. Начиная с 1906—1907 годов дифференциация течений и отступление центра идет быстрым темпом. Отступление Бебеля в Мангейме по вопросу о всеобщей стачке и в Эссене и на международном конгрессе в Штутгарте по вопросу о колоннальной политике открывает путь для тактического слияния обоих крыльев партии. «Не следует,—говорит Бебель в Штутгарте,—предопределять позиции, которые займут социал-демократы во время войны, не следует обострять отношений между партией и властью». Демонстративная критика южан в Нюрнберге и в Магдебурге, не сопровождавшаяся, впрочем, организационными выводами, была последним всплеском критики правых. Начиная с 1910 г. левый радикализм начинает раскрывать свою оппортунистическую сущность. В эти последние годы он пытается в лице Каутского теоретически оформить свое тактическое сползание.

Таковы основные этапы развития централизма. Какова же была его организационная и социальная база?

Организационной опорой централизма был партийный аппарат. Партийный аппарат дольше всего сопротивлялся реформистскому наступлению. Он относительно лучше других отражал оппозиционные настроения рабочих масс. Он также был естественным преемником старых ортодоксально-марксистских традиций. Он возглавлялся старыми вождями и считал для себя обязательной старую программу и старые лозунги. В Правлении партии вплоть до войны находились почти исключительно радикалы. Марксизм оставался официальным учением партии и пропагандировался ее официальными органами и агитаторами.

Базой же оппортунизма были сначала м.-б. южные организации, затем профсоюзы и фракция рейхстага. По мере роста профсоюзной и парламентской бюрократии, тесно связанного с ростом рабочей аристократии и давлением м.-б. полутчиков, росло наступление реформистов на партию и партийный аппарат.

Это внешнее концентрированное давление профсоюзного и парламентского оппортунизма находило в свою очередь поддержку в самом партийном аппарате. Аппарат постепенно бюрократизировался, терял связь с массами, действовал все более под влиянием своих собственных, обособленных групповых интересов, персонально и идейно сливался с парламентской бюрократией. Так, интересы рабочего класса и партии постепенно подменялись интересами единого блока бюрократов. Так происходила перекличка и смычка всех м.-б. элементов внутри и около партии, внутри и около рабочего класса¹⁾.

¹⁾ Подобное схематическое деление может иметь естественно лишь приблизительное значение. Речь может идти лишь о преимущественно и типичных оппортунистах или радикалах в той или иной организации. В действительности целый ряд партийных организаций еще с конца XIX века был захвачен ревизионистами, другие же не зывляли своего лица и представляли партийное большинство.

Имел ли центризм свою особую социальную базу?

Дифференциация рабочего класса в Германии, как и во всех империалистических странах, шла по одной лишь основной линии, по линии выделения рабочей аристократии. Рабочая аристократия—база ревизионистов. На их сторону постепенно переходит партийный аппарат, таща за собою остальную массу рабочих. Эта масса, конечно, не может быть вполне однородной ни экономически, ни идеологически. Среди нее мы встречаем кандидатов на более высоко оплачиваемые должности в производстве, в профсоюзах и в партийном аппарате, т.е. ближайший резерв рабочей аристократии и рабочей бюрократии.

Но здесь также находится то огромное большинство рабочих, которые с каждым годом все сильнее чувствуют напор юнкерского государства на политические и юридические права рабочих, напор хозяина на заводе, напор картелей на рынке, растущую дороговизну, растущие налоги, растущий милитаризм и опасность войны.

Здесь есть элементы, колеблющиеся, частично зараженные ревизионистскими рассуждениями о мирном движении к социализму. Но здесь еще больше таких, которые хотят бороться с капитализмом, верят в своих старых вождей, верят в их бывшую революционность и идут за ними до конца, обманутые их революционными фразами. Правда, левый радикализм отбирает наиболее решительно, наиболее критически и революционно настроенных рабочих. Но в общем и целом социальная база центристов и левых радикалов—одна и та же. Центризм не имеет особой социальной базы. В этом его своеобразие, в этом причина его неустойчивости, его колебаний влево и направо, и поэтому также он может играть исторически ограниченную лишь роль. И только таким образом мы сможем также объяснить, почему идеи левого радикализма, завоевавшие столь большую популярность накануне войны, потерпели столь большой крах в начале войны.

Начавшаяся накануне войны идейная дифференциация не сопровождалась дифференциацией организационной. Рабочий, симпатизировавший агитации Розы Люксембург, оставался в рядах единой партии, выполнял постановления партийных инстанций и в решительные дни начала войны не смог дать отпора их предательской политике ¹⁾.

«Центр,—писал Ленин,—люди рутинные, изъеденные гнилой легальностью, испорченные обстановкой парламентаризма и пр., чиновники, привыкшие к теплым местечкам и «спокойной» работе. Исторически и экономически говоря, они не представляют особого слоя, они представляют только переход из изжитой полосы рабочего движения, от полосы 1871—1914 гг., от полосы, давшей много ценного, особенно в необходимом для пролетариата искусстве медленной, выдержанной, систематической, организационной работы в широком и широчайшем размере,—к полосе новой, ставшей объективно необходимой со времени первой всемирной империалистической

¹⁾ Это еще, конечно, не значит, что все немецкие рабочие были патриотами в социал-империалистами, как хочется В. Тарле, оппортунистически толкующему роль левого радикализма в истории германской с.-демократии. См. особенно его чудовищное объяснение популярности Р. Люксембург и К. Либкнехта во время войны: «К Розе Люксембург, Карлу Либкнехту, Лео Иогихесу и их товарищам стали несколько больше прислушиваться не потому, что убедились в несоответствии войны и захвата колоний с принципами социализма, но потому, что кое-кто со страхом начал смотреть, что при подобных Вильгельму руководителям имперской политики Германская империя может потерпеть поражение» («Европа в эпоху империализма», стр. 79).

войны, открывшей эру социальной революции»¹⁾. В другом месте Ленин говорит, что «каутскианство не представляет никакого самостоятельного течения»²⁾.

Центризм не опирается на особый слой рабочих, экономически обособленный, социально затвердевший и оформленный наподобие рабочей аристократии. Центризм всегда означает известные ножицы между сползающим к оппортунизму руководством и массами. Поэтому-то мы еще в недрах капитализма можем у него завоевывать рабочих, и поэтому-то коммунистическая партия представляет фактически, а не формально интересы огромного большинства рабочего класса, поэтому также центристы вынуждены всегда искажать перспективы, обманывая левыми фразами и себя, и массы.

Но вместе с тем центризм имеет, как было уже раньше указано, и как это отмечает Ленин, глубокие исторические причины. Величайшим союзником центризма была эпоха относительно мирного развития капитализма, создавшая ряд иллюзий о методах борьбы с капитализмом, о его силе и устойчивости, о формах перехода к социализму. Э. Фишер еще до войны заявлял, что «в нормальные времена вообще не бывает революционных партий, может существовать только реформистская работа». Каутский во время войны это обобщил своим знаменитым изречением, что «II Интернационал есть инструмент мира». Всякая, хотя бы временная, стабилизация капитализма снова возрождает оппортунистические иллюзии, укрепляя позиции центристов.

Но если до войны иллюзии эти в общем и целом искренне разделялись партийным руководством, то после испытаний войны и революции они насаждались сверху путем лжи, обмана и насилий. Но в то же время, если до войны не было в Германии ясной революционной ситуации и можно было запутывать проблемы революции, не вызывая эти особого внимания и протестов, то после войны, в эпоху социальной революции, все это коренным образом меняется.

Тезис об отсутствии особой социальной базы у центристов дает нам также руководящую нить в оценке центристской идеологии.

Эта идеология есть кривая воздействия революционного марксизма, с одной стороны, и оппортунизма, с другой. В зависимости от состояния классовых сил в стране и от всей политической обстановки, центристы говорили более или менее революционным языком. Но центризм есть скрытый оппортунизм. Поэтому он не может долго отстаивать положения последовательного марксизма, поэтому он не может бесконечно лавировать и в общем и целом тяготеет к ревизионизму.

Это тяготение идет в двух основных направлениях, соответствующих двум главным идеям ревизионистов.

Ревизионизм: 1) отрицал идею революции и диктатуры и противопоставлял ей идею вставания социализма в капитализм; 2) защищал идею сотрудничества классов и тем самым волей-неволей встал в социал-империализм. Постепенный отказ от марксовой теории революции и государства,—такова одна линия сползания центризма.

Социал-патриотизм, более или менее открыто проповедывавший еще до войны, индифферентизм в вопросах внешней политики, отказ от пропаганды в армии, уступки в вопросах таможенной и колониальной политики и, наконец, мелкобуржуазная пацифистская теория империализма,—такова вторая линия сползания.

¹⁾ Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 1, стр. 54.

²⁾ Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 481.

Под центризмом мы, таким образом, понимаем особую форму скрытого оппортунизма, вырастающую на почве относительно мирной эпохи довоенного империализма и особых классовых взаимоотношений довоенной Германии. Центризм не имеет особой социальной базы, хотя и возникает в силу особых исторических условий. Центризм начинается с неумения достаточно резко отмежевываться от оппортунизма, с его организационного и тактического прикрытия. Теоретически он оформляется тогда, когда начинает отходить от марксовой теории революции и государства и когда он начинает строить мелкобуржуазную теорию империализма, которой подчиняет свою политику.

Наиболее выдающимся выразителем центристской теории был Каутский, наиболее ярко путь его колебаний иллюстрирует теория пролетарской революции, излагавшаяся им на протяжении целой четверти века перед войной. К ее рассмотрению мы и перейдем.

2. Девяностые годы.

Надежды и перспективы, открывшиеся перед партией после отмены закона против социалистов, получили свое отражение и в теоретическом творчестве руководителей партии, и в первую очередь Каутского. Все его работы того периода, вплоть до дискуссии с Бернштейном, выдержаны в примирительных тонах и подчёркивают отказ от насильственной революции.

В то же время, чтобы сохранить правильную меру в оценке его оппортунизма, необходимо все время иметь в виду, что теория революции Каутского на всех ступенях своего развития представляет умелое сочетание и переплетение одновременно двух потоков. С одной стороны, Каутский ведет постоянную борьбу с ревизионистской теорией вранствия, защищая революцию и развивая и популяризируя старые традиционные взгляды Маркса; с другой стороны, он систематически замалчивает наиболее боевые стороны этих взглядов и «дополняет» их оппортунистическими толкованиями. В той степени, в какой Каутский был лучшим, наиболее авторитетным популяризатором марксизма, его заслуги огромны. В частности, огромной заслугой Каутского 90-х годов была прекрасная разработка аграрного вопроса. Но в то же время не следует забывать слов Ленина о том, что «Каутский, несмотря на свои громадные заслуги, никогда не принадлежал к тем, кто во время больших кризисов сразу занимал боевую марксистскую позицию». Каутский всегда умело пользовался оружием обхода, умалчивания и уклонения от ответов на наиболее животрепещущие, конкретные проблемы революции. «Из суммы этих обходов вопроса, умолчаний, уклончивости и получился неизбежно тот полный переход к оппортунизму, о котором нам сейчас придется говорить»¹⁾.

Эта вторая сторона его творчества, до войны мало вызывавшая внимания, естественно будет нас в первую очередь интересовать.

Начнем с комментариев Каутского к «Эрфуртской программе». Не останавливаясь на общеизвестных положениях, излагающих учение Маркса, сразу же отметим основные оппортунистические отклонения этой работы.

Переворот для Каутского не сопряжен обязательно с насилием. «Нет никакой необходимости, чтобы он был связан с насилиями и пролитием крови. Бывали уже во всемирной истории случаи, когда

¹⁾ Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 388.

господствующие классы проявляли особенную проницательность или особую слабость и трусость, и сдавались добровольно перед неизбежным»¹⁾). Этот взгляд на будущую революцию уже не покидает больше Каутского, так же, как и представление о форме, в которую выльется будущая экспроприация. «Ни в коем случае нельзя сказать, чтобы для проведения социал-демократической программы требовалась безусловно конфискация той собственности, экспроприация которой станет неизбежной»²⁾). Такого вывода Каутский боится как огня.

И захват власти, и введение социализма могли бы, — думает он, — обойтись без насилия. Не удивительно поэтому, что в комментариях, как и в самой Эрфуртской программе, о диктатуре пролетариата, как форме переворота, нет ни слова. Сам вопрос о революции стоит у Каутского особняком в разделе «Государство будущего», без увязки с классовой борьбой, которая трактуется в другом месте.

Парламентаризм уже здесь рассматривается Каутским как основной метод борьбы. В этом смысле его позиция правее соответствующих резолюций Эрфуртского партийного съезда 1891 г. «Из всех средств, находящихся в распоряжении пролетариата, парламентская борьба есть самое могучее, чтобы оказывать на государственную власть давление в свою пользу и отвоевывать от нее те уступки, какие могут быть отвоеваны. Коротко говоря, парламентская борьба является самым сильным рычагом, чтобы поднять пролетариат из его экономической, общественной и моральной приниженности»³⁾). Парламентская республика — последнее слово парламентаризма. «Остается ли при этом монархия в качестве декорации, как у англичан, или нет, — довольно безразлично»⁴⁾). «Эрфуртскую программу» можно назвать первым теоретическим документом централизма.

Статья Каутского по поводу книжки Кнорра, напечатанная в 1893 году в «Нейе Цейт», дает уже целую систему центристских взглядов на революцию.

Во-первых, революцию не делают. «Социал-демократия — партия революционная, но отнюдь не фабрикующая революцию... Мы знаем, что так же, как мы не можем сделать революции, так наши противники не в силах ей воспрепятствовать. Поэтому нам вовсе не приходит в голову затеять революцию или подготавливать ее... И так как революция не может быть затеяна по нашему произволу, то мы не можем ничего сказать о том, когда, при каких условиях и в каких формах она наступит»⁵⁾).

Революция — это стихия, и ничего больше. Это позволяет саботировать все конкретные проблемы, ею выдвигаемые. В духе этого положения решается и вопрос о насилии. «Так как о решающих боях социальной войны мы ничего не знаем, то, естественно, мы так же мало можем сказать, будут ли они кровавыми, будет ли в них играть значительную роль физическая сила или же они будут решаться исключительно мерами экономического, законодательного и морального давления»⁶⁾).

Каутский божится, что «мы ничего не знаем». Но «можно все же сказать, уверяет он нас вслед за этим, что имеется налицо полная вероятность, что в революционных боях пролетариата средства послед-

¹⁾ «Эрфуртская программа», Спб. 1906 г., стр. 105.

²⁾ Там же, стр. 144.

³⁾ Там же, стр. 212.

⁴⁾ Там же, стр. 207.

⁵⁾ «Eine Social-demokratische Katechismus», «Нейе Цейт», XII, 1, стр. 388.

⁶⁾ Там же, стр. 369.

него рода (мирные.—И. А.) будут превалировать над средствами физическими, т.е. военного насилия, в противоположность тому, как это имело место в революционных боях буржуазии»¹⁾.

Итак, перед нами первые зародыши ревизионистской теории, противопоставляющей социалистическую революцию как мирную буржуазии как насильственной. Как мотивирует Каутский свой курс на мирную революцию? Во-первых, в настоящее время имеется громадный перевес вооруженной армии над народом. Во-вторых, рабочий класс пользуется свободой коалиции, свободой печати, всеобщим избирательным правом. Все это позволяет ему, в отличие от эпохи буржуазной революции, осознать цели своей борьбы и правильно оценить свои силы. Таким образом, он в состоянии избежать столь частых во время буржуазной революции путей, «подавляемых одним ударом», быстро ниспровергаемых правительств и характерного для того времени чередования революции и контрреволюции.

Смысл этого рассуждения вполне ясен. Демократия спасает пролетариат от ужасов буржуазной революции. Уже здесь начинаются заключения Каутского с этой демократией. Демократический строй не может устранить классовых противоречий. Но он может сделать одно: «Он может предохранить не от революций, а от некоторых преждевременных безнадежных революционных попыток и может сделать излишними и некоторые революционные восстания. Он вносит ясность в соотношения сил различных партий и классов. Он не устраняет их противоречий и не отодвигает их конечных целей, но он действует в том направлении, чтобы помешать классам восходящим браться за разрешение таких задач, для которых они еще не выросли, и удерживать классы господствующие от отказа в уступках,—отказа, с последствиями которого они уже не в состоянии справиться. Направление развития от этого не меняется, но ход его становится все более постоянным и более спокойным»²⁾.

Итак, демократия накладывает узду и на пролетариат, успокаивая его революционные страсти, и на буржуазию, заставляя ее идти на добровольные уступки. Но это фактически значит, что демократия смягчает классовые противоречия.

Демократические учреждения—вот что отличает эпоху социалистической революции от буржуазной. Поэтому теперь мы не будем иметь больше таких громких побед, как раньше, также как не будем терпеть столь больших поражений. «Пусть демократический пролетарский метод борьбы покажется более скучным, чем метод эпохи революционной буржуазии, он несомненно менее драматичен и эффектен, но он требует также и меньше жертв».

Когда же эта эпоха медленных побед и небольших жертв начинается? «Низложение Парижской Коммуны в 1871 году,—утверждает Каутский,—является последним большим поражением пролетариата»³⁾. С усилением демократии растет у пролетариата самообладание и вера в себя. В то же время «политическое положение пролетариата позволяет надеяться, что он так долго, как только можно, будет пытаться применять только вышеуказанные «законные методы». Единственным врагом этих методов являются буржуазные классы, «которые хотят спровоцировать революцию из страха перед революцией». При этом

¹⁾ «Нее Цейт», XII, I, стр. 369.

²⁾ Там же, стр. 402.

³⁾ Там же, стр. 405.

положении основная задача пролетариата—не провоцировать буржуазию и терпеливо ждать.

Каутский развивает здесь положения тактики на истощение, тактики на длительную оборону, на реформистское вращение и всю инициативу наступления предоставляет господствующим классам. «Чем сильнее будем мы, тем больше практические задачи, выдвигаются на передний план, тем более вынуждены мы агитацию нашу раздвигать за круг наемных рабочих, тем больше должны мы остерегаться ненужных провокаций или пустых угроз». Поэтому также «не следует слишком строго судить», если мы отходим в практических вопросах от правительственной линии.

Чтобы ослабить впечатление оппортунистической осторожности, проникающей всю эту статью, Каутский пытался впоследствии прикрыться знаменитым предисловием Энгельса 1895 года. Но то, что Энгельс высказывал по поводу конкретной ситуации 1895 года, когда германским рабочим угрожали новые исключительные законы, при чем отнюдь не отрицающая необходимости насильственной революции, то Каутский обобщал в качестве тактики для всей предстоящей эпохи парламентаризма.

Весь уклон статьи явно направлен против левых. Быстро освободившись от критики полуграмотной книги Кнорра, Каутский все остальные рассуждения посвящает борьбе с идеей кровавого, насильственного, самим пролетариатом подготовляемого переворота. Возвести новую эру законных, мирных методов, он готов все же удачу рабочего движения после 1871 года возложить исключительно на анархистов. Так было в Италии в 1873 году, так было в Германии в 1878 г., где анархическое покушение Геделя дало ему возможность провести исключительный закон, так было в Австрии в 1884 году и в Америке в 1886 году. «Единственные крупные неудачи, которые постигли рабочее движение за последние 20 лет, вызваны делами анархистов или, по меньшей мере, вызваны проповедываемой ими тактикой»¹⁾. Здесь Каутский вплотную подходит к положению ревизионистов: или реформа, или анархия. Его же изображение анархистов мало чем отличается от обычных мещанско-полицейских о них представлений и во всяком случае абсолютно созвучно ревизионистским о них взглядам. Это люди, ничего общего не имеющие с классовой борьбой, душевно-больные, с извращенными инстинктами, мошенники, преследуемые убийцы и т. п.

Письма к Мерингу за этот же год, частично опубликованные недавно Фрейлихом, «удачно» дополняют идеи изложенной только что статьи. Они раскрывают интимные взгляды Каутского на «парламентский» захват власти.

«По-моему, в Германии мы страдаем не избытком, а скорее недостатком парламентаризма и задачи пролетариата—наверстать то, чего, по своей трусости, не успела сделать немецкая буржуазия,—создать подлинный парламентарный строй... Для диктатуры пролетариата и не могу придумать лучшей формы, чем мощный парламент по образцу английского с социал-демократическим большинством, опирающийся на сильный и сознательный пролетариат... Борьба за истинный парламентаризм и окажется в Германии решительным боем социальной революции, поэтому в Германии парламентский строй означает политическую победу пролетариата, но также и обратно... Только парламентская республика с монархической ли верхушкой по английскому

¹⁾ «Нейе Цейт», XII, 1, стр. 406.

образцу, или без нее, может создать почву, из которой вырастет диктатура пролетариата и социалистическое общество. Эта республика и есть то «государство будущего», к которому мы должны стремиться¹⁾.

Каутский, как видно, ставит себе отнюдь не несбыточные задачи. Полная демократизация немецкого государства, «даже» при сохранении головы Вильгельма, означает для него все, что нужно для перехода к социализму. Это демократизированное государство и есть уже «государство будущего». Это значит, что никакой дальнейшей ломки оно больше не требует, что оно вращается в социализм.

Лишь ознакомившись со взглядами Каутского на революцию и ее перспективы, так, как они сложились в первые же годы после отмены закона против социалистов, нетрудно уже будет понять его поведение в дискуссии с Бернштейном, особенно в первую ее фазу. Каутский одобряет первые статьи Бернштейна, печатая их в «Нее Цейт» без всяких оговорок. Они «вначале в высшей степени мне понравились», сознается он в своей недавно выпущенной автобиографии²⁾. В статьях Бернштейна Каутский увидел не без основания продолжение идей, которые он уже развивал в 1893 году. Выступить против Бернштейна заставил его лишь Штутгартский партейтаг, обнаруживший враждебное отношение партии к идеям ревизионизма. Сам «Анти-Бернштейн», как мы уже в другом месте отмечали, носит печать известной вынужденности и перестыльности³⁾.

Но в этой работе содержится в более развитом виде ряд основных положений марксизма, излагавшихся раньше Каутским в комментариях к «Эрфуртской программе». Нельзя поэтому отрицать ее большого значения для истории марксизма, хотя она значительно и уступает по теоретической выдержанности и по блеску изложения «Реформе и революции» Розы Люксембург⁴⁾. В частности, Каутский признает здесь, что не может быть больше разговора о «преждевременной» победе революции. «Опасение, что мы завтра же можем провалиться германскими диктаторами, всего менее меня тревожило... Ее (победу.—И. А.) можно избежать только в том случае, если социальная демократия сама себя уничтожит»⁵⁾.

Хороши также места о единстве пролетариата и о характере современной демократии. «Прогрессивной демократией в современном промышленном государстве может быть только демократия пролетарская. Вот почему идет к упадку прогрессивная буржуазная демократия». Это—слова и мысли, взятые из выступлений Парвуся и Розы Люксембург против Бернштейна.

Но в этом же сочинении не трудно найти и обратное. Остановимся на трех вопросах: о понятии революции, о теории и практике и об экономических предпосылках революции.

¹⁾ R. Luxemburg, Ges. Werke, т. III, Введение П. Фрейлиха, стр. 23—24. Ту же идею мы встречаем в «Parlamentarismus und Demokratie», выпущенной в том же году: «В современном большом государстве центр тяжести политической деятельности непременно должен лежать в его парламенте... Благодаря классовой борьбе у него (пролетариата.—И. А.) развивается ряд способностей, дающих ему возможность сделать из парламентаризма послушное орудие для достижения своих целей» («Parlamentarismus und Demokratie», 4 Auflage, 1922, стр. 122).

²⁾ «Die volkswirtschaftslehre der Gegenwart in Selbstdarstellungen», стр. 19.

³⁾ И. Альтер, Роза Люксембург в борьбе с ревизионизмом, изд. «Прибой», стр. 27—32.

⁴⁾ См. Ленин «Рецензия на книгу: Karl Kautsky, Bernstein und das Sozialdemokratische Programm. Eine Antikritik», — «Ленинский Сборник», VII, стр. 19—30.

⁵⁾ «Анти-Бернштейн», стр. 236—237.

Каутский считает, что «решение проблемы о диктатуре пролетариата мы можем совершенно спокойно предоставить будущему»¹⁾, и таким образом превращает свое ранее высказанное признание о том, что революция назрела, в пустую фразу.

Каутский повторяет свои старые толкования революции: «Со времени Лассалля социал-демократия старается выяснить разницу между революцией с вилами и граблями и социальной революцией и доказать, что принципиально она добивается только последней революции»²⁾. И дальше: «не только социальную, но даже политическую революцию не надо отождествлять с восстанием»³⁾. Поэтому он согласен с Берштейном, «что пролетариат в качестве политической-самостоятельной партии должен быть революционным не в полицейском смысле, а в политико-экономическом»⁴⁾. И, явно ндя на поводу за тем же Берштейном, он заявляет: «Я охотно соглашусь, что слово революция может ввести в заблуждение, я считаю также более удобным не употреблять его без настоятельной надобности»⁵⁾. Вот именно. Революция Каутского уже на этом этапе настолько обескровлена, что этот термин действительно «вводит в заблуждение» его читателей.

Каутскому «и в голову не приходит отрицать», что «демократия свойственно смягчать излишние обострения классовой борьбы»⁶⁾.

Каутский не в состоянии берштейновской тактике противопоставить что-либо путное. В главе о тактике он прямо признает, что в вопросах партийной практики, как, например, в вопросах кооперативного, профессионального, муниципального социализма и проч. «вопрос нет никаких разногласий»⁷⁾. Весь вопрос сводится к тому, можно ли этим реформистским путем добиться социалистического преобразования. Сопоставившись в вопросе о борьбе за реформы с Берштейном, Каутский тем самым санкционирует характерное для центризма раздвоение между теорией и практикой: «наш спор теоретический, в практических вопросах мы всегда сумеем договориться».

Еще в статье о Кнорре Каутский противопоставлял теорию, в которой он требовал строгой выдержанности, практике, в которой «чрезвычайно трудно удержать правильную меру, отдавая полную дань современности и не теряя с глаз будущего»⁸⁾, не сползая на позицию крестьянства и мелкой буржуазии и не сдавая пролетарских интересов. Сочетать реформу и революцию, их диалектически увязать, без крена в пользу чисто-реформистской работы, на это затруднение постоянно наталкивается Каутский в этом сочинении так же, как и в своей политической практике. Вспомните хотя бы его позицию год спустя на Парижском конгрессе по вопросу о Мильеране. При помощи отрыва социалистических принципов от практики он сумел там протаскать свою компромиссную каучуковую резолюцию. Решая практические вопросы, Каутский любил давать «хорошие» марксистски выдержанные советы, вносить прекрасные предложения «вообще», чтобы тут же от них отказаться «в частности». В этом, впрочем, и заключалась основная особенность центризма в отличие от левого радика-

¹⁾ «Анти-Берштейн», стр. 213.

²⁾ Там же, стр. 225.

³⁾ Там же, стр. 226.

⁴⁾ Там же, стр. 225.

⁵⁾ Там же, стр. 225.

⁶⁾ Там же, стр. 225.

⁷⁾ Там же, стр. 198.

⁸⁾ «Нее Цейт», XII, 1, стр. 410.

лизма. Левые всегда подчеркивали необходимость революционного понимания реформы и борьбу с ревизионизмом вели не столько в плоскости теоретической, сколько—практической.

Наконец в «Анти-Бернштейне» Каутский обнаружил серьезные колебания в вопросе об отношении между революцией и теорией крушения («Zusammenbruchstheorie») и об экономических предпосылках революции вообще. С одной стороны, он защищается от обвинения Бернштейна в том, что мы наступление социализма ждем от какого-то краха или одновременного удара. «Нельзя уяснить себе связь этих рассуждений (о наступлении мирового кризиса.—И. А.) с исследованием предпосылок социализма; напрасно ищешь ответа на вопрос, что собственно доказывается рассуждениями о том, что наступление мирового кризиса в ближайшем будущем не безусловно необходимо и что будущие кризисы, возможно, примут форму кризисов в отдельных отраслях промышленности и в отдельных странах. Их действие, обо-строяющее процесс развития капитализма, остается, ведь, неизменным.

Поэтому вопрос о кризисах можно спокойно выделить из исследуемых Бернштейном предпосылок социализма, и мы тем охотнее переходим к очередным делам, что сознаем громадные трудности этих вопросов»¹⁾. Свою теорию революции Каутский явно не хочет связывать с теорией крушения. Теорию крушения он готов сдать так же, как и раньше насильственную революцию, в архив по ведомству анархистов и бланкистов.

Но, с другой стороны, он чувствует, что это поставит его в противоречие со всем духом марксизма «Капитала». Он вынужден, поэтому, признать, что, благодаря теории кризисов «социализм из цели, которая, может быть, осуществится лет через 500, а может быть и совсем не осуществится, — становится осязательной и необходимой целью практической политики»²⁾.

Таким образом, в одном и том же разделе о кризисах мы встречаемся с вопиющим противоречием, возникающим в результате явного желания примирить революционное учение Маркса с бернштейновским курсом на мирную, кропотливую работу. Экономические противоречия капитализма растут,—вынужден марксист Каутский повторить за Марксом. Эти противоречия не имеют никакого отношения к революции,—заявляет он тут же, следуя за Бернштейном.

Парламентский путь завоевания власти есть путь политической революции, осуществляющейся независимо от растущих экономических противоречий. Этот путь наиболее желателен и симпатичен Каутскому. Но, с другой стороны, капиталистическая действительность со своими кризисами лезет в глаза и опровергает эту перспективу на чисто-политическую революцию так же, как это делает Маркс в «Капитале». Каутский мечется между одним лагерем и другим, желая угодить обоим.

В статьях того времени Каутский развивал теорию кризисов, исходя из противоречия между промышленностью и сельским хозяйством³⁾. Теория эта меньше всего способствовала обоснованию связи между растущими экономическими противоречиями и революцией.

¹⁾ «Анти-Бернштейн», стр. 169. Курсив наш.—И. А. См. также стр. 55—63.

²⁾ Там же, стр. 181.

³⁾ См. его статьи в «Нейе Цейт» в 1897—1901 гг.: «О старой и новой колониальной политике», «Киао-Чао», «Шинпель, Брентано и законопроект о флоте», «Торговая политика и социал-демократия».

Основное противоречие, как оно излагалось Каутским, разрешалось в рамках капиталистического строя, в худшем случае при помощи земельной реформы.

«Я думаю, что сумел показать, что границы, которые якобы полагаются расширению капитализма, суть лишь границы, возникающие при всяком способе производства в развитии промышленности в силу того, что она зависит от сельского хозяйства» ¹⁾. Так пишет об этом времени Каутский в своей последней работе по историческому материализму.

Империализм Каутский рассматривал, как испорченный капитализм, и его пришествие отнюдь не имело отношения к тезису о невозможности преждевременной революции.

Таким образом, и с этой стороны Каутский расчищал себе путь к чистенькой политической революции. «Уже три десятка лет назад,—пишет он дальше,—допускал я возможность..., что эта победа (социализма.—И. А.) раньше наступит, чем хронический кризис, на который я тогда рассчитывал. С тех пор капитализм перенес столь много кризисов, сумел приспособиться к столь многим новым, часто совершенно поразительным и неожиданным, требованиям, что сегодня, рассматривая его с точки зрения чисто экономической, он представляется мне значительно жизнеспособнее, чем полстолетие назад» ²⁾. И Каутский приходит затем к заключению, что социализм, которого он ожидает, придет независимо от экономического краха, от противоречия между производительными силами и производственными отношениями. «Капиталисты.—уверяет он нас,—становятся все сильнее в экономике, пролетарии.—в политике» ³⁾. Такова последняя мудрость «марксиста» Каутского. Корни ее мы находим еще в разбираемом нами произведении, поскольку здесь уже политика, революция изолируется от своих экономических предпосылок. С этой точки зрения следует также расценивать и уступки Каутского в теории обнищания. Его подмеха теории абсолютного обнищания теорией относительного обнищания плохо увязывалась с тезисом об обострении классовой борьбы при капитализме и открывала дорогу для сближения с Бернштейном. И сейчас, когда Каутский-марксист превратился в заурядного мелкобуржуазного социолога и политика, его теория обнищания преобразовалась в теорию «обогащения». «Не из борьбы против нищеты, но из борьбы за свободу и власть появится социализм»,—пишет Каутский в 1922 г. ⁴⁾.

А в его *Lebenswerk'e* мысль эта выражена еще циничнее и откровеннее: «Чем больше капиталистический способ производства цветет и развивается, тем лучше перспективы социалистического строя, вступающего на место капиталистического» ⁵⁾.

Отсюда уже прямой вывод, что путь к социализму ведет через укрепление капитализма ⁶⁾. Вот куда выросли скромные на вид и во

¹⁾ Die materialistische Geschichtsauffassung», II, стр. 623.

²⁾ Там же.

³⁾ Там же. стр. 578. «Переход от капитализма к социализму,—писал Каутский еще в 1916 г.,—может совершиться без экономического краха» («Национальное государство...», русск. изд. 1917 г., стр. 126).

⁴⁾ «Die proletarische Revolution und ihr Programm», 1922, стр. 51.

⁵⁾ Die materialistische Geschichtsauffassung», II, стр. 591. Курсив Каутского.

⁶⁾ «До сих пор,—пишет ученик Бернштейна Кампфмейер,—социал-демократы обычно стояли на той точке зрения, что поднятие производства нас, социал-демократов, не касается. Об этом будто бы беспокоится в значительно большей степени капиталистическое общество, которое с этой целью завоевывает с безудерж-

всяком случае замаскированные уступки, которые Каутский делал Бернштейну в 1899 году. Каутский отрывал теорию кризисов, теорию империализма и теорию обнищания от теории пролетарской революции. Это должно было его привести к разрыву между экономикой и политикой, к курсу на чистенькую, спокойненькую, безоблачную политическую революцию, и в конечном счете к смягчению, а потом и отрицанию основного закона исторического материализма о противоречии между производительными силами и производственными отношениями. Но подобное отрицание лежит в основе бернштейновской теории вращающихся, так же, как его признание,—в основе марксовой теории революции¹⁾.

Так «Анти-Бернштейн» Каутского то-и-дело превращался в «Около-Бернштейна», а рассуждения теоретика ревизионизма незаметно прилипали к теоретику и защитнику ортодоксального марксизма.

3. Левый этап.

Основной линией расхождения между ревизионизмом и центризмом было признание или непризнание революции, как неперемennого условия освобождения пролетариата. Но так как само понятие революции при ближайшем его рассмотрении теряло у Каутского всякую определенность и во всяком случае всякую революционную определенность, то это обстоятельство вынуждало его прибегать ко все новым и новым рассуждениям, объяснениям и дополнениям на эту тему.

К тому же, сама обстановка с начала двадцатого века требовала, во собственному признанию Каутского, постановки вопроса «о практической борьбе за политическую власть». Германия окончательно вступила в полосу «мировой политики», а весь мир—в полосу военных столкновений и политических осложнений. В Бельгии началось грандиозное забастовочное движение, перекинувшееся в другие страны (Швеция, Голландия) и выдвинувшее проблему всеобщей забастовки; в Англии начинается эра нового профессионального движения, и Рабочая партия впервые выступает самостоятельно на политическую сцену, в России надвигаются грозные тучи, явно предвещающие революцию, а даже в Соединенных Штатах имеется значительное оживление в рабочем движении.

В 1902 году Каутский был приглашен в Голландию, где прочел голландским студентам две лекции о революции, которые в форме двух брошюр, известных под названием «Социальная революция» и «На другой день после социальной революции», обошли весь социалистический мир.

Каутский вынужден признать, что наступила эпоха обостренной классовой борьбы, что это обострение связано с усиленной концентрацией капитала, с ростом милитаризма и налогов, с ростом эксплоатации, с развитием парламентаризма и либерализма. «Число депутатов в

законность все новые страны... Подобные представления нужно нам назвать, рабочий народ может лишь радоваться общему благополучию... Социал-демократия прилагает усилия не к одному лишь устранению капиталистических отношений, но она также действительно помогает восстановлению имущественного порядка через профсоюзы и товарищества». *Sozialistische Monatshefte*, September 1925, «Der Produktionsgedanke in der Sozialdemokratie».

¹⁾ Тот же Камифлорье еще в 1901 году в своей брошюре «Wohin steuert die ökonomische und politische Entwicklung Deutschlands» прямо заявлял, что новая эпоха отменяет марксов закон о противоречии между производительными силами и производственными отношениями.

парламентах действительно увеличивается, но в то же самое время падают буржуазная демократия... По мере того, как господствующие ныне при помощи парламента классы делаются ненужными и даже вредными, утрачивают свое значение и парламентская машина»¹). «Демократия необходима, как средство подготовки пролетариата к социальной революции, но она не в состоянии предотвратить этой революции». Каутский видит также, что реформа может в известных случаях укреплять господствующие классы, что революция приближается и что на этом фоне необходимо признать уже выдвинутые самой жизнью новые формы борьбы в виде политической стачки. Эти, как и ряд других идей против английских методов в рабочем движении и за русские методы, открывают целую полосу левых выступлений Каутского.

Особенно замечательна написанная в том же году статья Каутского «Славяне и революция», напечатанная в «Заре». Каутский предсказывает в ней переход гегемонии революционного движения к славянским народам, и, в частности, к России. Россию ожидает революция, при помощи которой Каутский надеется «вытравить тот дух дробного филлистства и трезвеного политиканства, который начинает распространяться в наших рядах, и заставить снова вспыхнуть ярким пламенем жажду борьбы и страстную преданность нашим великим идеалам». Его слова о России, как начинщики ближайшей революции, и о Западной Европе, как оплоте реакции, содержали прекрасное прочтение для целого периода истории.

Отнюдь не собираясь оспаривать революционного значения пропаганды Каутского в этот, как, впрочем, и в предыдущие периоды, мы снова постараемся показать, что и здесь далеко нельзя говорить о какой-либо последовательно-революционной линии. Остановимся лишь на вопросах о вооруженном восстании, о стачке, о войне, и об экспроприации²).

«Грядущая революция не будет похожа на старые: она сумеет использовать организованность и демократические формы пролетарских организаций. Мы не имеем никаких оснований предполагать, чтобы вооруженные восстания, битвы на баррикадах и тому подобные военные эпизоды могли еще и теперь играть решающую роль»³). Эти не новые для Каутского положения вызвали возражения польского социалиста Люсыни (Келлес-Краузе). Ответ Каутского Люсыне мы обсудим в дальнейшем.

Вопрос о стачке начал к тому времени приобретать уже международное значение. Вопрос о стачке был по существу в скрытой и зачаточной форме вопросом о путях пролетарской революции. Каутский признает, что «в великой борьбе будущего стачка суждено играть большую роль»⁴). Но здесь же у него начинаются оговорки, которыми он в дальнейшем сумеет убить и самую стачку, превратить ее, как и свою революцию, в пустую тень, в несбыточный миф.

¹) «Социальная революция», изд. ВЦИК, Москва 1918 г., стр. 48.

²) Мы не имеем возможности останавливаться на той чрезвычайно сложной постановке вопроса о революции в древности, которую дает Каутский в «Социальной революции». Укажем только, что в своей последней работе по историческому материализму он свои идеи на эту тему развивает дальше, и приводит к весьма ревизионистским выводам. См. «Die materialistische Geschichtsauffassung», II, стр. 618—620.

³) «Социальная революция», стр. 53.

⁴) Там же, стр. 54.

Каутский отвергает возможность «всеобщей стачки» в смысле прекращения работы в с е м и рабочими страны по данному сигналу». «Это,—говорит он,—предполагает с их стороны такое единодушие и такую организацию, которых едва ли когда можно будет достигнуть в современном обществе. А если бы удалось достигнуть такого единодушия и такой организации, то это была бы такая непобедимая сила, что рабочим незачем было бы и прибегать к всеобщей стачке. Далее, подобная стачка разом сделала бы невозможным не только существование теперешнего общества, но и существование людей вообще и при том существование пролетариев еще скорее, чем существование капиталистов. Следовательно, она неминуемо потерпела бы крах в тот самый момент, как только она начала бы оказывать свое революционное действие» ¹⁾.

Поставив нас перед такой безвыходной дилеммой и смертельно запугав нас ею, Каутский уже может притти к заключению, что всеобщая стачка по существу является лишь средством, «дополняющим и «усиливающим» другие более важные формы борьбы.

Так же двусмысленны и высказывания Каутского о войне и революции. С одной стороны, он признает, что война — революционный фактор. «Очень часто война выполняет ту задачу, которая оказалась бы по плечу рабочему классу... Нам необходимо считаться с возможностью войны в более или менее близком будущем, а следовательно, с возможностью таких политических потрясений, которые или прямо закончатся пролетарскими восстаниями, или, по крайней мере, расчистят дорогу для таковых» ²⁾. Но на следующей же странице мы узнаем, что «война является самым нерациональным средством для этой цели (революции.—И. А.). Она приносит с собой такие страшные опустошения, представляя такие огромные требования государству, что вытекающая из войны революция сильнее всего обременяется такими задачами, которые ей несвойственны и которые поглощают на время все ее средства и силы. Кроме того, революция, являющаяся результатом войны, служит признаком слабости революционного класса, а нередко и причиной дальнейшего обесценивания его, обесценивания как вследствие тех жертв, которыми она сопровождается, так и вследствие той моральной и интеллектуальной деградации, которая в большинстве случаев следует за войной... Итак, мы не имеем ни малейшего основания желать, чтобы наше движение вперед было искусственно ускорено войной» ³⁾. Путь от войны к революции Каутский решительно отвергает.

Вторая лекция посвящена проблемам переходной эпохи. Из громко звучащего раздела «Экспроприация экспроприаторов» мы узнаем, что «когда капиталисты убедятся, что на их долю выпадают только риск и тяготы, связанные с капиталистическим предприятием, тогда они первые откажутся от продолжения капиталистического производства и будут добиваться, чтобы у них выкупили эти предприятия, не доставляющие им больше никакой выгоды» ⁴⁾. Выкуп и здесь признается более вероятной формой экспроприации, чем конфискация. В крайнем случае, Каутский готов провести конфискацию в форме прогрессивного налога. Это «позволяет придать уничтожению собственности характер более или менее

¹⁾ «Социальная революция», стр. 55.

²⁾ Там же, стр. 58.

³⁾ Там же, стр. 59.

⁴⁾ «На другой день после социальной революции», Петроград 1917 г., стр. 17.

длительного процесса, который подвигается вперед по мере того, как крепнет и обнаруживает свое благотворное влияние новый порядок вещей» ¹⁾. Этим путем можно было бы растянуть операцию на десятки лет, и она «утрачивает, таким образом, свой резкий характер, становится более эластичной и менее болезненной» ²⁾.

Чем же этот прогрессивный налог, заменяющий конфискацию, будет отличаться от предложений Бернштейна в этой области — остается непонятным. Известно только, что Каутский всячески старается капиталистам подсластить пилюлю будущей экспроприации и уворить их в безболезненности и разумности этой операции. Как чистый утопист, классовые интересы капиталистов он надеется всецело подчинить высшему разуму, который будто бы двигает их поступками и должен, поэтому, привести их к добровольному подчинению себя и своих капиталов велениям социалистической власти.

Отвечая два года спустя Люсьне в статье «Революционные перспективы», Каутский высказывается по ряду вопросов еще откровеннее. «Борющийся пролетариат прекрасно развивается в политическом отношении при такой конституции, какая существует в германской империи. Уже нет ни малейшего основания желать насильственно изменить ее незаконными способами... Исключена возможность того, чтобы такой режим там, где массы мыслят социал-демократически, пошел к вооруженному восстанию народа» ³⁾. Итак, Каутский полностью удовлетворен имперской конституцией и провозглашает на ее основе законность во что бы то ни было. Его речь звучит здесь уже чисто обывательски.

Но что же делать пролетариату, если на него нападут? Единственное средство «насильственного сопротивления» со стороны пролетариата — это стачка. А если и стачка не поможет, то и в таком случае нечего отчаиваться. Дело нужно предоставить собственному ходу развития, далее благоразумию правительства и внешним событиям. Каутский надеется, что «сознание и наличие такой силы (пролетариата. — И. А.) может, при известных условиях, оказаться достаточным для того, чтобы побудить падающий класс к мирным переговорам с противником». Он рассчитывает далее на то, что сам капитализм не сможет обойтись без демократии, а значит и без социал-демократии. «Пролетариат в настоящее время настолько является защитником интересов будущего и даже современных насущных интересов всей нации, что правительство не может насильственно раздавить его, не давая и не парализуя всей жизни самой нации, то-есть не создавая такого положения вещей, который рано или поздно приведет к экономическому и политическому краху во время одного из тех кризисов, от которых не застраховано ни одно государство» ⁴⁾.

Здесь лучше, чем где-либо, вылезает наружу фаталистическая концепция революции и мелкобуржуазный взгляд на правительство. Здесь Каутский полностью расписывается в своей неумности перед лицом надвигающейся революции. Предоставляя решение вопроса благоразумию правительства и ходу внешних событий, он не забывает зато еще раз решительно отмежеваться от таких средств борьбы, как революционные восстания или пропаганда в армии. «И так как мы не намерены вести пропаганду в армии и возбуждать ее к непови-

¹⁾ «На другой день после социальной революции», стр. 23.

²⁾ Там же, стр. 23.

³⁾ «Революционные перспективы», изд. «Знание», 1907 г., стр. 32.

⁴⁾ Там же, стр. 33.

новению—а в настоящее время во всей германской социал-демократии никто об этом не думает,—то для нас вопрос о том, в какие формы может и должно отлиться это неповиновение, не нуждается в разборе, и, наоборот, если не для нашей тактики, то для нашей пропаганды и для нашего теоретического мышления уже теперь весьма важно не оставить никакой неясности насчет того, что от вооруженного восстания народа мы ничего не ожидаем и ни в коем случае не дадим себя провоцировать к этому»¹⁾. «Одержатъ верх над правительством посредством вооруженного сопротивления стало в настоящее время невозможным даже по отношению к самому слабому и самому безумному режиму, в виду современного вооружения»²⁾.

Но одно средство борьбы—всеобщая стачка— как будто сохраняется в руках пролетариата. Присмотримся еще раз к этой стачке и к шансам на победу через нее. Каковы предпосылки победоносной политической стачки?

1) Необходимо, чтобы пролетариат «составлял преобладающую часть населения».

2) Пролетариат должен пройти долгую школу политической и профессиональной борьбы, должен быть в достаточной степени интеллигентным и в большинстве своем настолько прочно организованным, чтобы не делать неразумных и поспешных шагов.

3) «Промышленность должна быть высоко развита». Эта идея развивается впоследствии в «Социализме и колониальной политике»: «Социалистический способ производства так же мало исходит от экономики отсталых стран, как и от экономически отсталых отраслей производства»³⁾.

4) Необходимо, чтобы правительство было достаточно слабо, ибо нельзя поколебать правительства, которое, как в Швейцарии, «избрано народом и опирается не на внешние орудия власти, могущие быть дезорганизованными стачкой, а на большинство самого народа»⁴⁾. Каутский поэтому ищет для удара правительство, «не пользующееся уже доверием ни собственников, ни даже самой бюрократии и армии»⁵⁾.

5) Стачка должна быть неожиданной, нельзя заранее назначать срок стачки.

6) «Чем больше массовая стачка приближается ко всеобщей генеральной стачке, тем более исчезают все экономические факторы, содействующие успеху рабочих. Последние окончательно их устраивает... Но в продолжении производства рабочие заинтересованы еще гораздо больше, чем капиталисты, ибо последние обладают не только средствами производства, но и значительными запасами средств потребления. Поэтому при всеобщей остановке производства капиталисты могут дольше выдержать, нежели рабочие; последние совершенно не в состоянии уморить голодом капита-

¹⁾ «Революционные перспективы», стр. 32. Как раз в этом же году К. Либкнехт возбудил тот вопрос, о котором, по мнению Каутского, «никто не думал», вопрос о пропаганде в армии.

²⁾ Там же, стр. 43.

³⁾ «Sozialismus und Kolonialpolitik», стр. 59.

⁴⁾ «Революционные перспективы», стр. 45.

⁵⁾ Там же, стр. 46.

листов»¹⁾. Каутский набрасывает здесь столь популярную впоследствии у с.-д. теорию непрерывности производственного процесса.

7) Наконец, сама задача политической стачки, как ее Каутский формулирует, состоит в замене баррикадной борьбы и «пассивным сопротивлением», чтобы, таким образом, парализовать действия правительства. Стачка и здесь не пролог к восстанию, а средство против восстания, или средство, заменяющее восстание.

При таких требованиях рассчитывать на всеобщую стачку, как средство революционной борьбы, особенно не приходится. Она предполагает сочетание таких сложных предпосылок, такую идеальную комбинацию условий, каких ни в одной стране, ни при какой политической обстановке никогда пролетариат не дожидается. Тем смешнее звучит грозное заявление, с которого Каутский начинает свою статью: «Социал-демократия настолько уже сильна, что ставит конкретно вопрос о «практической борьбе за политическую власть». На поверку же оказалось, что практическая борьба за власть превратилась в ряд доказательств о невозможности и безнадежности подобной борьбы.

Впрочем, более всего невозможность эту Каутский демонстрирует по отношению к Германии. Здесь и правительство оказывается самым сильным в мире, здесь и «лучшая армия и бюрократия», здесь и «миролюбивое», лишенное революционных традиций, население. К другим странам, особенно к России, Каутский более милостив. После России на очереди у него стоит Бельгия, а затем Соединенные Штаты Северной Америки. К тому же Каутский преисполнен надежды, что начавшиеся в других странах революции «могут отразиться в Германии таким образом, что здесь завоевание политической власти совершится без всякой катастрофы, мирным путем»²⁾.

Таков безопасный для Германии и для германской социал-демократии маршрут революции, начертанный Каутским. Он не лишен патристического пристрастия к собственной стране. Каутский готов из революцию, но... не у себя дома.

Не следует думать, что положения «Революционных перспектив» были для Каутского случайностью. «Изложенные там идеи,—писал он в 1914 г.,—представляют по сегодняшний день руководящую нить моего поведения в вопросе о всеобщей стачке. В этих рассуждениях ничего мне в основном менять, несмотря на весь новый опыт и на новые взгляды»³⁾.

Если «Революционные перспективы» были значительным шагом назад в сторону оппортунизма, в сравнении с «Социальной революцией», то последующие годы революционного подъема толкают Каутского снова на путь левых выводов. С 1905 по 1909 год Каутский находится под преобладающим влиянием левых и, главным образом, Розы Люксембург.

В дискуссии с французскими оппортунистами, в вопросе о русской революции и о всеобщей стачке, в вопросе о милитаризме, о войне, о колониальной политике, о национальном вопросе, об оценке наступающей эры революции Каутский идет впереди немецких социал-демократов⁴⁾. Особенно важны его выступления: по поводу русской револю-

¹⁾ «Революционные перспективы», стр. 35—36. Курсив наш.—И. А.

²⁾ Там же, стр. 53.

³⁾ «Die politische Massenstreik», Berlin, 1914, стр. 104.

⁴⁾ Впрочем, взгляды Каутского на всеобщую стачку и восстание в период 1905—1906 гг. страдали большой неустойчивостью. В резолюции Иенского партгага о стачке он не видел перехода к новой тактике. «Она (резолюция—И. А.) агит

ции, по вопросу о войне и колониальной политике и его брошюра «Путь к власти».

Из восьми статей, посвященных Каутским русским делам, особо выделяется брошюра о «Движущих силах и перспективах русской революции». Здесь, как известно, Каутский близко подходит к ленинской трактовке 1905 г. Он признает своеобразие русской революции, совершающейся «на границе буржуазного и социалистического общества», видит реакционность русского либерализма, понимает, что «в России нет прочного остова буржуазной демократии» и что «время буржуазных революций, т.е. революций, движущей силой которых являлась буржуазия, миновала также и для России». Этими движущими силами русской революции он считает пролетариат и крестьянство. Наконец, Каутский признает здесь также интернациональное значение русской революции, «дающей могучий толчок всему прогрессивному развитию стран капиталистической цивилизации». Русская революция, — пишет Каутский в 1905 г. в предисловии ко второму тому «Теории прибавочной ценности», — это грандиознейшее и величественнейшее увеличение марксовской практической деятельности¹⁾. Не менее известны выступления Каутского в Иене, Эссене и Штутгарте по поводу милитаризма, войны и колониальной политики и примыкающие к ним работы.

В эти критические переломные для германской социал-демократии годы Каутский противопоставит начавшемуся сползанию центра на оппортунистические рельсы. Он требует борьбы с милитаризмом, он критикует бебелевское противопоставление оборонительной и наступательной войны, он нападает на бебелевскую «социалистическую колониальную политику». Единственный верный критерий в вопросе о войне, — это — «интересы пролетариата, которые одновременно являются интернациональными интересами». «В случае войны, — говорит Каутский в Штутгарте, — для нас дело идет не о национальном, но об интернациональном вопросе, ибо война между великими державами станет мировой войной, она охватит всю Европу и вовсе не ограничится двумя странами... К счастью, это только недоразумение, будто германская социал-демократия в случае войны хочет руководиться не интернациональной, а национальной точкой зрения, будто она чувствует себя прежде всего немецкой, а уже во вторую очередь — пролетарской партией. Германские пролетарии солидарны с французскими пролетариями, а вовсе не с немецкими юнкерами и шарф-махерами»).

Развивая эти идеи в брошюре своей о «Патриотизме, войне и социал-демократии» (1907) Каутский приходит к убеждению, что «про-

не дальше включения массовой стачки в качестве одного из возможных орудий пролетариата» («Neue Zeit» XXIV, 1, стр. 9—10). Каутский тут же выражает удовлетворенность ограничениями и оговорками бебелевской формулировки. Если бы он (Бebel — И. А.) определенный взгляд об этом внес в резолюцию, то тем самым партия пошла бы по пути, взгляды на который еще очень расходятся и требуют разъяснений». Т. о. Каутский открывал себе путь к отступлению в Маннгейме. После подавления московского восстания Каутский высказывается за пересмотр взгляда Энгельса о невозможности вооруженного восстания. Московское восстание доказывает эту возможность («Die Aussichten der russischen Revolution», — «Vorwärts» 1906). В дальнейшем, в дискуссии со Штампфером, Каутский придерживался точки зрения бебелевского реферата в Маннгейме (см. «Der politische Massenstreik», стр. 171), хотя в самом Маннгейме занял, в вопросе об отношении между партией и профсоюзами значительно более левую, чем Бebel, позицию.

¹⁾ «Теория прибавочных ценностей», изд. Ком. ун-в. им. Зинovieва, 1923 г., стр. 8. Хорошо также изложены противоречия русской революции в «Письме к Обединительному съезду Р. С.-Д. Р. П.».

²⁾ Internationole Sozialisten-Kongress 1907, Berlin 1907.

летарнат капиталистических стран не должен заниматься буржуазными национальными задачами». Впрочем, в этот интернационализм подмешиваются у него и патристические нотки. «Вторжение враждебной армии,—пишет он,—означает столь невыразимую нищету для всей страны, что оно само собою зовет все население к защите, и никакой класс не сможет уклониться от этого могучего течения». Чувства интернациональной солидарности смягчаются здесь признанием некоторого пассивного патриотизма, патриотизма «поневоле». Такую же лезейку Каутский оставляет себе и в колониальном вопросе, когда отжжевывается от восстаний туземцев.

Наиболее революционным для всего этого периода и, пожалуй, во всей литературной деятельности Каутского был его «Путь к власти».

Здесь левые положения «Социальной революции» получают свое дальнейшее прекрасное развитие и оформление. «Путь к власти»—это на девять десятых программная работа левого радикализма. Эта брошюра Каутского,—говорит о ней Ленин,—должна служить мерилом для сравнения того, чем обещала быть германская социал-демократия перед империалистической войной и как низко она пала (в том числе и сам Каутский) при взрыве войны»¹).

Огромное большинство вопросов поставлено здесь безупречно. Общая установка брошюры—защита левых положений и борьба с оппортунизмом. Каутский горячо борется за право на революционное предсказание и высмеивает безмозглое рутинство, трезвость и практицизм реальных политиков, не видящих дальше своего носа. Он рвет со своей вчерашней осторожностью в вопросе о революции. «При всяком крупном движении и подъеме мы должны рассчитывать и на возможность поражения. Дурак тот, кто накануне предстоящей борьбы чувствует себя уверенным, что победа у него в кармане... Мы были бы жалкими людьми, даже прямыми изменниками своего дела и неспособными к какой бы то ни было борьбе, если бы заранее были уверены в неизбежности поражения, не считались с возможностью победы»²).

Особенно важно, что все эти перспективы Каутский увязывает с анализом действительного положения капитализма, в котором он видит все большее усиление классовых противоречий, ухудшение положения масс, приближение мировой войны, необычайный рост политической реакции. «Политика империализма,—говорит Каутский,—исходная точка начала крушения»³).

Не менее пикантны, в свете дальнейшего отступления Каутского, его положения об общем поправлении буржуазии и о единой буржуазной реакционной массе. «Коалиционная политика в таких условиях равносильна была бы для социал-демократии «моральному самоубийству»⁴).

И все же и здесь, в этом наиболее революционном из произведений Каутского, вылезает довольно явно оппортунистические уклонения: именно там и тогда, где и когда речь заходит о практической реализации этой описанной самим Каутским архиреволюционной ситуации. Путь и методы осуществления революции остаются на уровне статьи 1893 года, которая обильно для этой цели и цитируется. О прици-

¹) Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 388.

²) «Путь к власти», изд. «Волна», Москва 1918 г., стр. 66.

³) Там же, стр. 66.

⁴) Там же, стр. 78.

пильном выходе за парламентские методы для Западной Европы нет здесь ни слова. И здесь действие масс есть, в первую очередь, действие профессиональных союзов, действие, подобное парламентаризму. В этом пункте сохраняется прямая смычка и преемственность как с прежними, так и с последующими работами.

Однако в оправдание Каутского, автора «Пути к власти», необходимо все же сказать, что отмеченное здесь противоречие между правильной общей оценкой эпохи и чрезвычайной мизерностью практических лозунгов, характерно до известной степени также и для всего лагеря левого радикализма. Если левые прекрасно чувствовали и изображали (хотя неверно объясняли) империалистическую эпоху и связанные с нею революционные колебания почвы под ногами, то в области начертания конкретных путей и методов будущей революции они были довольно беспомощны. Идеологическая дифференциация с центристами не была еще к тому времени проведена достаточно четко и решительно. И в области тактики и в области теории государства и революции, и оценки переходного периода левые не имели еще единой цельной идеологии. Они находились лишь на полпути к большевизму и разделяли вместе с центристами ряд заблуждений и предрассудков. Правда, левые (не все) были подлинными пролетарскими революционерами и в качестве таковых сумели в дальнейшем освободиться от своих слабостей и ошибок. Но пока что эта субъективная сторона процесса не была еще достаточно ясна, и центристы сумели полностью использовать преимущества своего положения.

4. Превосходное отступление Каутского.

Полемической статьей «Что дальше?» («Was nun?»), направленной против Розы Люксембург, начинается новый этап развития Каутского. Каутский сразу становится стопроцентным защитником официальной линии Правления.

Что побудило его к такому решительному повороту вправо? Может быть, изменилась сама обстановка? Однако все факты говорят об обратном. Факты последних лет—это кризис 1907 г., «голодный пошлинный тариф», законопроект об охране государства, консервативно-либеральный блок Бюлова, сменившийся черно-голубым блоком консерваторов с попами, растущая волна патриотизма, на основе которой социал-демократы потерпели поражение на «готтентотских» выборах, растущие приготовления к войне, крепнущая власть реакционнейшего прусского ландтага, заслонявшего собой и оттиравшего на задний план рейхстаг. На этом фоне узел классовых противоречий все больше затягивается. Рабочие поднимаются и ищут выхода в массовой борьбе, в уличных демонстрациях, во всеобщей стачке. В это же время социал-демократические парламентарии ограничиваются обсуждением перспектив будущих выборов, подсчетом выборных бюллетеней и подготовкой министерских комбинаций.

Вопрос, как никогда раньше, ставится вплотную: империализм или социализм, с Правлением партии к оппортунизму или с левыми к революции. Каутский испугался тернистого пути против течения. Он сразу забыл все свои вчерашние революционные клятвы и стал адвокатом центра в тот именно момент, когда центр оформился как последовательно реформистское течение.

Три вопроса особенно ярко характеризуют отношение Каутского к революции в этот период: это вопросы о массовом движении и стачке, о государстве и об империализме ¹⁾.

Если в «Революционных перспективах» Каутский срывает стачку косвенно через пред'явление ей тысячи невыполнимых предварительных условий, то сейчас выступления его против стачки носят значительно более прямой и откровенный характер.

Прежде всего, Каутский считает своим долгом запутать вопрос о характере самой стачки. Для этого он выдумывает строгое разграничение между экономической и политической, оборонительной и наступательной стачкой и между организованным и неорганизованным движением ²⁾.

Будущая забастовка, если ей уже суждено вспыхнуть, должна быть строго политической и оборонительной. Экономическая забастовка, думает Каутский, при той железной дисциплине, какая господствует в больших государственных, городских и частных учреждениях, вообще невозможна, к тому же она бьет больше по рабочим, чем по капиталистам. Что же касается наступательной стратегии, то, начиная с Парижской Коммуны, она в силу новых условий была заменена стратегией на истощение.

Дальше, Каутский пытается ограничить стачку и во времени и в размерах. Он против увязки отдельных массовых стачек в единую общую стачку и против длительного «периода массовых стачек». Если стачка неизбежна, то пусть это будет, по крайней мере, «политическая» массовая забастовка, как одновременный акт ³⁾.

Представления Розы Люксембург и Паннекука о том, что революционный процесс в самом своем развитии обретает все большую силу, растет и подымается на все более высокие ступени, такое динамическое представление о революции Каутскому глубоко чуждо.

Нетрудно заметить, что дискуссия с левыми о стачке была не чем иным, как борьбой против русского революционного опыта, против методов революции 1905 года. Чтобы от них отгородиться, Каутский выдумывает еще одно разграничение между рабочим движением на Востоке и движением в Западной Европе. В Западной Европе, а, конечно, в первую очередь в Пруссии, имеются «особые условия». В Пруссии правительство, армия, бюрократия очень сильны. Кроме того, рабочий класс имеет здесь такие средства борьбы, какими русские рабочие не обладают. Вся эта апелляция к «конкретному» — обобщая уловка оппортунизма, желающего удрать от революционных закономерностей и обобщений. Это видно хотя бы по тому, что Каутский, для того чтобы спасти «особые, прусские, условия», вынужден отжигаться также и от опыта бельгийской всеобщей стачки.

¹⁾ См. особенно «Was nun» N. Z. 28,2; «Eine neue Strategie» 28,2; «Die Aktion der Masse» 2,30,1; «Die Neue Taktik» 30,2; «Krieg u. Frieden» 28,2; «Zum kommenden Parteitag» 30,2; «Noch Mal Abrüstung» 30,2; «Nachgedanken zu den nachdenklichen Betrachtungen» 31,2; «Der jüngste Radikalismus» 31,1 и др.

²⁾ Эти мы не хотим сказать, что нет различных форм забастовок. Известное разграничение делала и Р. Люксембург в своих статьях о «Бельгийском эксперименте» (См. «N. Z.», XX, 2, стр. 205 и сл.). Но, признавая различные типы стачек, мы не должны никогда забывать всей условности подобной классификации. Нет безусловных граней между различными формами стачек. Само деление опрокидывает все эти грани, превращая экономическую забастовку в политическую, оборонительную в наступательную и стихийное движение в сознательную борьбу за власть.

³⁾ «Eine neue Strategie», «N. Z.», XXVIII, 2, стр. 374.

Попутно Каутский русскую революцию изображает как «ак отчаяния (Verzweiflungsakt) илотов». Русские прибегают ко всяким средствам, так как им «нечего больше терять». Опыт русской революции, столь восторженно когда-то приветствовавший Каутский, теперь рассматривается, как «продукт отсталости движения». Он ни в коем случае не может быть предметом подражания. Поэтому то, «что с точки зрения бесформенной первобытной стачки революционной Россия может показаться излишним узко-педаanticеским различием, то для Западной Европы является условием всякой рационально руководимой забастовки»¹⁾.

Но «рациональная» забастовка Каутского есть не что иное, как чисто политическое, ограниченное в размерах, в пространстве и во времени движение. Главное в подобной кастрированной стачке—это забота, чтобы она не разразилась, не приняла слишком бурных, революционных, непредвиденных форм, чтобы она не перерасла в вопрос о низвержении правительства²⁾.

Но наиболее ярко ненависть Каутского к забастовке и к массовому движению вспыхивает, когда он начинает дискуссии об организованных и неорганизованных. Прогресс рабочего движения представляется Каутскому в виде все большего вытеснения движения неорганизованных масс. «Стачка неорганизованных масс «без плана и намерения» все больше исчезает»³⁾. Высмеивая взгляды Розы Л. на эту тему, Каутский пишет: «С одной стороны, массовая стачка не может быть организованной, она появляется сама собой. С другой стороны—она подготавливается лозунгами, выдвигаемыми партией. Сначала масса является источником и носителем всего движения, потом же оказывается, что снова массы ничего не в состоянии сделать, если им заранее не будут даны лозунги»⁴⁾. Сам Каутский противоречия между стихийным и организованным, в котором он уличает Розу, не разрешает. «Момент ее (стачки.—И. А.) появления,—признает он,—зависит не от нас»⁵⁾. Отсюда проповедь тактики скрещенных рук. Но, с другой стороны, «массовая стачка тогда лишь возможна будет, когда масса пролетариата поднимется как один человек»⁶⁾.

Стачка по Каутскому—стихийное явление. На этом основании он издается над Розой, считавшей вопрос о стачке сейчас особо актуальным: «Если бы стачка была актуальна, то об этом не надо было бы дискутировать»⁷⁾. С другой стороны, тот же Каутский мечтает о стачке организованных и всячески поносит стихию масс. Его поход против массового движения, против улицы имеет большое значение. Он означает теоретическое предвосхищение носкизма, он показывает, что бюрократическое перерождение партии иначиает уже теоретически оформляться.

В этом поношении стихии Каутский мало оригинален. Он использует аргументацию реакционных буржуазных социологов в роде Лебона и Сигеле. При их помощи Каутский излагает «законы» массовой психологии. «Чем более индивидуум видит, как кругом все воодушевлено одним желанием, тем более это массовое чувство влияет на него,

¹⁾ «Eine neue Strategie», «Нейе Цейт» XXVIII, 2, стр. 369.

²⁾ Там же, стр. 372.

³⁾ Там же, стр. 327.

⁴⁾ Там же, стр. 341.

⁵⁾ Там же, стр. 417.

⁶⁾ Там же, стр. 416.

⁷⁾ «Die Aktion der Masse», «Нейе Цейт» XXVIII, 2, стр. 417.

тем более теряет он самостоятельность собственной воли, тем более не только физически, но и морально овладевает им масса, даже если бы сам по себе, спокойно поразмыслив, он стремился бы к совершенно другим целям и поступкам» ¹⁾.

«Невежество и несознательность массы—это не случайность» ²⁾. Стихийное движение масс приводит к голому разрушению утешений. Массы не могут вести положительной работы. Они не могут дать правильной оценки власти и действуют под влиянием случайного возбуждения. «Там, где они становятся победителями, они выдвигают вверх в столь же степени реакционные элементы, как и революционные» ³⁾. Поэтому «массы могут, пожалуй, бороться, но, как массы, не могут законодательствовать или управлять государством» ⁴⁾. Действие неорганизованных масс Каутский сравнивает с армией, у которой уничтожение выражается исключительно в физических убийствах, опустошениях, поджогах» ⁵⁾.

Действие массы может быть в такой же степени реакционно, даже бессмысленно, как и может стать в известных условиях движущей силой общественного прогресса. Для иллюстрации своей идеи о реакционности масс Каутский ссылается на восстание 1878 года в Лондоне, «которое было голой оргией грабежей и пьянства, которому армии положила конец» ⁶⁾, на «высоко реакционное» движение в Испании 1808 г., на русские погромы, на американские линчевания негров и японцев и проч.

Все эти и подобные им характеристики массы, вернее толпы, довольно бесцеремонно взяты из рук буржуазных политиков. Каутский грубо рвет с марксизмом, не делая ни малейшей попытки применить классовый анализ к своим примерам. Таким-то образом движение рабочих масс против капитализма он сваливает в одну кучу с движением подкупленных царем наемных погромщиков или с возбужденной буржуазным шовинизмом толпой убийц в Америке. И этим-то путем Каутский пытается обесценить, принизить массовое движение.

Правда, и здесь он оставляет себе лазейку для отступления. И сейчас он готов рассуждать о стачке вообще, говорить о росте классовой противоречий и о росте массового движения, о взаимной поддержке организованных и неорганизованных и расточать ни к чему не обязывающие комплименты по адресу революционной России.

Но лишь только стачка из области научного диспута превращается в перспективу завтрашнего дня, Каутский становится на дыбы. Массы к стачке еще не готовы. Поэтому ближайшие выборы в рейхстаг—единственный способ действия. Теперешняя ситуация такова, пишет он в 1910 году,—что большая выборная победа может превратиться в «катастрофу для господствующей правительственной системы» ⁷⁾.

Эти прекрасные перспективы будут испорчены лишь в одном случае: если мы проявим нетерпимость. И, наконец, стоит ли обо всем

¹⁾ «Die Aktion der Masse», «N. Z.», XXX, 1, стр. 49.

²⁾ Там же, стр. 78.

³⁾ Там же, стр. 81.

⁴⁾ Там же, стр. 81.

⁵⁾ Там же, стр. 79.

⁶⁾ Там же, стр. 81.

⁷⁾ «Eine neue Strategie», «Neue Zeit», XXVIII, 2, стр. 420.

этом спорить. «Ведь последние десятилетия выборная борьба стала наиболее могущественным классовым действием пролетариата» ¹⁾).

Поэтому надо бросить всякие новые стратегические и тактические плазы и сохранить старую испытанную тактику на укрепление наших организаций, на завоевание новых позиций в обществе и государстве, на просвещение масс. «О том же, чего нельзя предвидеть, об этом можно лишь размышлять, но не сочинять наперед тактические лозунги» ²⁾).

Этот же вопрос обсуждается Каутским в полемике с Паниекуком в 1912 году. Нужно признать, что Каутский ловко использует все те неясности, которые имелись у левых радикалов по вопросу о стихийном и сознательном. Если Каутский отвергал стихийное, «слепой инстинкт» в пользу сознательного, организованного, то левые перегибали палку в другую сторону, идеализируя революционный инстинкт масс. При ошибках с двух сторон неизмеримо большие ошибки все же были на стороне Каутского, ибо спор шел по существу о том—революционер или пролетариат, является ли массовое движение последним критерием борьбы, или таким критерием нужно признать оторвавшийся от массового движения партийный аппарат и его «сознательных» руководителей. Если при этом Паниекук умалывал роль организации или изображал её слишком отвлеченно, то Каутский зато силу и сохранность организации полностью отождествлял с силой и успехами революционного движения. Паниекук при этом, пусть в неправильной форме, правильно предвосхищал направление движения, возможность временного разгрома организации, который не будет означать еще разгрома самого движения. Каутский же выступает здесь как истый идеолог обюрократившегося руководства, для которого сохранение партийной организации, сохранение чиновников у власти стоит выше всяких принципов. У него не организация подчинена принципам, а, наоборот, принципы, теория пишутся для того, чтобы оправдать всякий шаг Правления.

В полемике с Паниекуком в неясной еще форме шел спор о возможности измисы со стороны аппарата интересам пролетариата, о возможности разрыва со старой партией, о неизбежности в известный момент перехода к нелегальной организации.

Паниекук недооценивал силу оппортунистических инстинктов, воспитываемых, взращиваемых, укрепляемых ревизионистами и, таким образом, упрощал перспективу будущей борьбы и готовил себе неожиданные разочарования. Каутский зато видел только этот оппортунизм масс, только с ним считался, брал курс только на него. Отсюда расчетливый, крохоборческий, мелкий реализм его, лишенный всякой веры в революцию, столь недавно еще им самим осмеянный в «Пути к власти». Этот реализм позволяет Каутскому не только предсказать события 4 августа, но и соответственно к ним «подготовиться». Предвидя уже в 1912 году возможность массового шовинизма в начале войны, Каутский считает, что с этим нельзя будет ничего поделать. С надвигающейся войной нельзя бороться.

Наконец, в этой же полемике с Паниекуком Каутский дает наиболее четкие свои формулировки о государстве. Здесь он окончательно клеймит как анархизм всякие поползновения на разрушение государства. Наша задача—это завоевание государства, а не разрушение, как хотят анархисты. Разговор может идти только об «известной

1

¹⁾ «Die Aktion der Masse», «Нееце Цейт», I, стр. 112—113.

²⁾ Там же, стр. 117.

передвижке отношений сил внутри государственной власти»¹). «Главнейшей политической борьбы остается при этом та же самая: захват государственной власти через завоевание большинства в парламенте и возвышение парламента до господина правительства. Но не разрушение государственной власти»²). При этом «Каутский,—как пишет Ленин,—обнаруживает «суеверное почтение» к министерствам»³), которые он хочет сохранить и после переворота, так же, как и старое деление на законодательную, судебную и исполнительную власть.

Каутский не только здесь совершенно игнорирует уроки Парижской Коммуны и проявляет полное непонимание идеи Маркса о государстве — коммуне, но он делает уже явный шаг в сторону сохранения государственного аппарата и после победы социализма.

Раньше революционное массовое движение подмечено было у Каутского партийным аппаратом и заботами о его «сохранности» во что бы то ни стало⁴). Теперь пролетарская диктатура представляется им лишь в виде смены одного правительства другим, в виде передвижки небольшого слоя бюрократов. Революция снизу подмечивается им «революцией» сверху, борьба классов передвижкой лиц в правительстве. Даже лозунг республики, выдвинутый в то время Розой Люксембург, кажется ему слишком революционным, несвоевременным, неуместным.

Мы не имеем возможности остановиться здесь на других работах Каутского за этот период. Его предвыборные статьи в «Форвертс» в 1912 году, также, как и экономические и политические работы, напечатанные в эти годы в «Нейе Цейт», важны, однако, для нашей темы в одном отношении. Здесь Каутский хочет обосновать теоретически свой поворот вправо. Он пытается дать социально-экономическое обоснование централизма.

Оно состоит, во-первых, в новом анализе классовых сил Германии. Поворот свободомыслящих накануне выборов 1912 года к «Новому Правлению и его теоретик Каутский расценивают как начало эры «нового либерализма». Поэтому они идут на предвыборные блоки со свободомыслящими и меняют свои старые принципы. Далее Каутский значительно видоизменяет также свои взгляды на империализм. И в прежних своих работах, начиная с 1898 г., Каутский империализм в значительной степени расценивал, как испорченный капитализм, как некое извращенное образование, не связанное необходимыми узами с историческим развитием капитализма. Но это утопически-отрицательное отношение к империализму сочеталось у него с признанием большинства явлений, его сопровождающих. Каутский понимал тогда, что империализм несет с собой рабство и эксплуатацию, и что борьба с ним означает борьбу за социализм. Теперь же в дискуссии с Радеком и Лениным революционно-утопический элемент взглядов Каутского на империализм превращается в реакционно-утопический. Он надеется на «переход к более дешевому и менее опасному методу экспансии», чем насилие. «Насильственность,—полагает он,—ни в какой мере не составляет необходимого условия экономического прогресса», а поэтому можно надеяться, что буржуазия будет

¹) «Die Neue Taktik», «Нейе Цейт» XXX, 2, стр. 727.

²) Там же, стр. 732.

³) Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 391.

⁴) «Отдельному рабочему нечего больше терять,—писал Каутский в 1911 г.—чем его цена, иначе, однако, дело обстоит с его организацией» («Parlamentarismus und Demokratie», 4 Auflage, 1922, стр. 8).

действовать мирными путями. Буржуазия в большинстве своем заинтересована в мирных методах экспансии. На почве этого ее пацифизм возможен с ней блок социал-демократии. Апеллируя к «длительным интересам» буржуазного общества, Каутский надеется переиграть буржуазию на стороне пацифизма и лозунги разоружения. Капитализм имеет еще широкое поле применения, поэтому ультиматум левых: империализм или социализм надо решительно отбросить. И тут же Каутский набрасывает первые контуры своей теории сверхимпериализма. Однако теория сверхимпериализма означает не что иное, как решительный отказ от социалистической революции, как цели ближайшего периода. Она означает признание жизнеспособности и прогрессивности капитализма и требование длительного с ним сотрудничества.

Таким образом, сползание центра вправо в эти четыре предвоенные годы получает свое «теоретическое» оформление. Угрозу войны Каутский пытается устранить при помощи пацифистских фраз и утопии о саморазоружении буржуазии. Перспективу надвигающейся революции он хочет убить при помощи специально для этого испеченной теории сверхимпериализма. Защиту блока с буржуазными партиями он ведет на основе наспех выдуманной теории «нового либерализма». Массовое движение он хочет скомпрометировать при помощи никчемных теорий о реакционной стихии и при помощи изолирования рабочего движения в Пруссии от опыта революционного движения в других странах и особенно от русского революционного опыта. Если левый Каутский 1905 года приветствовал революцию в России как событие международного значения, то Каутский последних лет перед войной рассматривал эту революцию и применяемые в ней методы, как свидетельство отсталости и неразвитости и самой страны и ее рабочего движения.

Так, один за другим свертываются все левые лозунги «Пути к власти». На место трезвого учета растущих опасностей преподносится рабочим ряд выдуманных теорий. На место подготовки пролетариата к войне и к неминуемому следующим за ней революционным боям, его сознание отравляется лживыми успокоительными фразами в духе казенного оптимизма, в духе того «официозного» марксизма, который так блестяще разоблачила Роза Люксембург.

5. Итоги.

Путь Каутского к оппортунизму был сложен и замаскирован. После революции 1905 года Каутский колебался между центризмом и левым радикализмом, то-и-дело развивая положения последнего. И все же изложениями нами картина его взглядов на революцию оказывается далеко не приглядной. Но если взять такого типичного централиста, как Бебель, его высказывания за тот же период времени о насильственной революции, о парламентаризме, о демократии, о всеобщей стачке, о государстве, о войне и колониальной политике, о защите отечества и проч., то здесь дело обстоит еще печальнее.

Бебель высказывался значительно более непосредственно и прямо, чем Каутский. В вопросах защиты отечества, оборонительной и наступательной войны и колониальной политики он, как известно, начал сдавать довольно рано. Не менее колеблющимися и невыдержанными были его взгляды на государство. Напомним, хотя бы, выступление Бебеля в Бреславле (1895 г.), где он ратовал, вместе с В. Либкнехтом,

за расширение «цивилизаторских» функций буржуазного государства. «Мы даже должны вынуждать государство брать на себя все более и более цивилизаторские функции: таким путем мы разрушим в конце концов все основы, на которых оно покоится... Мнение, что не следует укреплять власть государства, возлагая на него цивилизаторские функции, есть манчестерство: наша партия должна бороться с собой эту манчестерскую шелуху»¹⁾. А в Гамбурге (1897) Бебель высказывается за «развитие государства путем реформ».

Бебель же первый начал отступление по вопросу о всеобщей стачке о взаимоотношении партии с профсоюзами, об отношении к революционной России. Что касается вопроса о насильственной революции, то на этот счет взгляды Бебеля были тоже значительно решительнее, чем Каутского.

На студенческом собрании в Берлине 17 декабря 1897 года он говорил: «Нам бросают в лицо целый ряд обвинений: во-первых—что мы желаем насильственной революции. Я не стану отрицать, что было время, когда мы об этом думали, но уже десять лет тому назад я сказал в немецком рейхстаге, что насильственная революция совсем не нужна». А пару лет спустя в своей речи в Бамберге (1902 год) по поводу центра, он заявил: «Не разрушений мы жаждем, а только преобразований»²⁾.

Те же мотивы встречаем мы в его речи, посвященной Бернштейну в Ганновере: «Если сторонники буржуазного общества так глупы, что думают, будто мы желаем произвести насильственную революцию и пробить своими черепами стену, то мы, право, не ответственны за их глупость... Не революционеры создают революции, во все времена их создают реакционеры»³⁾. И в этом вопросе Бебель не спорит с Бернштейном: «До известной степени мы все оппортунисты. Никто не захочет завтра же вскочить на баррикады. Спор идет о размере того, что мы можем достигнуть, и об этом мы всегда будем спорить. Бебель признает пользу различных мнений, и единственное, что он требует от члена партии, это: «общие основные воззрения на буржуазное общество—с одной стороны, на социалистическое—с другой»⁴⁾.

Для центриста Бебеля характерно и полное умалчивание о проблемах переходного периода, и необычайная мягкость и терпимость в вопросах тактики. Бебель любил много писать о социалистическом обществе будущего. Его резкие нападки на современное ему буржуазное общество и его представителей вызывают неизменный восторг аудитории. Но меньше всего вы услышите от него что-либо конкретное о путях и средствах социалистического переворота. На Иеиском партийном Бебель так и говорит:—«Для нас, социал-демократов, понятие революционный определяется не средствами, а целями»⁵⁾. Таким образом, вопрос о средствах борьбы, о тактике остается открытым. На этой почве и происходит сближение Бебеля с оппортунистами.

¹⁾ Protokoll über die Verhandlungen der S.-d. Partei Deutschlands, abgehalten zu Breslau, Berlin 1895, стр. 119.

²⁾ «Грехи центра».

³⁾ Protokoll über die Verhandlungen der S.-d. Partei Deutschlands, abgehalten zu Hannover, Berlin 1898, стр. 121.

⁴⁾ Protokoll über die Verhandlungen der S.-d. Partei Deutschlands, abgehalten zu Hannover, Berlin 1898, стр. 58—59.

⁵⁾ Это—парафраза мысли, высказанной В. Либкнехтом на Эрфуртском партийном в 1891 г.: «Сущность революционности лежит не в средствах, а в цели» (Protokoll über die Verhandlungen der S.-d. Partei Deutschlands, abgehalten zu Erfurt, Berlin 1891, стр. 206).

Этими несколькими замечаниями о Бебеле мы ограничимся. Мы их привели лишь для того, чтобы с тем большим правом взгляды Каутского на революцию считать типичными для довоенного централизма.

За 24 года, протекших со времени отмены закона против социал-листов, Каутский прошел три основных этапа в развитии своих взглядов на проблему революции.

1) В 90-е годы он пытался в соответствии с надеждами, появившимися в партии после отмены закона, оформить социал-демократическую тактику, как тактику мирных парламентских побед, ведущую через большинство в парламенте и через ненасильственную революцию к социализму.

Вынужденный дискуссией с Бернштейном более подробно развить свое отношение к проблемам революции, он, зацикливаясь марксистскую теорию, лавирует в вопросах тактики и по ряду пунктов защищает положения, сближающие его с Бернштейном.

2) Первое десятилетие двадцатого века, остро выдвинувшее все проблемы империализма, толкает Каутского влево, заставляет его признать новые методы борьбы и начать усиленную разработку целого ряда проблем, непосредственно затрагивающих захват власти и установление социалистического строя. Этот наиболее левый период в развитии Каутского отличается вместе с тем особой сложностью, запутанностью и противоречивостью отдельных постановок. Здесь причудливо переплетаются глубоко революционные взгляды со старым курсом на демократию, парламентаризм и законность. Амплитуда колебаний здесь особо велика. (Достаточно сравнить, хотя бы, «Революционные перспективы» с «Путем к власти»).

3) В последние четыре наиболее ответственные предвоенные годы двадцатилетние колебания Каутского начинают окончательно определяться в сторону оппортунизма. Каутский свертывает основные тезисы своего «Пути к власти», весь огонь своей критики направляет налево и пытается подвести теоретический базис под оппортунистическую тактику Правления.

В общей оценке теории революции Каутского никогда не следует терять из виду этой конкретной истории его взглядов, также как и той конкретной обстановки и тех условий, в которых создавались те или иные из его произведений. Однако эта сугубая историчность в оценке не должна лишить его права выделить из всего комплекса его высказываний несколько основных пунктов, повторяющихся на всем протяжении этого периода.

1. Основным, исходным положением его теорий была мера в буржуазную демократию и в парламентаризм. Эта мера приводила его к неправильным выводам о методах борьбы за власть и о характере переходной эпохи. Эта же мера была мостиком, сближавшим оппортунистов и центристов в их совместной борьбе за реформы. И если Каутский, порой, замечал, что, по мере роста классовых противоречий, буржуазная демократия все больше суживается, то все же из этого факта он не делал никаких ни теоретических, ни практических выводов.

2. Отличительной чертой всей эпохи после крушения Парижской Коммуны было по-Каутскому завоевание рабочим классом демократии. Отсюда он делал вывод о том, что и предстоящая социалистическая революция будет существенно отличаться от революции буржуаз-

ной. Буржуазная революция действовала методами насилия. Социалистическая же революция, по всей вероятности, сможет осуществиться более мирным, спокойным, менее драматическим путем. Вообще, Каутский или совершенно отделяет насилие, как форму революции, от ее социального содержания, или же произвольно насилие приписывает одной лишь буржуазной революции. В социалистической же революции насилие необязательно, нежелательно, мало правдоподобно. И единственный раз, когда Каутский раз'ясняет понятие диктатуры пролетариата (в «Пути к власти»), он под ней подразумевает лишь единовластие пролетариата, и ничего больше. В общей оценке новой эпохи и роли насилия в революции Каутский в основном смыкается с ревизионизмом.

Пролетариат завоеует власть не благодаря насилию над буржуазией, а благодаря растущей своей силе, перед которой должен будет добровольно преклониться его классовый враг. Здесь нетрудно угадать в незрелом виде будущую теорию О. Бауэра, который проводит различие между социальными факторами силы и средствами материального насилия (см. его *Bolschevismus oder Sozialdemokratie*, 1920).

III. Вера в демократию приводит не только к вере в мирный путь захвата власти, но также и к курсу на мирную «экспроприацию экспроприаторов». Поэтому Каутский склоняется к выкупу и даже прогрессивному налогу, как наиболее вероятным и предпочтительным перед конфискацией формам экспроприации капитала.

Буржуазия Каутского, добровольно склонившая свою голову перед пролетариатом, в момент захвата власти и на следующий день после захвата, поймет безвыходность своего положения, невыгодность продолжения капиталистического хозяйства в новых политических условиях и добровольно ему подчинится. Таким образом, и схемы Каутского выпадает самая трудная и драматическая эпоха борьбы двух миров, эпоха переходного периода. Марксизм или диктатуры подменяется им идеей демократического сближения и сращения классов уже на следующий день после завоевания власти.

IV. Путь демократии есть путь завоевания власти мирными парламентскими средствами. Поэтому ни о каком разрушении старой государственной машины речи быть не может. Каутский отвергает уроки Парижской Коммуны, установленные Марксом, как в вопросе о насильственном утверждении нового строя, так и в вопросе о новом типе государства-коммуны, построенного на развалинах старого. Вместо этого захват власти он представляет себе как «передвижку соотношения сил в государстве», как смену правительственной верхушки, при сохранении всех старых учреждений и старого деления на законодательную, исполнительную и судебную власть.

Такой взгляд извращает марксовы идеи о сугубо классовой сущности государства и открывает дорогу будущим ревизионистским теориям о государстве, как учреждении, устанавливающем равновесие классовых сил (О. Бауэр) и о вечном надклассовом государстве (Реннер—Кунов).

Первая сумма вопросов, по которым идет ревизия марксовой теории революции, касается демократии и насилия, вторая — предпосылок и характера самой революции. И здесь «демократические» предсудки определяют все основные идеи Каутского.

V. Перспективы завоевания государственной власти Каутский связал с демократическими средствами проведения политической «парламентской» революции. Это волей-неволей вынуждает его

отвлекаться от экономических предпосылок революции. Главной предпосылкой и основной причиной социалистической революции является по Марксу противоречие между производительными силами и производственными отношениями, напоминающее о себе кризисами, войнами и проч. Каутский формально признает основной закон исторического материализма и марксову теорию кризисов. Однако он не склонен судьбы революции слишком тесно с ними связывать. Марксизм, по мнению Каутского, никогда победу социализма не ставил в зависимость от теории крушения. Под видом борьбы с механическим представлением о теории крушения, Каутский фактически свою теорию революции от нее освобождал. Подменив марксову теорию кризисов теорией аграрных приращков, Каутский закрыл себе путь к экономическому объяснению растущих в эпоху империализма классовых противоречий. С этим связаны также произведенное им смягчение марксовской теории обнищания. Не растущие усиливающиеся кризисы, не растущее обнищание рабочих, а рост политического влияния приближает их к власти. Поэтому также Каутский пытается строго изолировать всеобщую политическую стачку от экономической, соглашаясь лишь на первую. Каутский смертельно боится экономического крушения старого строя, перерыва хоть на одну минуту производственного процесса, всяких возможных издержек революции. Во всех этих вопросах он прямой и непосредственный предшественник современных ренегатов от социализма.

VI. Допуская, начиная с 1902 года, всеобщую политическую стачку, Каутский, однако, успех ее обставлял такими условиями, значение ее ограничивал такими рамками, что сводил ее на-нет.

Рабочий класс должен быть высоко организованным и сознательным, он должен иметь большинство в стране, правительство должно быть слабо и непопулярно. Свой тезис о непрерывности производственного процесса, как обязательной предпосылке всякого революционного движения, Каутский формулирует еще в «Революционных перспективах». Этой непрерывностью он обосновывает требование чисто политической стачки.

Сама стачка играет роль подсобную к парламентаризму и признана заменить собой восстание.

Концепция Каутского о предпосылках всеобщей стачки, которые можно рассматривать и как предпосылки революции, «облегчала» ему также решение вопроса о маршруте революции. Германия, при всех его предсказаниях, счастливо избегает революционной участи. Каутский то и дело скатывается на империалистическую точку зрения, избегая проблемы международной социалистической революции.

VII. Революция представлялась Каутскому в виде стихии, падающей на голову партии, в виде катастрофы, ни предвидеть, ни руководить которой нельзя. «Она (революция.—И. А.) была,—пишет Каутский в своей автобиографии,—по моему марксистскому убеждению, стихийным событием (Elementarerreigniss), пришествие которого можно было так же мало ускорить, как и отстрочить»¹⁾. Поэтому вопросы о подготовке и делании революции, о революции как искусстве, о союзниках пролетариата в революции, о связи между революцией в империалистических странах с колониальной революцией,—все эти вопросы не могут его интересовать. Поэтому уроки Маркса из революции 1848 года, особенно выпукло изложенные им во втором обращении к Союзу Коммунистов, Каутский замалчивает и игнорирует.

¹⁾ «Die Volkswirtschaftslehre der Gegenwart in Selbstdarstellungen», стр. 22.

Поэтому он не понимает марксової теории перманентной революции. Поэтому он не замечает, что революция идет по восходящей линии, что она есть высшая школа массового движения, неизмеримо быстрого развертывания и осознания классовых противоречий.

Страх Каутского перед революцией как стихией означает не что иное, как страх перед массовым движением, перед улицей, перехватывающей у бюрократических вождей инициативу борьбы, отталкивающей их от руководства. Этот страх растет, по мере бюрократизации партийного аппарата и по мере ограничения партийной деятельности одними парламентскими и профсоюзными методами борьбы. Революция масс, революции неорганизованных Каутский противопоставляет революцию организованных, революцию сверху, революцию как единовременный, возможно более короткий акт. Таковы качества и особенности пролетарской революции в отличие от революции буржуазной. Революция, как синтез стихийного и сознательного, как стихийный взрыв масс, руководимый партией, для понимания Каутского совершенно недоступна. Но если революции нельзя предвидеть и подготовить, если ею нельзя руководить, то остается ожидать ее со сложенными руками, надеясь на саму историю. Поэтому центристы, отказываясь от разрешения проблемы организованных и неорганизованных, стихийного и сознательного, неизбежно впадают в пассивность и фатализм. Поэтому также всякую подготовку революции, всякое революционное руководство массовым движением они отождествляют с бланкизмом, синдикализмом, путшизмом, анархизмом. В борьбе с анархизмом и бакунизмом центристы всегда действуют единым фронтом с ревизионистами.

Итак, в основе всех построений Каутского о пролетарской революции лежит идея демократии, которую он противопоставляет и теории насильственной революции и диктатуры, рассчитывая на «парламентскую» революцию, на революцию «сверху», во-вторых, его отрицание революции как искусства и, в третьих, «учение» о политической революции, которую он незаметно отрывает от идеи социально-экономической революции. В этих трех радикальных вопросах Каутский резюмирует марксово учение о революции.

Марксова теория пролетарской революции опирается, с одной стороны, на законы, установленные им в теории исторического материализма и, с другой стороны, на опыт Великой Французской революции, чартистского движения, революции 1848 года и Парижской Коммуны. Великая Французская революция, чартизм и Парижская Коммуна дали ему идею диктатуры и идею государственной коммуны, революции 1848 года дали ему основные принципы революционной тактики. Теория же исторического материализма обосновала неизбежность революции, как результата обостряющихся противоречий между производительными силами и производственными отношениями.

Если рассматривать теорию революции Маркса и Энгельса с точки зрения 3 вышеизложенных вопросов, то картина получается как раз обратная тому, что мы находим у Каутского.

1) Маркс и Энгельс не смешивают буржуазную демократию с пролетарской, у них нет абсолютного противопоставления демократии и диктатуры. Буржуазная демократия prepares, расширяет путь к диктатуре как неизбежной форме господства пролетариата в переходную к социализму эпоху. В то же время у Маркса и у Энгельса можно найти не мало мест, из которых ясно видно, что они никогда не создавали себе иллюзии насчет демократии, как ор-

для борьбы за власть, что они ее не фетишизировали, что они допускали и предполагали, что в известные исторические моменты сама демократия становится величайшим препятствием на пути к победе. Понятие диктатуры пролетариата стоит в центре марксовой теории, отсюда правильная оценка насилия, вооруженного восстания, бланкизма и пр.

2) Всякая революция есть стихийное движение масс. Но эта стихия должна сочетаться с сознательным руководством. Стихийное движение масс и искусство делания революции есть две необходимые стороны единого процесса пролетарской революции.

Руководство революцией должно превращать всякую революцию в перманентную, т.е. стремиться поднимать ее на все более высокую ступень, не самоограничиваясь, разворачивая до возможных пределов энергию масс, но и не перескакивая через необходимые исторические этапы. Революция становится, по мнению Маркса и Энгельса, величайшей школой воспитания классовых чувств, классового самопожертвования и классового героизма, величайшим рычагом массового творчества и организации.

3) Революция рождается из растущих экономических противоречий, из растущего обнищания масс, из растущей классовой борьбы. Революция—это, в первую очередь, насильственная экспроприация экспроприаторов. Нигде у Маркса не найдете веры в возможность чистейшего, обособленного, политического переворота. Наоборот, во всех своих предсказаниях и Маркс и Энгельс всегда, в первую очередь, революцию связывали с будущими экономическими кризисами.

Ленин, на основе опыта революции XX века и анализа империалистической эпохи, эти принципы дальше разработал и дал гениальную, всестороннюю теорию пролетарской революции.

Он показал действительную связь между буржуазной и пролетарской революцией, показал, как первая перерастает во вторую. Он поставил на недосягаемую высоту учение о движущих силах революции.

Он теоретически и практически разрешил вопрос о роли партии в революции, о связи между организационной структурой партии и ее задачами в революции.

Он дал новое экономическое обоснование теории революции при помощи теории империализма. Если Маркс дал в «Капитале» и своем историческом материализме общее обоснование революции, то Ленин своей теорией империализма конкретизировал его специально для нашей эпохи. Без правильной оценки империализма и всех сопутствующих ему явлений не может быть при нынешних условиях правильной теории революции.

Все социально-политические категории современности Ленин рассмотрел под углом зрения интересов революции. В трех русских революциях он практически разрешил выдвинутое Марксом положение о перманентной революции. При помощи оружия правильно выдвигаемых лозунгов и правильной оценки ситуации он практически показал, что такое искусство революции, как надо сочетать стихийность масс с руководством партии.

Конечно, о такой развернутой теории революции не может быть речи не только у Каутского, но и у Розы Люксембург и у левых радикалов. Если, в свою очередь, мы рассмотрим их взгляды с точки зрения уже двукратно рассмотренных трех проблем, то мы получим следующую картину:

1) *Левые* радикалы, в отличие от центристов и Каутского, не фетишизировали понятия демократии, хотя и обнаруживали в этом вопросе как во время дискуссии с Бернштейном, так и позже немало колебаний (особенно в вопросе об отношении к насилию, к бланкизму, к вооруженному восстанию и др.). Но их незабываемой заслугой является выдвинутое Паннекуком требование разрушения буржуазного государства на место центристского, так называемого «захвата» власти¹⁾.

2) *Левые* радикалы, в отличие от центристов и Каутского, в общем поняли и приняли стихийность революции и связь, существующую между стихийным и сознательным, между неорганизованным и организованным движением. *Левые* радикалы стали восторженными поклонниками стихийного разума масс в революции. В этом главная заслуга их деятельности, если принять во внимание ту обстановку бюрократического страха перед массовым движением, которая господствовала в партии. Но в этом подчеркивании стихийного *левого* перегибали палку и недооценивали роль подготовки революции, роль партии в революции.

3) И в вопросе о связи между экономической и политической стороной революции *левые* были значительно ближе к Марксу, чем Каутский. Их огромной заслугой является правильная оценка общей ситуации в Германии и общая правильная оценка империализма, как последнего этапа капитализма. Этим дан был отпор реакционным каутскианским построениям о сверхимпериализме. Но вместе с тем *левые* не сумели дать правильного теоретического объяснения империализма.

Но, главное, *левые*, при всех их ошибках, прежде всего обусловленных отсутствием практического революционного опыта, были действительными борцами за пролетарскую революцию, а, следовательно, единственными преемниками революционного марксизма в Германии.

Таково отношение Каутского к Марксу, Ленину и *левым* радикалам. Каково же его отношение к Бернштейну? Бернштейн вообще не подымает вопроса о революции. Революция ему не нужна, ибо социализм ежечасно строится уже в недрах капитализма, и рабочий класс мерно и спокойно завоевывает власть, принимая участие в парламентаризме, в кооперативном, профсоюзном, муниципальном строительстве.

Бернштейн не признает классовой борьбы и революцию, Каутский их признает. Он вынужден к этому обостряющимися условиями капиталистического режима.

Но между классовой борьбой и революцией, также как и между революцией и диктатурой пролетариата, у Каутского нет необходимой увязки. Поэтому сама революция принимает у него все более абстрактный, лишенный признаков всякой жизненности, книжный, замученный, академизированный вид. К тому же противоречие между ревизионистами и центристами в вопросе о реформе, в тактических вопросах, в вопросах партийной практики все больше стирается. Различие между реформой, отвоевываемой революционными методами, и реформой, выторговываемой у господствующих классов, между реформой, рассматриваемой как самоцель, и реформой, рассматриваемой с точки зрения общих программных положений социал-демократии, с точки зрения социалистической революции, постепенно тоже исче-

¹⁾ Pannekoek, Massenaction und Revolution, «Neue Zeit». 30.2

зает. Поэтому и всеобщая стачка, т.е. та конкретная форма, которая в Германии служила переходным к революции лозунгом, выступает у Каутского в совершенно кастрированном виде.

Каутский ведет осторожное, умелое, «ученное» разоблачение массового движения. Каутский—мастер превращать всякое живое понятие в формально-логическое, мастер формализации, схематизации процесса революции. Даже признав, что в ближайшее время революция неизбежна, Каутский умудряется неизбежность эту превратить в пустое слово. Революция—пусть! Но пусть она совершится без баррикад, и без насилий и без кровопролитий, и без остановки фабрик, и без улицы, и без армии! Каутский предвосхищал поведение германских социал-демократов в ноябрьской революции 1918 г. до последней мелочи.

История его теоретических злоключений на эту тему постепенно превращается в историю чрезвычайно разнообразных и тонких отказов от революции то в форме прямого бегства, то в форме словесного лишь приятия ее. «Завоевание власти,—пишет о Каутском Ленин,—представлялось так, что оставалась тысяча лазеек оппортунизму».

Таким-то путем, противоречие между реформой и революцией, с таким шумом провозглашенное в начале дискуссии с Бернштейном, как демаркационная линия между ревизионистами и ортодоксами, подрывается Каутским одновременно с двух концов: и в понимании самой реформы, отрываемой от революционных целей, и в понимании революции, принимающей все более призрачные очертания. «Весь социализм,—пишет Каутский еще в 1912 г.,—может быть осуществлен только в форме проведения единичных требований... И социальная революция может быть только ускорением процесса осуществления единичных требований пролетариата»¹⁾.

Разрыв между реформой и революцией принимает у центристов форму разрыва между теорией и практикой. В этом важнейшая методологическая особенность центризма, чрезвычайно затрудняющая процесс его разоблачения. «Каутский,—говорит Ленин,—наибольший авторитет II Интернационала, представляет из себя в высшей степени типичный и яркий пример того, как словесное признание марксизма привело на деле к превращению его в «струвизм» или в «брентанизм»²⁾. Наиболее законченной формой разрыва между теорией и практикой является теоретический хвостизм, подчинение теории оппортунистической практике, сочинение и конструирование теорий, чтобы оправдать оппортунистические ошибки Правления».

Однако центризм находится не только под влиянием бернштейнианства, но и нарождающегося одновременно с ним левого радикализма. Левые наследуют на Каутского требование признания зрелости социалистической революции, призывами к всеобщей стачке, к развязыванию массовой революционной энергии, к активной борьбе с империализмом. Каутский больше чем кто-либо из центристов эти левые влияния отражает. Таким образом, его теория революции должна быть равнодействующей этих двух течений. Будучи по существу оппортунистической, она по форме нередко близко подходит к левому радикализму. Отсюда—противоречивость всех постановок Каутского.

¹⁾ «Nochmals Abrüstung», «N. Z.», XXX, 2, стр. 846.

²⁾ Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 104.

С одной стороны—«вопрос о диктатуре» можно свободно отложить, с другой стороны—революция не может быть уже преждевременной и социал-демократии не запугаешь проблемой власти. С одной стороны—классовые противоречия и классовая борьба усиливается, с другой стороны—методы борьбы смягчаются. С одной стороны—демократия расчищает путь для развития классовых противоречий, с другой стороны—демократия эти противоречия смягчает. С одной стороны—всеобщая стачка объявляется новым важнейшим оружием борьбы, с другой стороны—она признается лишь как средство, подсобное парламентаризму. С одной стороны—война ускоряет революцию, с другой стороны—революция, возникающая из войны, слаба и незрела. С одной стороны—признается империалистическая действительность со всеми сопутствующими ей жестокостями, с другой стороны—действительность эта вдруг забывается и строится идиллия демократической эпохи с широкими пацифистскими и либерально-демократическими возможностями. С одной стороны—теория кризисов Маркса признается предпосылкой революции, с другой стороны—революция изолируется от всякой теории крушения. С одной стороны—декларируется интернациональная солидарность классовых интересов, с другой стороны—приоткрываются двери для социал-национализма и патриотизма.

Каждое положение у Каутского поставлено и так и этак. Ничего он окончательно не отрицает. ни наступления революции, ни уличной демонстрации, ни всеобщей стачки, ни падения значения парламентаризма. Но он также ничего окончательно не утверждает. Во всех своих левых высказываниях он оставляет правую зацепку и в своих оппортунистических сползаниях он бросает левые фразы. Всегда он старается сохранить две возможности, чтобы лавировать, крутить, пнуть карты. Поэтому он также в состоянии всегда, даже при наиболее правом повороте, сохранить преемственность своих взглядов, что весьма импонирует его неискушенному читателю.

Эта незуитская двойственность и видимая преемственность линии своеобразна для методологии центризма. Левые долгое время видели в Каутском своего человека. Правые не очень его боялись, чувствуют массу уступок, скрывавшихся в его революционных теориях. Левые не замечали оппортунистических слабостей Каутского, умело переплетавшихся у него с революционными взглядами, или же надеялись на выпрямление линии под влиянием событий. Правые рассматривали его взгляды, как некую революционную фразеологию, полезную для целей агитации, для подогревания высокого настроения рабочих, для вербовки новых членов, но отнюдь не мешающую правому курсу на практике.

Зигзагообразные колебания центризма, отражающие давление справа и слева, таков его путь в нормальное время. Но в решающие моменты, когда события требуют ясного и недвусмысленного ответа, когда они припирают центристов к стенке, центризм, как таковой, теряет свою «особую» точку зрения и вынужден переходить налево или направо. Так было с Каутским в 1898 году, в 1905 году, в 1910 году. Когда дело дошло до решающей размежки, Каутский окончательно определил себя как беспринципный центрист. Его старые левые высказывания приобрели, в силу этого, качество левых фраз, обманывавших пролетариат.

Центризм не имеет своей внутренней логики, своей особой тактики. Его логика есть логика внешних событий, внешних точек

Эти-то толчки и направляют его, и они-то проверяют и разоблачают его двойственную живую сущность.

Как центризм обособивает свои повороты? Поворотом внешних событий. Центристы цеполяют гибкостью своих взглядов, умением будто бы приспособиться к изменчивой обстановке. По существу же их повороты есть субъективные, а не объективно обусловленные повороты. Неустойчивость и изменчивость взглядов прикрывается неустойчивостью и изменчивостью внешней обстановки.

Таким образом, диалектика центризма есть не что иное, как софистика, как ловкая казуистика. Для того, чтобы обособить свой решительный поворот вправо в 1910 году, Каутский вынужден прикрываться выдуманным им самим изменением классовых отношений. Он вынужден выдумать новый либерализм, буржуазный пацифизм, всевластие парламента, сверхимпериализм. Идеологическая гибкость центризма превращается в эклектизм и полную теоретическую беспринципность.

Наконец, центристы—фаталисты. Фатализм центризма есть выражение его нежелания перейти на путь активной революционной борьбы, на путь новой тактики и стратегии, его привязанности к мирной, бюрократически спокойной, верхушечной работе, которую он ведет. Фатализм центристов есть выражение бюрократического остоения, утери способности исторического действия и исторического предвидения.

Таковы четыре основных принципа центристской методологии, которые нам удалось подметить уже в довоенной теории революции Каутского: 1) разрыв между теорией и практикой и теоретический хвостизм, 2) эклектическая двойственность высказываний и отсюда зинмая преемственность взглядов, 3) софистическая гибкость взглядов и прикрывание субъективных шатаний объективной переменной обстановки и 4) фаталистическое отношение к ходу исторического развития.

Война и послевоенная эпоха революции дали Каутскому широкую возможность развить и «углубить» оппортунистические элементы его теории. Именно развить, ибо выдумывать заново почти что ничего не приходилось.

Его нынешняя пляска вокруг демократии: демократия как надклассовая и надгосударственная категория, как метод изживания классовых противоречий, как специфическое орудие пролетариата, как панацея от всех зол буржуазного государства; его защита коалиционного правительства во что бы то ни стало; утеря им марксистской ориентировки в вопросе о классовом характере буржуазного государства и безгосударственном характере социалистического общества, его защита непрерывности производственного процесса во что бы то ни стало; его подмена теории обнищания теорией «обогащения»; его идеалистическая, культурная революция вместо революции масс; наконец, его контрреволюционные белогвардейские выпады против Советской России—все это в зародыше имеется уже у довоенного Каутского.





О первоначальном накоплении¹⁾.

(К вопросу о методологической постановке проблемы первоначального капиталистического накопления).

В. Позняков.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

В своей первой статье²⁾ мы поставили вопрос о первоначальном накоплении капитала и пришли к тому выводу, что сущность этого процесса вовсе не сводится к накоплению материального богатства или материального субстрата капитала,—с каковой постановкой приходится, и довольно часто, встречаться,—при чем создание первоначальных кадров продавцов рабочей силы рассматривается при этом как вполне самостоятельный процесс, хотя и протекающий параллельно с первым. Иногда даже оба эти процесса разрываются в территориально: первое действие переносится во вновь открытые страны и в колонии, второе же действие берется на родине нарождающегося капитализма, преимущественно в Англии. Прежде всего, эти оба процесса являются по существу лишь одним и тем же процессом или, точнее, двумя его сторонами. И если уж говорить о центре тяжести, то он, как мы указывали, лежит именно во втором направлении. Решающий момент, определяющий весь смысл и все содержание процесса первоначального накопления капитала, заключается в экспроприации непосредственных производителей, собственников средств производства; при чем эти экспроприированные у них средства производства, концентрируясь в руках у экспроприировавших их, и начинают противостоять этим экспроприированным как чуждая им сила, превращаются в капитал. Следовательно, дело тут не в накоплении известной материальной кучи богатства, превращающейся в капитал; более того, эти материальные богатства имелись уже и раньше до этого в руках прежних независимых производителей; они могли находиться также и в виде золота или серебра в тех или иных вновь открытых заморских странах, в том же государстве инков и т. д. Однако исторически имевший в то же время место грабеж колоний и даже целых континентов (Африка и торговля неграми) только ускорял совершающийся процесс, но не он определял существо или социальный смысл всего процесса. Правда, и здесь мы встречаемся с взаимодействием; ведь период первоначального накопления капитала, как господствующая форма, — все же есть более или менее длительный процесс. В течение него экспроприаторы естественно были заинтересованы также и в том, чтобы то, что подлежало экспроприации, елико возможно возрастало. Отсюда ряд мероприятий, хотя бы в тех же колониях: введение, напр., рабства, т.-е. превращение туземцев в рабов,

¹⁾ Статья дискуссионная. Ред.

²⁾ См. «Под Знаменем Марксизма» № 9, 1927 г.

соответствующая финансовая или торговая политика и т. п. всякого рода насильственные мероприятия.

Итак, повторим еще раз вывод, сделанный нами в прошлой статье: сущность первоначального капиталистического накопления — это «определенный социальный процесс экспроприации самостоятельных производителей, «отделение» от них мелкой собственности и концентрация ее в руках противостоящего им нарождающегося класса капиталистов»¹⁾.

Первоначальное капиталистическое накопление было предисторией капиталистического накопления, т. е. накопления и капитализации прибавочной ценности, иначе воспроизводства и накопления капиталистических производственных отношений на базе самого капиталистического способа производства. С этой точки зрения говорят, — и говорят вполне правильно, — об эпохе первоначального накопления, в которой процессы первого рода играли преобладающую роль.

Однако, если мы возьмем реально существующий капитализм, включающий в себя и влечущий за собой ряд остатков и обломков предшествующих экономических формаций, если мы дальше учтем то или иное громадное по своим размерам некапиталистическое окружение, которое Р. Люксембург называет внешним рынком в экономическом смысле слова, то мы должны прийти к тому выводу, что в действительности эта эпоха первоначального накопления исторически остается не замкнутой. Реально капитализм растет не только вглубь, не только за счет своих собственных внутренних сил; он растет также и вширь, за счет продолжающейся эксплуатации и экспроприации данного некапиталистического окружения.

Действительный процесс капиталистического накопления состоит из двух частей: из собственно накопления капитала, или капитализации (прибавочной ценности) и из продолжающегося в течение всего времени развития капитализма первоначального накопления за счет «третьих лиц». Первоначальное накопление капитала есть поэтому постоянно сопутствующий момент накопления, капитала вообще; его агентами выступают преимущественно торговый и ростовщический капитал; точнее, по отношению к «третьим лицам» капитал обращается своим торговым и ссудно-ростовщическим лицом²⁾.

Развитая нами точка зрения принимается не всеми; так, т. Бухарин возражает против такого распространения понятия первоначального капиталистического накопления. «Нам кажется совершенно неправильным, — пишет он, — переносить «предисторию капитализма» на его историю, да еще притом на всю его историю»³⁾.

«Эти соображения, по-нашему, — продолжает т. Бухарин, — глубоко неправильны. Здесь упускается главное: то, что, по Марксу, так называемое первоначальное накопление» есть «не результат, а исходный пункт» капиталистического развития. Поэтому было бы бессмысленным подводить, напр., современный империализм, поскольку он направлен против «третьих лиц» и служит орудием их «пожирания» и «экспроприации», под рубрику «первоначального накопления». Что-либо одно из двух: либо период первоначального накопления берется именно как «предистория», и тогда он строго ограни-

¹⁾ См. указанн. статью, стр. 87—88.

²⁾ Здесь попутно следует еще отметить, что в этом отношении крупнейшую роль играет и политика буржуазного государства.

³⁾ Н. И. Бухарин, К вопросу о закономерностях переходного периода, изд. Моск. Рабоч., стр. 60.

чен во времени; либо мы видим в нем процесс вытеснения «третьих лиц» вообще²⁾ и тогда нужно ликвидировать само понятие, ибо оно ничего особого, специфического и т.д. в таком случае не выражает»¹⁾.

Иными словами, «первоначальное накопление капитала» есть лишь историческая предпосылка капитализма, и в качестве таковой является такой же исторической предпосылкой и для теоретической экономики, но оно не может быть ее объектом³⁾).

С этими положениями мы ни в коем случае согласиться не можем; прежде всего, первоначальное накопление капитала имеет свое вполне определенное социальное содержание—это есть экспроприация непосредственных производителей. Нельзя при этом упускать также из виду, что здесь на первом плане речь идет о самостоятельных товаропроизводителях; ибо капитализм падает не с неба, а в силу имманентных законов растет из простых товарных отношений. Превращение простого товарного общества в общество капиталистическое знаменует собой в то же время скачок внутри буржуазного общества вообще; скачок этот сводится к отрицанию собственности, основанной на собственном труде производителя.

И именно здесь приходится делать логическое ударение, говоря о первоначальном накоплении капитала; прямой грабеж колоний, где отсутствуют еще товарные отношения, принципиально стоит на втором плане; лишь в сочетании с первым процессом он составляет один из моментов первоначального накопления капитала; вне же этого сочетания—он просто грабеж и может характеризовать самые различные общественные отношения. Но отсюда вытекает и то, что «первоначальное накопление капитала» есть в то же время выражение (и вещное выражение) определенных общественных отношений; с этой точки зрения это понятие становится определенной экономической категорией, а не только простым историческим фактом.

А раз так, то, во-первых, он становится объектом и теоретического анализа политической экономии; он должен явиться им еще и потому, что вообще предмет политической экономии — это закон возникновения, развития и уничтожения (т.е. закон движения) капиталистического общества. Первоначальное же капиталистическое накопление только и означает превращение простого товарного общества в общество капиталистическое, т.е. возникновение капитализма. Во-вторых, отсюда вытекает и то, что если мы и в развитии, но реально существующем, а не в абстрактном капиталистическом обществе встречаемся с такими же общественными отношениями, то тем самым оправдано и распространение этого понятия (или категории) и на всю историю капитализма. С первоначальным же накоплением капитала мы встречаемся и в эпоху монополистического³⁾ капитализма, поскольку и здесь мы имеем те же социальные отношения.

Правда, не эти моменты играют здесь главенствующую роль, как они определяют физиономию ни просто развитого, ни монополистического капитализма. Ошибка же некоторых экономистов сводится к тому, что они весь империализм сводят к этому, может быть и вильному, но, однако, все же второстепенному моменту—продолжающему первоначальному накоплению капитала.

¹⁾ Там же, стр. 60—61.

²⁾ Там же, стр. 66.

³⁾ Автор предпочитает этот термин В. Ленина вместо обычного—финансовый капитал.

Повторяем, такое расширительное толкование первоначального накопления нам кажется вполне правомерным. Конечно, оно предоставляет предисторию капитализма: но все дело в том, что в действительности в различных областях и точках земного шара эта предистория все время начинается с нуля. Капитализм развивается не только глубоко, но и в ширь.

Первоначальное социалистическое накопление как социальная революция.

1.

Собственно говоря, наши предыдущие рассуждения дают нам все необходимое для того, чтобы дать ответ на поставленный нами вопрос. Предварительно, однако, еще раз повторим, что своей задачей мы ставим исключительно теоретическую постановку данного вопроса, при чем нас интересует здесь, главным образом, его методологическая сторона. Ибо правильно его поставить—это значит на три четверти уже разрешить его. Поэтому все вопросы экономической политики мы сознательно элиминируем из хода наших рассуждений; там же, где придется касаться их, мы и их будем брать в наиболее общем виде, в их абстрактно-теоретическом разрезе.

Итак, можно ли говорить о первоначальном социалистическом накоплении? Можно ли, более того, констатировать особый «закон первоначального социалистического накопления»?—Эти вопросы особенно резко были поставлены в «Новой экономике» Е. А. Преображенским. К критическому разбору построений Е. Преображенского мы обратимся ниже, пока же установим свою точку зрения в данном отношении. Нам думается, что на оба эти вопроса нужно ответить поодиночке. Не только можно, но и нужно говорить о первоначальном социалистическом накоплении; а если можно говорить об этом первоначальном накоплении, следовательно, можно, пожалуй, говорить и о законе такого первоначального социалистического накопления. Но еще большей настоятельной необходимостью и безусловным требованием является их марксистская трактовка. Если поэтому мы формально и выражаем свою солидарность с Е. Преображенским в том отношении, что считаем вообще правомерным постановку этих проблем, то в то же время в вопросе о характере самой постановки вопроса мы занимаем принципиально отличную позицию. И эту принципиально отличную позицию мы вынуждены занять именно потому, что обеими руками подписываемся под общеметодологическими соображениями Е. Преображенского, данными им во введении к главе о законе ценности в советском хозяйстве ¹⁾. Мы особенно выражаем свое полное согласие с Е. Преображенским, когда он пишет: «90% всех ошибок, непонимания и мозговых мучений при изучении Маркса происходит у нашей молодежи от натуралистического понимания закона ценности» ²⁾.

Пока попутно заметим, что в основе «закона первоначального социалистического накопления», сконструированного Е. Преображенским как раз и лежат такое на все 100% натуралистическое толкование данной экономической категории. Вместе с тем, для него первоначальное социалистическое накопление сводится исключительно к накоплению неких материальных вещей, некоторой массы средств про-

¹⁾ См. стр. 127 и след. «Новой экономики».

²⁾ Е. Преображенский, Новая экономика, М. 1926, стр. 129.

изводства, подобно тому как, с точки зрения того же Е. Преображенского, первоначальное накопление капитала точно так же целиком сводится к накоплению тех же материальных вещей, и вся разница сводится к субъекту этого накопления. Что субъекты здесь различны — в одном случае нарождающийся класс капиталистов, в другом народившееся пролетарское государство — это бесспорная истина, но это различие влечет за собой и более глубокое различие.

В самом деле. Мы установили, что процесс первоначального капиталистического накопления сводится к первоначальному накоплению, т.е. первоначальному созданию капиталистических производственных отношений. Маркс в данном случае говорит об экспроприации самостоятельных производителей. Одновременно это будет и процессом поляризации: с одной стороны, экспропрированные производители должны выступить в качестве продавцов единственного оставшегося у них товара — их рабочих рук, или рабочей силы, а, с другой стороны, экспропрированные у них средства производства, концентрируясь, превращаются в капитал. На другом полюсе, таким образом, конституируется класс капиталистов. И весь смысл, все социальное содержание этого процесса и сводится к этой классовой поляризации и экспроприации непосредственных производителей.

В этом отношении между первоначальным капиталистическим накоплением и первоначальным социалистическим накоплением можно провести полный параллелизм. Более того, здесь мы имеем совершенно аналогичные явления, можно даже сказать, тождественные явления, но одновременно и противоположные в своей тождественности. Мы указывали уже раньше, что с проведением такой параллели мы встречаемся и у Маркса; и это вполне понятная вещь, если не сводить сущность этих процессов к методам первоначального накопления. Первоначальное накопление — и капиталистическое, и социалистическое — есть первоначальное создание определенных общественных отношений; в случае первоначального социалистического накопления — первоначальное создание социалистических по типу производственных отношений. Но к чему же сводится процесс их создания? — к экспроприации экспроприаторов; оно и является тем отрицанием отрицания, о котором говорит Маркс в конце 24 главы I тома «Капитала». Чрезвычайно при этом любопытно, и в то же время также и характерно, что вопрос о первоначальном социалистическом накоплении или экспроприации экспроприаторов, или социальной революции — а мы все эти понятия считаем простыми синонимами, — ставится Марксом в той же главе, которая ex professo трактует вопрос о первоначальном накоплении капитала. Этому вопросу посвящен там почти классический параграф об исторических тенденциях капиталистического накопления. «К чему же сводится первоначальное накопление капитала, т.е. его исторический генезис? — так начинает Маркс этот параграф. — Поскольку этот генезис не представляет непосредственного превращения рабов и крепостных в наемных рабочих, т.е. простой перемены форм зависимости, он означает только экспроприацию непосредственного производителя, разложение частной собственности, основанной на собственном труде»¹⁾.

«Частная собственность, как противоположность общественной, коллективной собственности, существует только там, где орудия труда

¹⁾ К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 550.

и внешние условия труда принадлежат частным лицам. Но сообразно тому, являются ли эти частные лица рабочими или не рабочими, и частная собственность носит различный характер». Однако это различие ее характера проявляется в знаменательном процессе исторического развития.

«Частная собственность рабочего на средства производства составляет основание мелкого производства, мелкое же производство является необходимым условием развития общественного производства и свободной индивидуальности самого рабочего». Эта частная собственность получает притом «классическую форму» там, где ее субъект является «свободным частным собственником своих условий труда, которые он сам пускает в ход». Она служит там, для этого собственника—мелкого производителя — можно прибавить, гарантией против всякой возможности эксплуатации его труда; однако в то же время она обуславливает лишь «узкие рамки» производства и общества. Но «на известной ступени своего развития» этот способ производства, основанный на свободной индивидуальной частной собственности, сам порождает материальные средства своего уничтожения.

«Но уничтожение, превращение индивидуальных и разрозненных средств производства в концентрированные и общественные, т.-е. мелкой собственности многих в крупную собственность немногих, отнятие средств существования и орудий труда у народных масс, эта ужасная и трудная экспроприация народной массы составляет доисторический период в жизни капитала»¹⁾.

Но этот «капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистического способа производства, и, стало быть, капиталистическая частная собственность, есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде». Однако, продолжает свою мысль Маркс, «капиталистическое производство создает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание» (стр. 551). Экспроприация непосредственных производителей сменяется иным видом экспроприации, при которой начинают экспроприоваться уже сами экспроприаторы. Капитал, т.-е. капиталистические общественные отношения, родясь, начинается их «нормальное» накопление и, как другая сторона этого накопления, пожирание одних экспроприаторов—более мелких—другими—более крупными экспроприаторами; это является лишь другим названием для процесса концентрации и централизации капитала. Начинается отрицание отрицания, но сперва это капиталистическое отрицание, т.-е. такое отрицание, которое в то же время снова и снова воспроизводит этот процесс, причем все в больших и больших масштабах, на все более и более широкой базе без того, однако, чтобы совершить решающее, окончательное отрицание. Но этот процесс имеет и другую сторону; чтобы осветить ее, приведем здесь поистине классическое место из Маркса:

«Эта экспроприация совершается в силу действия имманентных законов самого капиталистического производства, посредством централизации капиталов. Один капиталист изгоняет многих. Рука об руку с этой централизацией или экспроприацией многих капиталистов многими, все в больших и больших размерах развиваются кооперативная форма процесса труда, сознательное техническое приложение науки, планомерная эксплуатация земли, превращение орудий труда в такие, которые могут быть прилагаемы только сообща... Вместе с постоянным уменьшением числа капиталистов-магнатов, которые

¹⁾ Там же, стр. 550.

узурпируют и монополизируют все выгоды этого преобразовательного процесса, увеличивается масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но, с другой стороны, увеличивается также и сопротивление постоянно возрастающего рабочего класса, вышколенного, объединенного и организованного механизмом самого капиталистического способа производства. Монополия капитала превращается в пути для дальнейшего развития того способа производства, который развился вместе с нею и под ее господством. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такой точки, на которой они становятся несовместимыми с своей капиталистической оболочкой. Она разрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторы экспроприируются¹⁾.

Происходит социальная революция; вместе с тем совершается первоначальное социалистическое накопление, т.е. первоначальное создание социалистических общественных отношений. И если первый процесс—первоначальное накопление капитала—представлял из себя «процесс несравненно более продолжительный, тяжелый и трудный», то этот процесс социальной революции совершается одним разом; ибо здесь дело идет об экспроприации лишь немногих узурпаторов; общественный характер производства уже создан самим развитием капиталистического способа производства; речь здесь идет лишь о превращении капиталистической собственности в собственность общества²⁾.

Но это превращение капиталистической собственности в общественность общественную и исчерпывает все понятие «первоначальное социалистическое накопление»; «на другой день» после социальной революции начинается уже процесс социалистического воспроизводства, притом расширенного воспроизводства.

Конечно, процесс этого превращения влечет за собой целый ряд издержек революции,—вопрос, который очень хорошо выяснен т. Бухариным в его «Экономике переходного периода». Поэтому весьма вероятно, даже пожалуй неизбежно, что это расширенное социалистическое воспроизводство начинается на более узком базисе по сравнению с таковым до революции; однако это относится лишь к другой, количественной стороне вопроса; принципиально же здесь во всяком случае приходится ставить вопрос только о социалистическом воспроизводстве. Иная постановка означала бы совершенно недопустимую путаницу самых элементарных вещей — смешение экономических категорий. Размеры исходного базиса относятся к количествен-

¹⁾ Там же, стр. 551.

²⁾ Точно так же сопоставляет оба эти процесса Маркс и в своем письме к редактору «Отечественных Записок»: «В главе о «первоначальном накоплении» я тогда имел намерение проследить тот путь, которым в Западной Европе экономический капиталистический строй вышел из недр экономического феодального строя. А путь этот вел к тому, чтобы разединить производителя от его средств производства, обращая первого в наемника (пролетария в современном смысле этого слова), а последние—в капитал. В этой истории «составляет эпоху всякий перелом, который служит средством подвинуть вперед формирование капиталистического класса... Но основой всего процесса служит экспроприация земледельцев». В конце главы я рассматриваю историческое направление (tendence) капиталистического накопления и утверждаю, что его последнее слово, это—преобразование капиталистической собственности в общественную. В этом месте я не приводил никаких доказательств этого положения, по той простой причине, что само это положение есть не более, как краткое резюме длинного ряда данных, уже разобранных в главе о капиталистическом производстве». См. приложение к 3-му изд. 1 тома сочинений В. И. Ленина, стр. 502.

ной стороне данного явления, но в данном случае решающее значение имеет именно качественная сторона вопроса.

Во избежание недоразумений оговоримся,—хотя читатель, наверное, и сам уже заметил это,—что пока у нас речь идет об абстрактном капитализме и о превращении его в социалистическое общество в такой же абстрактной схеме; другие, некапиталистические, слои и группы остаются пока вне поля нашего зрения; как будет обстоять дело при наличии этих слоев и групп,—на этом мы остановимся ниже.

В ходе изложенных выше рассуждений мы вплотную подошли и к вопросу о методах первоначального социалистического накопления. Мы знаем, каковы были методы первоначального накопления капитала; заканчивая свой обзор истории первоначального накопления, Маркс констатирует, что «если деньги, по выражению Augier'a, «появляются на свет с природными кровавыми пятнами на одной щеке», то капитал рождается сочащимся кровью и грязью с головы до пят из всех пор»¹⁾.

Но в данном случае насилие играло вполне определенную историческую роль: оно выступало в качестве повивальной бабки истории, облегчающей муки родов нового капиталистического общества; другими словами, оно ускорило весь этот процесс. Однако теоретически можно допустить и не насильственные методы капиталистического накопления; по крайней мере, в таких случаях можно было бы обойтись и без политического, например, насилия; этот процесс мог бы совершиться при наличии одного лишь экономического насилия. Об этом, прочем, говорил и Энгельс в «Анти-Дюринге», и соответствующие цитаты мы уже приводили.

Теперь, что касается методов первоначального социалистического накопления, то здесь необходимость насилия вытекает из самого существа дела; ведь речь идет о социальной революции; ведь ее носителем становится диктатура пролетариата. Но только это насилие целиком и полностью направляется против экспроприаторов²⁾, и в силу уже одного этого ненасильственные методы здесь заранее исключаются. В этом и лежит одно из существенных отличий первоначального социалистического от первоначального же, но капиталистического накопления. Впрочем, это вполне естественная вещь. Ведь если в первом случае, на заре развития капитала все дело разыгрывается на почве одного и того же принципа священной и неприкосновенной частной собственности, при чем, хотя эта «священность» и «неприкосновенность» собственности в результате этого процесса и отрицается для широких масс населения, однако само это лишение в то же время предполагает ее существование, как общего принципа; более того, оно всецело совершается на этом базисе. В понятии любого права уже заложена и возможность неравенства прав и даже возможность лишения этого права. Правда, данное отрицание в корне меняет характер самой собственности, хотя формально она остается тем же, чем была и раньше; право частной собственности не перестает оставаться правом частной собственности.

Иное положение мы имеем в эпоху первоначального социалистического накопления или социальной революции; здесь встает коренной вопрос о дальнейшем существовании частной собственности вообще, т.е. самого принципа частной собственности, принципа, кон-

¹⁾ К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 549.

²⁾ Повторяем, пока для нас, кроме капиталистов и рабочих, никаких других классов и групп не дано.

ституирующего само буржуазное общество. Но проблемы подобного порядка всегда решаются только силой ¹⁾.

Правда, теоретически можно представить себе пример такого переворота и вне его насильственного разрешения. Можно, например, представить себе, что если бы все решающие капиталистические страны уже совершили социальную революцию и что капитализм по призыву истории продолжал бы существовать в какой-либо маленькой стране, которая теперь, вдобавок, попала бы в социалистическое окружение (положим, что социалистический строй водворился во всех странах Европы, за исключением какой-либо современной Австрии), весьма вероятно, что там дело обошлось бы и без применения насилия; возможно, что буржуазия просто капитулировала бы, не пытаясь сопротивляться, за явной безнадежностью этой попытки. Но это такие исключения, которые только подтверждают общее правило.

Итак, вопрос о первоначальном социалистическом накоплении разрешается очень просто, при условии его правильной методологической постановки; но это решение просто только при той абстрактной постановке, в какой мы его до сих пор ставили. Первоначальное социалистическое накопление является просто другим названием для социальной революции, добавим к тому же, очень неуклюжим, а поэтому и ненужным, раз налицо у нас имеется гораздо более точное и более понятное название — социальная революция пролетариата.

Но эта проблема усложнится, если мы сделаем шаг ближе к конкретной действительности и спросим себя, что будет представлять собой первоначальное социалистическое накопление в таком более реальном капиталистическом обществе, где наряду с ним, и притом в самой тесной органической связи с ним, существуют еще и «третьи лица».

Но прежде несколько слов о методологической постановке данной проблемы в «Новой экономике».

2.

В своей критике «Новой экономики» Е. Преображенского тов. А. Кои приводит следующие слова критикуемого автора: «Мои критикам следовало бы сосредоточенным огнем разрушить несколько основных исходных положений, и тогда все выводы пали бы сами собой», и тов. Кои заявляет, что его «работа является попыткой дать критику теории тов. Преображенского в целом, а не в отдельных ее частях» ²⁾.

Мы думаем, однако, что эта попытка так и осталась не совсем удачной попыткой, поскольку «основные исходные положения» «Новой экономики» в ней были просто обойдены; самое большее, они

¹⁾ «Что же можно было бы — весьма условно — назвать периодом первоначального социалистического накопления? Так можно было бы назвать только акт экспроприации экспроприаторов» с сопутствующими ему мероприятиями. Если капиталистическое первоначальное накопление характеризовалось как разделение производителей со средствами производства, то тут налицо их объединение; применение насилия, характеристика процесса как «переворотов», «внезапность и насильственность» процесса, наконец, характеристика процесса как исторической «предпосылки и «исходного пункта» развития, а не его «результата», — все это моменты сходства» (Н. И. Бухарин, К вопросу о закономерностях переходного периода, стр. 68).

²⁾ Александр Кои, О «Новой экономике» Е. А. Преображенского, Гл. 1927, стр. 3.

дает критику, и порой очень верную критику, лишь отдельных сторон и частностей «ново-экономических» построений. А между тем ошибочность этих «основных исходных положений» бросается в глаза с первого же взгляда; для того, чтобы уяснить это, вовсе не требуется какого-либо углубленного анализа, достаточно просто указать на них пальцем.

Таких основных методологических ошибок мы насчитываем целых три, и утверждаем, что от них и происходят «все качества» «Новой экономики».

Первую, и кардинальнейшую, ошибку мы, впрочем, уже указали выше. В вопросе о первоначальном социалистическом накоплении автор становится исключительно на натуралистическую точку зрения. И если «90% всех ошибок, непонимания и мозговых мучений при изучении Маркса проистекает у нашей молодежи от натуралистического понимания закона ценности»¹⁾, то такое же натуралистическое понимание оказывается возможным и при трактовке первоначального социалистического накопления,—разница только в том, что в данном случае «непонимание и мозговые мучения» наблюдаются не только у нашей молодежи.

В самом деле, к чему сводится первоначальное социалистическое накопление у Е. А. Преображенского? Мы уже ознакомились с постановкой вопроса у Маркса: для него весь смысл сводился к некоему социальному действию, экспроприации экспроприаторов, или к первоначальному созданию («накоплению») социалистических общественных отношений.

Правда, в одном месте Е. Преображенский,—повидимому, случайно,—высказывает абсолютно правильные вещи; так, трактуя вопрос о прибавочной ценности в переходной период, он пишет:

«Возьмем теперь вторую предпосылку понятия прибавочной ценности—отношение эксплуатации между двумя классами, систему присвоения прибавочного продукта работниками собственниками средств производства. Здесь мы несомненно продвинулись вперед несравненно дальше, чем в рассмотренном только что отношении, и продвинулись не эволюционным путем, а путем скачка, путем социалистической революции, путем ликвидации капиталистической собственности на средства производства и передачи их в руки организованного в государстве пролетариата. По этому признаку мы в гораздо большей степени можем говорить о трансформации прибавочной ценности в прибавочный продукт, чем по другим. Этот пункт вообще является основным. Рабочий не может эксплуатировать сам себя»²⁾.

Здесь, как видит читатель, фигурирует и экспроприация экспроприаторов, эта экспроприация совершенно правильно отождествляется с социалистической революцией, Е. Преображенский говорит также и о «скачке», но ему, видимо, совершенно невдомек, что тем самым он по существу говорит о «первоначальном социалистическом накоплении» и конструирует «закон» этого накопления. И что иначе ставить вопрос не приходится, тем более должен был бы понять сам же Е. Преображенский, поскольку он сам дает такое определение предмета политической экономии: «она изучает лишь производственные отношения стихийно-неорганизованной формы хозяйства, с существующими только этой форме типами закономерностей, как

¹⁾ «Новая экономика», стр. 129.

²⁾ «Новая экономика», стр. 170.

они проявляются на основе действия закона ценности» (стр. 19. Курсив наш.—В. П.)¹⁾.

Но вопрос об определении политической экономии не является темой нашей статьи; во всяком же случае производственные отношения есть отношения людей. Стоя на точке зрения такого определения, Е. Преображенский должен был бы в сконструированном им экономическом «законе первоначального социалистического накопления» особенно подчеркнуть эту «людскую» сторону: этот закон и должен представлять также определенное общественное (или производственное) отношение определенных классов друг к другу; вся проблема в таком случае и сводится к ближайшей характеристике этого производственного отношения. Но у него данный «закон» черным по белому прямо противопоставляется такому «общественному», мы сказали бы: расфетишизированному, его пониманию. Мы приведем тут одно очень важное в данном отношении место:

«Как мы уже видели,—пишет Е. Преображенский,—первоначальное капиталистическое накопление могло происходить на базе феодализма, тогда как первоначальное социалистическое накопление не может происходить на базе капитализма. Следовательно, если социализм имеет свою предисторию, то она может начинаться только после завоевания власти пролетариатом. Национализация крупной промышленности и есть такой первый акт социалистического накопления, т.-е. акт, который сосредоточивает в руках государства минимально-необходимые ресурсы для организации социалистического руководства промышленностью. Но здесь мы точно же сталкиваемся с другой стороной вопроса. Социализируя крупное производство, пролетарское государство одним только актом этой социализации меняет сначала систему собственности на орудия производства: оно приспособляет систему собственности к своим будущим шагам в деле социалистической перестройки всего хозяйства. Иными словами, путем революции рабочий класс приобретает лишь то, что капитализм имел в лице института частной собственности без всяких революций уже на базе феодализма. Первоначальное же социалистическое накопление, как период создания материальных предпосылок для социалистического производства в собственном смысле этого слова, должно только начинаться захватом власти и национализацией»²⁾.

Итак, как видит читатель, в этих приведенных словах различаются две «стороны вопроса». Во-первых, тут говорится о социализации, об изменении—и притом одним актом—системы собственности на орудия производства; но тут же немедленно выступает «другая сторона вопроса», и сводит почти на-нет ту первую сторону. Этот «один акт», т.-е. социальная революция,—ибо этот акт и сводит:

¹⁾ Правда, и у Е. Преображенского, как видим, мы встречаемся с обычным определением политической экономии, как науки лишь о производственных отношениях, с которым мы, к слову сказать, решительно согласиться не можем, ибо подобную постановку мы считаем определенным уклоном в сторону капитализма или, точнее, неокантизма. Недаром точно такое же определение политической экономии мы находим у Аммоа. См., напр., И. И. Рубин, *Современная экономисты на Западе*, стр. 184. Политическая экономия изучает не только производственные отношения людей, она изучает также, напр., и развитие производительных сил внутри капиталистической формы производства, которая и обуславливает это развитие.

²⁾ «Новая экономика», стр. 54. Курсив наш.—В. П.

си к социальной революции,—снизу же извóдится на степень подступа, лишь подступа к первоначальному социалистическому накоплению. Более того, этот «акт» фигурирует лишь постольку, поскольку он «сосредоточивает в руках государства минимально-необходимые ресурсы; иными словами, и в этом случае примат подучает накопление некоторых материальных вещей—средств производства».

В этом последнем, очевидно, и вся суть, по Е. Преображенскому, первоначального социалистического накопления. Но это только и можно назвать «натуралистическим пониманием», которое, к слову сказать, и влечет к 90% ошибочности.

И дабы у читателя «Новой экономики» не могло оставаться никаких сомнений, Е. Преображенский еще раз повторяет:

«Точно так же и социалистическое накопление в подлинном смысле этого слова, т.е. накопление на технико-экономической базе социалистического хозяйства, уже развертывающего все ему свойственные черты и ему лишь свойственные преимущества, может начаться лишь после того, как советское хозяйство пройдет стадию первоначального накопления»¹⁾. Итак, социалистическое накопление, или лучше применим другой, более подходящий термин, социалистическое расширенное воспроизводство, которое сводится к расширению воспроизводству социалистических производственных отношений, имеет своей предпосылкой не создание этих общественных отношений, но накопление некой массы материальных вещей, и только голое накопление этой массы. «Как для функционирования мануфактур, а тем более фабрик с машинной техникой, нужен известный минимум предварительно скопленных средств в форме натуральных элементов производства, так необходим некоторый минимум (скопленных средств в форме натуральных элементов производства,—как это вытекает из контекста.—В. П.) для того, чтобы комплекс государственного хозяйства мог развить все свои экономические преимущества, мог бы подвести под себя новую техническую базу»²⁾.

Итак, мы можем подвести теперь кое-какие итоги. Прежде всего из последней цитаты мы видим, что первоначальное капиталистическое накопление для Е. Преображенского сводится к некоему накоплению материальных вещей, т.е. потребительных ценностей, иначе: богатства. Но то же самое утверждается в другой цитате и относительно первоначального социалистического накопления.

В предыдущей статье мы уже видели, насколько может быть методологически оправдана подобная постановка вопроса. К этому мы должны только прибавить, что в данном отношении Е. Преображенский лишь воспроизводит одну из ошибок Р. Люксембург, которая подобным же образом отождествляет накопление капитала с накоплением золота, т.е. тоже некой, хотя, правда, и специфической, материальной вещи.

Доказывать неправильность подобных представлений после сказанного в первой статье мы считаем излишним³⁾; здесь достаточно бу-

¹⁾ Курсив наш. Там же, стр. 55.

²⁾ Там же, стр. 55. Курсив наш.—В. П.

³⁾ Во избежание недоразумений оговоримся, что мы вовсе не выбрасываем тех процессов, которые совершаются при этом с материальными вещами. Конечно, акт экспроприации капиталом является в то же время и сосредоточенным в руках пролетариата некоторой суммы материальных вещей, т.е. средств производства. Мы утверждаем лишь, что нельзя сводить весь процесс к этому материальному

дет указать на пресловутого мистера Пиля¹⁾, эмигрировавшего на Лебязный берег и там на собственном опыте познавшем, что капитал есть не только вещь, но и определенное классовое отношение.

Но если такая постановка неправильна и методологически некапа—именно с точки зрения метода Маркса,—ибо основана на грубейшем смешении богатства и капитала, то в применении к первоначальному социалистическому накоплению подобная постановка проблемы не становится ни на йоту более правильной. В этом мы и видим первый основной методологический грех, из которого с необходимостью вытекают и следующие²⁾.

Направившись по руслу «материального» накопления, отождествив накопление капитала с накоплением потребительных ценностей, или, вернее, растворив первое во втором, Е. Преображенский засим последовал снова за Розой Люксембург и в другой ее ошибке. Если центр тяжести проблемы заключается в накоплении вещей, то, во-первых, вся суть проблемы сводится лишь к темпу и методам накопления, а, во-вторых, именно в вопросе о методах этого накопления все смешивается воедино до полного качественного безразличия. Мы видели уже, что Р. Люксембург, выставив сперва утверждение, что реальный процесс накопления капитала совершается за счет двух источников: 1) за счет накапливаемого m (прибавочной ценности) и 2) за счет третьих лиц,—затем концентрирует все свое внимание на этом втором источнике, тогда как первый у ней исчезает, и исчезает не только *de facto*, но и принципиально, поскольку воспроизводство в чистом капиталистическом обществе у ней оказывается невозможным.

Подобно этому и у Е. Преображенского первоначальное капиталистическое накопление совершается за счет двух источников³⁾. Во-первых, оно происходит за счет неэквивалентного обмена с третьими лицами, а кроме того, оно происходит и на собственной производственной базе, т.-е. путем эксплуатации рабочей силы капиталистом. Так, на стр. 66, мы прямо и встречаемся с таким смешением:

«Переходим теперь,—пишет здесь Е. Преображенский,—к методам первоначального накопления, которые приводят к аккумуляции капитала экономическими путями. Здесь нужно различать накопление, которое получается в самом производстве за счет прибавочной стоимости занятого в предприятиях пролетариата, и, с другой стороны, обмен меньшего количества труда одной системы хозяйства или одной страны на большее количество труда другой системы хозяйства или другой страны». И чтобы не могло возникнуть никакого недоразумения относительно смысла приведенных слов, на стр. 90 Е. Преображенский говорит: «Таким образом, более низкая заработная плата, более высокий (?) рабочий день, чем в предшествующей эконо-

накоплению и упускать другую и принципиально чрезвычайно существенную сторону—скачок в области производственных отношений или в социальной форме.

¹⁾ См. гл. XXV тома I «Капитала».

²⁾ Тов. А. Кон видит этот грех в другом: «Его (т.-е. Е. Преображенского—В. П.) закон не устанавливает максимума социалистического накопления. В этом установлении минимума социалистического накопления и отрицании его максимума, несомненно, заключается основное содержание «закона» первоначального социалистического накопления. В этом же заключается его ошибочность. О «Новой экономике» Е. А. Преображенского, стр. 52—53. «Мы отвергаем закон, потому что он устанавливает только минимум» (стр. 54). Следовательно, т. Кон, видя, считает подобно е конструктивное закона допустимым и правильным; ему не нравится только одобрение этого закона. Мы же думаем, что, если бы он был дал и двумя «боками», от этого он не стал бы менее ошибочным.

³⁾ См., напр., стр. 69, 89 и 90 «Новой экономики».

лической системе ¹⁾, и все это на базе более высокой техники, при более высокой производительности труда—вот источник усиленного первоначального накопления на производственной основе в начальный период развития капитализма.

Следовательно, теперь накопление капитала за счет капитализируемой прибавочной ценности, т.е. типичное капиталистическое накопление, одним ударом превращается в первоначальное накопление; и подобная постановка вопроса—для марксиста довольно-таки абсурдная, вовсе не удивительна у Е. Преображенского; это лишь прямое следствие его натуралистического подхода в этом вопросе.

Если накопление, в том числе и первоначальное накопление, сводится к собиранию материальных средств производства и только к этому,—то сравнительно второстепенной вещью является вопрос о том, откуда черпается подобное накопление: является ли его источником нечто созданное самостоятельным товаропроизводителем, или же это неоплаченный труд наемного рабочего. Но для того, для кого всякая экономическая категория—а первоначальное капиталистическое накопление есть также экономическая категория—является определенным общественным отношением, правду, «опосредствованной вещью» (Карл Маркс), эти два источника связываются с двумя принципиально различными процессами. Тут одна и та же вещь, скажем та же машина, прикрывает или, лучше, выражает совершенно различные общественные процессы.

Но все это—элементарные истины, на которых вряд ли нужно долго останавливаться. Гораздо интереснее то, что при переходе к социалистическому накоплению Е. Преображенский сперва, повидному, покидает эту позицию, но только для того... чтобы с другого конца, по иной лестнице снова взобраться на ту же теоретическую платформу.

Так, приступая к характеристике первоначального социалистического накопления, Е. Преображенский пишет: «Различение первоначального социалистического накопления от собственно социалистического накопления имеет огромное принципиальное значение. Ниже мы увидим, что это различение имеет огромное значение для нашей экономической политики точно так же, как смешение этих двух процессов влечет за собой грубейшие ошибки в области практического руководства хозяйством (совершенно справедливо сказано. Курсив наш.—В. П.). Социалистическим накоплением мы называем присоединение к функционирующим средствам производства прибавочного продукта, который создается внутри сложившегося социалистического хозяйства и который не идет на добавочное распределение среди агентов социалистического производства и социалистического государства, а служит для расширенного воспроизводства. Наоборот, первоначальным социалистическим накоплением мы называем накопление в руках государства материальных ресурсов, главным образом (что значит «главным образом»?—В. П.), либо одновременно из источников, лежащих вне комплекса государственного хозяйства» ²⁾.

¹⁾ Т.е. в ремесленном производстве средних веков. Оказывается, в ремесле, как предшествующей экономической системе, т.е. в ремесле, как экономической формации, а не в реальном ремесле, мы имеем заработную плату (!!). Вот уже, поистине, теоретическая неразбериха!

²⁾ Там же, стр. 57—58.

дет указать на пресловутого мистера Пиля¹⁾, эмигрировавшего на Либяжий берег и там на собственном опыте познавшем, что капитал есть не только вещь, но и определенное классовое отношение.

Но если такая постановка неправильна и методологически непа—именно с точки зрения метода Маркса,—ибо основана на грубейшем смешении богатства и капитала, то в применении к первоначальному социалистическому накоплению подобная постановка проблемы не становится ни на йоту более правильной. В этом мы и видим первый основной методологический грех, из которого с необходимостью вытекают и следующие²⁾.

Направившись по руслу «материального» накопления, отождествив накопление капитала с накоплением потребительных ценностей, и, наоборот, растворив первое во втором, Е. Преображенский засим последовал снова за Розой Люксембург и в другой ее ошибке. Если центр тяжести проблемы заключается в накоплении вещей, то, во-первых, вся суть проблемы сводится лишь к темпу и методам накопления, а, во-вторых, именно в вопросе о методах этого накопления все смешивается воедино до полного качественного безразличия. Мы видели уже, что Р. Люксембург, выставив сперва утверждение, что реальный процесс накопления капитала совершается за счет двух источников: 1) за счет накапливаемого m (прибавочной ценности) и 2) за счет третьих лиц,—затем концентрирует все свое внимание на этом втором источнике, тогда как первый у ней исчезает, и исчезает не только *de facto*, но и принципиально, поскольку воспроизводство в чистом капиталистическом обществе у ней оказывается невозможным.

Подобно этому и у Е. Преображенского первоначальное капиталистическое накопление совершается за счет двух источников³⁾. Во-первых, оно происходит за счет неэквивалентного обмена с третьими лицами, а кроме того, оно происходит и на собственной производственной базе, т. е. путем эксплуатации рабочей силы капиталистом. Так, на стр. 66, мы прямо и встречаемся с таким смешением:

«Переходим теперь,—пишет здесь Е. Преображенский,—к методам первоначального накопления, которые приводят к аккумуляции капитала экономическими путями. Здесь нужно различать накопление, которое получается в самом производстве за счет прибавочной стоимости занятого в предприятиях пролетариата, и, с другой стороны, обмен меньшего количества труда одной системы хозяйства или одной страны на большее количество труда другой системы хозяйства или другой страны». И чтобы не могло возникнуть никакого недоразумения относительно смысла приведенных слов, на стр. 90 Е. Преображенский говорит: «Таким образом, более низкая заработная плата, более высокий (?) рабочий день, чем в предшествующей эконо-

накоплению и упускать другую и принципиально чрезвычайно существующую сторону—скачок в области производственных отношений или в социальной форме.

¹⁾ См. гл. XXV тома I «Капитала».

²⁾ Тов. А. Кои видит этот грех в другом: «Его (т. е. Е. Преображенского—В. П.) закон не устанавливает максимума социалистического накопления. В этом установлении минимума социалистического накопления и отрицании его максимума, несомненно, заключается основное содержание «закона» первоначального социалистического накопления. В этом же заключается его ошибочность». О «новой экономике» Е. А. Преображенского, стр. 52—53. «Мы отвергаем закон, потому что он устанавливает только минимум» (стр. 54). Следовательно, т. Кои, видимо, считает подобно е конструктивному закону допустимым и правильным; ему не нравится только односторонность этого закона. Мы же думаем, что, если бы он обладал и двумя «боками», от этого он не стал бы менее ошибочным.

³⁾ См., напр., стр. 69, 89 и 90 «Новой экономики».

инической системе ¹⁾, и все это на базе более высокой техники, при более высокой производительности труда—вот источник усиленного первоначального накопления на производственной основе в начальный период развития капитализма.

Следовательно, теперь накопление капитала за счет капитализируемой прибавочной ценности, т.-е. типичное капиталистическое накопление, одним ударом превращается в первоначальное накопление; но подобная постановка вопроса—для марксиста довольно-таки абсурдная, вовсе не удивительна у Е. Преображенского; это лишь прямое следствие его натуралистического подхода в этом вопросе.

Если накопление, в том числе и первоначальное накопление, сводится к собиранию материальных средств производства и только к этому,—то сравнительно второстепенной вещью является вопрос о том, откуда черпается подобное накопление: является ли его источником нечто созданное самостоятельным товаропроизводителем, или же это неоплаченный труд наемного рабочего. Но для того, для кого всякая экономическая категория—а первоначальное капиталистическое накопление есть также экономическая категория—является определенным общественным отношением, правда, «опосредствованной вещью» (Карл Маркс), эти два источника связываются с двумя принципиально различными процессами. Тут одна и та же вещь, скажем та же машина, прикрывает или, лучше, выражает совершенно различные общественные процессы.

Но все это—элементарные истины, на которых вряд ли нужно долго останавливаться. Гораздо интереснее то, что при переходе к социалистическому накоплению Е. Преображенский сперва, по видимому, покидает эту позицию, но только для того... чтобы с другого конца, по иной лестнице снова взобраться на ту же теоретическую платформу.

Так, приступая к характеристике первоначального социалистического накопления, Е. Преображенский пишет: «Различение первоначального социалистического накопления от собственно социалистического накопления имеет огромное принципиальное значение. Ниже мы увидим, что это различие имеет огромное значение для нашей экономической политики точно так же, как смешение этих двух процессов влечет за собой грубейшие ошибки в области практического руководства хозяйством (совершенно справедливо сказано. Курсив наш.—В. П.). Социалистическим накоплением мы называем присоединение к функционирующим средствам производства прибавочного продукта, который создается внутри сложившегося социалистического хозяйства и который не идет на добавочное распределение среди агентов социалистического производства и социалистического государства, а служит для расширенного воспроизводства. Наоборот, первоначальным социалистическим накоплением мы называем накопление в руках государства материальных ресурсов, главным образом (что значит «главным образом»?—В. П.), либо одновременно из источников, лежащих вне комплекса государственного хозяйства» ²⁾.

¹⁾ Т.-е. в ремесленном производстве средних веков. Оказывается, в ремесле, как предшествующей экономической системе, т.-е. в ремесле, как экономической формации, а не в реальном ремесле, мы имеем заработную плату (?!). Вот уже, поистине, теоретическая неразбериха!

²⁾ Там же, стр. 57—58.

Это положение Е. Преображенского, что и говорить, правильно почти на все 100%; говорим «почти», ибо и здесь мы встречаемся с усиленным подчеркиванием только материальной природы накапливаемых ресурсов. Более того, тут Е. Преображенский дает обещание «ниже» показать, что «смещение этих двух процессов влечет за собой грубейшие ошибки» в области практики; но за такой ошибочной практикой всегда должна стоять в качестве ее обоснования и ошибочная теория. И Е. Преображенский свято выполняет свое обязательство; ибо ниже мы видим, как это смещение становится самой сутью его накопленческого «закона» (и, добавим в скобках, влечет и к соответствующей практике).

В самом деле, буквально на тех же страницах начинается и сползание с только что объявленной теоретической позиции. «Первоначальное социалистическое накопление хронологически переплетается с социалистическим производством и отчасти с социалистическим накоплением на производственной основе, тем не менее, экономическая сущность этого процесса по отношению к социалистическому производству такова же, как и первоначального капиталистического накопления по отношению к капиталистическому производству»¹⁾.

Здесь, таким образом, начинается уже «хронологическое переплетение», но в конце фразы начинается уже «темная вода во облацех небесных». С точки зрения обычной терминологии и марксистского понимания применяемых понятий—тут все верно. Но выше мы, ведь, видели, что в отношении первоначального капиталистического накопления эти оба понятия просто сливаются воедино; они фигурируют лишь в качестве двух источников одного и того же процесса—первоначального накопления.

Если в последнюю цитату сделать данную подстановку, то она получает совершенно обратный смысл.

Но чтобы не было никаких сомнений, сам автор дает аутентическое толкование.

«Это накопление,—говорит он (т.е. накопление за счет источников, «лежащих вне комплекса государственного хозяйства».—В. П.),—в отсталой крестьянской стране должно играть колоссально важную роль, в огромной степени ускоряя наступление момента, когда начнется техническая и научная перестройка государственного хозяйства, и когда это хозяйство получит, наконец, чисто экономическое преобладание над капитализмом. Правда, в этот период происходит и накопление на производственной основе государственного хозяйства (т.е. за счет прибавочного продукта государственного хозяйства.—В. П.). Однако, во-первых, это накопление также носит характер предварительного накопления средств для подлинно социалистического хозяйства и этой цели подчинено. А, во-вторых, накопление первым способом, т.е. за счет негосударственного круга, явно преобладает в этот период. Поэтому весь этот этап мы должны называть периодом первоначального или предварительного социалистического накопления»²⁾. И в связи с этим в конце той же страницы закон первоначального социалистического накопления (к тому же еще разрядкой) начинает регулировать отчуждение прибавочного продукта страны для расширенного социали-

¹⁾ Там же, стр. 57.

²⁾ Там же, стр. 58. Курсив наш. — В. П.

стического воспроизводства. Подчеркнем—всей страны, не того или иного сектора, а всех секторов, в том числе и социалистического.

Вместе с тем Е. Преображенский, начав за здравие, кончил за упокой. Резко различая в начале оба процесса—отчуждения прибавочного продукта из социалистического сектора и сектора несоциалистического, в конце он пришел к их полиному смешению, т.-е. к тому, от чего он так заботливо сам же предостерегал. В результате, социалистическое накопление растворяется без остатка в первоначальном социалистическом накоплении.

Фокус произведен! «Закон первоначального социалистического накопления» открыт; мимоходом, впрочем, отметим, что вся сущность этого «закона» может быть выражена очень кратко: «Накопляйте, накаплийте! Вот Моисей и пророки!»¹⁾. Однако для этого недостаточно одной ловкости рук,—мы имели случай убедиться к тому же, что он сделан весьма и весьма неловко. Он должен иметь и более солидное основание. Однако такой результат и детерминирован такими более солидными моментами: во-первых, здесь сказался в полной силе натуралистический подход автора «Новой экономики», а для выяснения другой стороны нам нужно обратить внимание и на другой конец и на другую лесенку, о которых мы говорили выше.

3.

Здесь нам придется пуститься в несколько более широкую область социологии.

Уже на первой странице «Новой экономики» мы встречаемся со следующим *profession de foi*:

«Разумеется, не может быть ни малейшего сомнения в том, что при изучении нашего хозяйства мы можем, должны и будем держаться общих основ марксистского метода, поскольку дело идет о методе диалектического материализма вообще и в частности об общесоциологическом методе Маркса»²⁾. В том, что «мы можем, должны» держаться марксистского метода, сомнения быть не может; но в том, что мы «и будем держаться», автор настоящих строк никак не может согласиться с Е. Преображенским. Действительно, поставим только вопрос, каким образом происходит смена одной общественной формации другой формацией по Марксу. Это — вещь общеизвестная; развитие производительных сил, происходящее внутри какой-либо общественной формы и стимулируемое самой же этой формой, на известной стадии перестает вмещаться внутри старой формы. Ее оболочка разлетается; она заменяется новой формой; эта замена и есть процесс социальной революции, в результате которого мы имеем дело с новой формацией общества. Однако в ней мы имеем те же накопленные внутри прежней разбитой формы материальные производительные силы, но они теперь связываются с иными новыми по типу производственными отношениями, не только дающими простор для дальнейшего развития производительных сил, но и стимулирующими это дальнейшее развитие.

В применении к социальной революции пролетариата Маркс, например, в «Критике Готской программы» говорит: «Надо было, следовательно, вместо того, чтобы приводить общие места о «труде» и

¹⁾ К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 424.

²⁾ Стр. 13.

«обществе», определено показать здесь, как в современном капиталистическом обществе создались, наконец, материальные и проч. условия, которые дают рабочим возможность и заставляют их разрушить это общественное проклятие»¹⁾, т. е. капиталистическую формацию общества.

Однако у Е. Преображенского своя философско-историческая концепция. И с точки зрения этой концепции, правда, очень хорошо можно понять неизбежность краха социализма, но зато возникновение социализма, т. е. смена капиталистической формации социалистической становится настоящей загадкой сфинкса²⁾.

О крахе разговор будет идти дальше, что же касается начала социализма, то относительного него в «Новой экономике» развивается весьма своеобразная теория; она, при этом, не вытекает из того хода мыслей, с которым мы ознакомились выше, а привносится сюда со стороны. Каковы ее корни—это вопрос другой, и он нас здесь не интересует, хотя несомненно, что вообще корни у ней все же имеются, но они, очевидно, лежат в иной плоскости более практического характера. Теоретически же эти положения не доказываются, но просто постулируются.

И эта теория сводится к тому, что, выражаясь вульгарно, сперва появляется очень маленький, хиленький «социализмчик», который с самого же начала вступает в отважную борьбу Давида и Голиафа с капиталистическим чудовищем. С одной стороны—стоят люди с кучей машин и т. п. материальных средств производства, и притом с довольно изрядной кучей, а с другой стороны—тоже стоят люди—социализм—с маленькой ничтожной кучкой материальных средств производства. Затем вторые начинают «накапливать», т. е. перекачивать или перетаскивать от первых имеющиеся у них материальные средства производства—чья возьмет!

Правда, тут встает вполне законный вопрос, а откуда же у них взялась даже и эта маленькая кучка всевозможного технического оборудования? Ясно, что они ее «грабанили» у капиталистов; но ведь, теоретически говоря, это не обязательно; они могли и «накопить» их также путем сбережений, например, посредством всякого рода кооперативов—тех же потребительских лавочек. Но если спросить дальше, чем же было вызвано (или детерминировано) их желание «ликвидировать капиталистическую собственность на средства производства и передать их в руки организованного в государство пролетариата», то тут ничего, кроме зловердных агитаторов не выдумаешь.

Социальная революция падает, повидимому, с неба, и социализм начинает строиться «в чистом поле».

С подобными представлениями мы встречаемся уже в более ранней работе Е. Преображенского. Так, уже в его докладе «Экономические кризисы при изле»³⁾ мы имеем уже в сравнительно развитом виде весь этот ход мыслей.

¹⁾ К. Маркс, Критика Готской программы, пер. Н. Алексеева, Спб. 1906, стр. 10. Курсив наш.—В. П.

²⁾ Опять оговоримся, что мы не утверждаем всеобщего значения, этой философско-исторической концепции в системе взглядов Е. Преображенского. Отолько согласимся, что во многих вопросах он стоит на другой, правильной философско-исторической концепции. Но что в основе теории первоначального социалистического накопления лежит данная, ошибочная на наш взгляд, концепция,—это неслучайный и объективный факт.

³⁾ Прочитан 1 ноября 1923 г. в Ком. Академии. См. «Вестник Социалистической Академии», 1923 г., кн. VI.

Так уж в самом начале доклада мы встречаемся там с «зародышевым социализмом»¹⁾; при чем данное зародышевое состояние неизбежно порождает, по мнению Е. Преображенского, диспропорции в хозяйстве, — а к диспропорции Е. Преображенский сводит и кризисы. Анализ этой диспропорции и отыскание средств борьбы с этой диспропорцией занимает или должно занимать «одно из центральных мест в экономическом исследовании, посвященном анализу экономических форм переходного периода»²⁾.

Итак, с одной стороны, экономка переходного периода, снречь «новая экономка», а с другой — зародыш, наличие которого и обуславливает необходимость такой ивой экономки. Дальше «зародыш» начинает «проявлять». На следующей странице он превращается уже в кусок.

«Мы имеем, — пишет наш автор, — с одной стороны, государственную промышленность и транспорт в руках государства, при чем этот кусок социализма вынужден экономически существовать в обстановке товарного хозяйства и товарными методами прокладывать свой путь вперед, а на другом полюсе — окружение мелкобуржуазного хозяйства, которое по размерам своей продукции играет преобладающую роль во всем иашем хозяйстве»³⁾. Но тотчас же положение становится более серьезным. На той же странице это «мелкобуржуазное производство города и деревни» превращается в «основную форму иашей экономки».

По существу те же самые взгляды, но только в более развитом виде, повторяются и в «Новой экономке».

А теперь спросим себя, чн это взгляды? И как тут обстоит дело с диалектикой или диалектическим методом?

Начнем со второго вопроса, и ответ на него может быть сформулирован весьма кратко и весьма недвусмысленно. Подобная постановка вопроса знаменует собой самый беспросветный, самый ползучий эмпирический позитивизм. Мы имеем перед собой лишь постепенное развитие «зародыша», его количественный рост; проблема же возникновения зародыша теоретически не может быть разрешена — по крайней мере, не исходя с почвы теоретической экономии.

Вместо диалектики перед нами предстает эволюционизм чистой воды.

Но noblesse oblige; став на эволюционистическую точку зрения, Е. Преображенскому приходится очень многие вещи ставить буквально на голову. В самом деле, политическая экономия, да и вся иная экономическая наука, будь то даже «Новая экономка», изучает, прежде всего, производственные отношения людей, об этом мы слышали и от самого Е. Преображенского; он даже утверждал, что она только их и изучает. Но именно подобный эволюционизм должен оказаться совершенно бессильным перед такими проблемами их возникновения или, мы сказали бы, более обще, перед проблемами качественной стороны хозяйственной формации; самое большее — он улавливает их количественную сторону.

И не случайно, что Е. Преображенский должен был в вопросе о первоначальном накоплении стать на натуралистическую точку зрения. Если все дело при построении социализма сводится к тому, чтобы на-

¹⁾ См. стр. 303.

²⁾ Там же.

³⁾ Там же. Курсив наш. — В. П.

копять, еще раз накоплять и еще раз накоплять, то *salto's a*, скачка тут не дано. Капитализм здесь не превращается в социализм путем некоего скачка—посредством социальной революции; нет, он постепенно вытесняется, постепенно сокращается, чахнет и, наконец, умирает, тогда как социализм постепенно растет, становится все более полнокровным и, наконец, путем такого постепенного роста окончательно одолевает своего капиталистического врага. Никакого скачка, никакой революционной ломки и смены системы производственных отношений отсюда никак не вытекает. Это действие в сфере производственных отношений приходится поэтому как-то внешним образом пришить к «материальной основе», к процессу постепенного накопления.

Выслушаем, однако, иную постановку вопроса:

«Но социализм может вырасти исключительно на почве существующего, и поэтому можно сказать, что различные социалистические формы в известном смысле являются продолжением прежних капиталистических форм» (как их отрицание; ибо и само отрицание есть в известном смысле—продолжение.—В. П.)¹⁾.

Только таким образом и можно ставить проблему. Но у Е. Преображенского она принимает совершенно другой вид. Так, он говорит об отрицании закона ценности внутри круга государственного хозяйства²⁾. Как будто бы закон ценности не является овеществленным выражением специфического общественного отношения—отношения автономных товаропроизводителей. Но разве «внутри круга государственного хозяйства» на другой день после пролетарской революции мы можем найти этих независимых друг от друга и вполне самостоятельных частных собственников на средства производства?

«С другой стороны,—говорит также Е. Преображенский,—вследствие общей экономической и технической слабости государственного хозяйства, социалистический характер производственных отношений в нем более ясно может выступать лишь на определенном уровне развития производительных сил»³⁾.

И в pendant к этому ему тут же приходится ставить нелепый вопрос: «С какого момента,—спрашивает он,—здесь количество переходит в качество, на какой стадии развертывания социалистического хозяйства происходит рассасывание тех производственных отношений, которым в науке соответствуют категории политической экономии?»⁴⁾.

Здесь все хорошо. И прежде всего, как мы указали, сама постановка. Если у нас имеется социалистическое хозяйство, то ясно, что тем самым даны и социалистические производственные отношения: момент, когда они возникают, есть момент перехода количества в качество, именно превращение капитализма в социализм. А этот момент и думается, что это положение должно быть общепризнанным в среде марксистов—этот момент сводится к социальной революции. А иначе,

¹⁾ Из речи Н. И. Бухарина по вопросу о программе Коминтерна. См. «IV Всемирный конгресс Комм. Интернационала», избранные доклады, речи и резолюции. Гиз, 1923, стр. 191. И Н. И. Бухарин продолжает: «Пропорция между подпадающими и неподпадающими рационализации с нашей стороны, пропорция между промышленностью и крестьянством и т. д., и т. д., все эти черты отсталости нашего экономического развития найдут себе выражение и в отсталых формах нашего феодализма».

²⁾ «Новая экономика», стр. 142.

³⁾ Там же, стр. 142–143. Курсив наш. — В. П.

⁴⁾ Там же. Курсив наш. В. П.

как это вытекает из приведенных слов, мы будем иметь социалистическое общество без социалистических отношений (хотя бы и до известной стадии).

И в полную параллель к этому Е. Преображенский просто отождествляет переход количества в качество с «рассасыванием»; скачок с лучшей постепенностью.

Но все это, повторяем, есть лишь прямые следствия натуралистско-эволюционистской точки зрения.

Но таково уже своеобразие постановки проблемы у Е. Преображенского, что из такого эволюционизма сам собой проистекает и скачок—крах разнвишегося социализма.

Чтобы ознакомиться с ним, нам нужно обратить внимание на другую сторону этого развития социализма по Е. Преображенскому.

Здесь мы входим в самую суть теоретического ядра «Новой экономики» (как экономик переходного периода), и поэтому можем лишь бегло остановиться на ее самых характерных чертах; более подробным разбором мы займемся ниже.

Рост социализма происходит в процессе борьбы со всякого рода противоборствующими тенденциями, из них же первая—капитализм и мелкобуржуазная стихия. Это два полюса—но полюса, органически не связанные своей полярностью, или две противопоставленные силы, внешние друг по отношению к другу. Один полюс может расти лишь за счет другого, вытесняя его с занятых им позиций или, точнее, пожирая его. Взаимное пожирательство и взаимная борьба за это пожирательство—в этом вся суть экономик переходного периода. Отсюда и борьба двух законов, олицетворяющих эти два полюса. Каждый из них, опираясь на свой закон, пытается расширяться за счет другого, питаться его соками.

«Таким образом,—говорит Е. Преображенский,—мы приходим к выводу, что, если между капиталистической и социалистической экспансий есть то формальное сходство, что обем формам и м м а н е н т н о при сущ е стремление развиваться не только за счет своих собственных ресурсов, но и неизбежно за счет вытеснения исторически остальных способов производства и за счет их постоянной эксплуатации, то методы борьбы со старыми формами у капитализма и социализма совершенно различны»¹⁾. Здесь нас интересуют не методы, а самая суть процесса, которую Е. Преображенскому угодно назвать формальной стороной («формальное сходство»).

«Мелкое производство,—поясняет он в другом месте,—служит одинаково питательной базой как для капиталистического, так и для социалистического накопления»²⁾.

Но «собственное накопление» может и отсутствовать; оно отнюдь не обязательно, и на странице 96 оно прямо и спускается до «ниже нуля».

Итак, мы видим, что у Е. Преображенского место диалектики занимает принципиальный дуализм: не диалектика, а какая-то дуалистика! Вместе с тем, весь процесс сводится к типично механической борьбе, к механическому равновесию, и к механическому, чисто внешнему столкновению двух чуждых друг другу сил—капитализма и социализма. В итоге, вещи поставлены на голову. Этот механистический

¹⁾ «Новая экономика», стр. 109—110. Курсив наш.—В. П.

²⁾ Там же, стр. 51. А также «...либо социалистическая форма развивается и за счет собственного накопления, и за счет внесоциалистической среды, питаясь также и ее соками». Там же, стр. 86—87. Курсив наш.—В. П.

подход, тесно увязывающийся с характеризованным раньше натурализмом — мы считаем второй основной ошибкой теории Е. Преображенского¹⁾.

Отсюда же вытекает и его третья основная ошибка, ошибка, которую он сам в очень резкой форме формулирует в самом начале своего исследования закона первоначального социалистического накопления.

«Ни одна экономическая формация, — пишет он там, — не может развиваться в чистом виде, на основе только тех имманентных законов, которые присущи данной формации. Это противоречило бы самой идее развития»²⁾.

Из этого весьма важного методологического отношения места вытекают и не менее важные следствия.

Во-первых, само собой бросается в глаза расхождение с Марксом: ибо Маркс, желая вскрыть закон движения, а следовательно, и закон уничтожения капиталистического общества, прежде всего, начинает с изучения абстрактного капитализма, т.-е. такого, где ничего, кроме капитализма, не дано. Он как раз ищет те имманентные законы, на основе которых развивается в чистом виде одна определенная экономическая формация, т.-е. буржуазное общество и дальнейшее развитие которых влечет к ее отрицанию, к замене ее иной экономической формацией. Читатель наверное уже заметил, что у Е. Преображенского здесь возродились основные положения теории Р. Люксембург. О такой же невозможности развития чистого капитализма говорил именно она; но Е. Преображенский тем отличается от Р. Люксембург, что он обобщает это положение, тогда как это свойство она приписывала только капитализму.

Р. Люксембург обосновывала тем самым неизбежность краха капитализма; Е. Преображенский же обосновал неизбежность краха и социализма. В самом деле, социализм является тоже экономической формацией, следовательно, в чистом виде и он не может развиваться на основе имманентных присущих ему законов. Когда он начисто похрет все ostatки нных формаций, когда исчезнут всякого рода и капиталистические и мелкобуржуазные окружения, — тогда мы будем лицезреть не развившееся вполне и до конца социалистическое или коммунистическое общество; наоборот, согласно закону, декретированному Е. Преображенским, он должен неизбежно крахнуть; ибо ему некого будет «жрать». И весь этот крах вытекает у Е. Преображенского из необходимости «идти развития». Хорошенькое развитие! — только и можем прибавить мы.

Но этот абсурд очень хорошо увязан у Е. Преображенского. Действительно, если мы только представим себе какую-нибудь чистую экономическую формацию, то, пребывая на методологических позициях Е. Преображенского, мы попадаем в самое тяжелое положение: в «чистой» формации начисто исчезают всякие зародыши, а, стало быть, и всякие возможности какого бы то ни было развития.

Как бы вопрос ни поворачивать, в конце концов приходится прийти к тому неопровержимому выводу, что «диалектический» вексель Е. Преображенского на самом деле оказался бронзовым векселем.

¹⁾ Опять-таки и здесь мы можем противопоставить противоположную точку зрения. См. «IV Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала», избранные доклады, речи и резолюции, Гиз, 1923, стр. 190—191.

²⁾ «Новая экономика», стр. 50.

Номинализм и проблема ценности денег.

Г. Дашевский.

Номинализм, как и всякая последовательная теория денег, должен укладываться в какую-то более общую концепцию хозяйства и вместе с тем выявить свою позицию по отношению к основной проблеме денег—проблеме ценности их.

Мне кажется, что мы не ошибемся, если укажем на самую тесную связь номинализма с психической концепцией хозяйства, особенно с теорией австрийской школы.

Наиболее видные представители современного номинализма—Кнапп, Эльстер, Бендиксен, Лифман и другие—субъективисты¹⁾. Являясь, с одной стороны, логическим продолжением теории австрийской школы, пасовавшей до последнего времени перед проблемой денег, номинализм, с другой стороны, имеет общие корни с теорией относительной ценности Бэйли. «Ценность не означает, следовательно, ничего положительного или внутренне свойственного (intrinsic) товару, а только отношение, в каком находятся два предмета как обмениваемые товары²⁾. Номиналисты также не признают ценности как качества, имманентного самой природе товара; ценность товара есть нечто относительное. Но если товарный фетишист Бэйли рассматривает ценность как отношение вещей к вещам, то психические фетишисты рассматривают ценность как отношение людей к вещам³⁾, как психическое состояние, вызываемое воздействием вещи на психику оценивающего субъекта.

¹⁾ Утверждение это, возможно, покажется несколько парадоксальным в отношении Кнаппа, но мы отбрасываем в данном случае от объективных юридических построений Кнаппа и подчеркиваем лишь те моменты, которые сближают его с, так сказать, «экономическими» номиналистами, и эти моменты, по нашему мнению, сводятся к глубокому психологизму Кнаппа в понимании хозяйственных явлений. Вряд ли нужно особо доказывать, что в понимании проблемы ценности и даже в понимании интервалютарного курса («Интервалютарный курс есть... явление психическое», Кнапп, *Staatliche Theorie*, 1923, S. 205). Кнапп является сторонником психической концепции хозяйства.

²⁾ Bailey, *Critical Dissertation*, p. 4, 5, цит. по «Теориям прибавочной ценности», т. III, стр. 119, изд. 1924 г.

³⁾ Обосновывая свое понимание ценности в § 20 «*Staatliche Theorie*» (Злосчастный параграф! Эпигоны хартализма стараются представить его как искусственное и неудачное построение Кнаппа, не имеющее будто бы никакой связи со всей его концепцией в целом), Кнапп ссылается на § 8 шопенгауэровской «*Grundlage der Moral*». «Каждая ценность есть сравнительная величина в двойном отношении: во-первых, ее относительность выражается в том, что она для кого-то (dann erstlich ist er relativ, indem er für jemandem ist), во-вторых, она сравнительна, будучи поставлена в отношении оценки с чем-то иным. Вие этих двух отношений ценность теряет всякий смысл и значение».

Из этой выдержки явствует, что номинализм склонен синтезировать представление о ценности, как отношении людей к вещам, с представлением о ценности, как отношении вещей к вещам (Бэйли). На деле же, как мы покажем в дальнейшем, номинализм знает только второе производное отношение, ибо основное отношение включает в себя звядку всеобщего эквивалента, вообще неопределимую для номиналиста.

«Ценность товара лежит не в вещах, но в человеческом представлении...»

Ценность вещей есть следствие рассудочной человеческой деятельности¹⁾.

«В политической экономии вообще не существует отношений между вещами, но только отношения вещей к людям.

Поэтому не может быть менового отношения между деньгами и благами, но только «отношения оценки», если можно так выразиться индивидуальные отношения каждого единичного человека к благам—с одной стороны, к деньгам,—с другой. Из этих отношений, заключающихся в сравнении полезности и издержек, вытекают экономические отношения людей...»²⁾.

Логическим следствием исходных посылок товарно-фетишистской и психической теорий относительной ценности является отождествление цены и ценности.

Утверждая, что меновая ценность есть отношение двух предметов, обмениваемых как товары, Бэйли в качестве исходного пункта берет «поверхностную форму, в которой меновая ценность проявляется как количественное отношение, в каком обмениваются товары»³⁾.

Номиналисты также исходят из готовой денежной формы товара. Проблема образования в сознании субъекта цен товаров есть в то же время проблема образования их ценности. Таким образом, ценность и цена возникают в результате одного и того же психического акта. Проблема ценности совершенно опускается и подменяется проблемой цен. Действительно, термины «ценность» и «цена» применяются в большинстве случаев номинализмом безразлично в одном и том же смысле.

Итак, связь между номинализмом и теорией относительной ценности Бэйли—несомненна.

Остановимся теперь в нескольких словах на связи номинализма с теорией австрийской школы.

Австрийская школа, исходящая из единичного индивидуального хозяйства, из столь излюбленных буржуазной экономией робинзонад, еще кое-как разрешала проблему непосредственного обмена благ. Но как объяснить явления обращения, явления денежного хозяйства, законы определяющие принципы ценности денег—этот вопрос австрийская школа до последнего времени пыталась обойти.

Действительно, если ценность товаров можно рассматривать как результат индивидуальной психической оценки, основанной на потребительных свойствах приобретаемого блага, то какую же потребительскую ценность имеют деньги, в результате каких субъективных психических состояний возникает в голове субъекта то или иное представле-

¹⁾ Bendixen, Geld und Kapital, 1912, S. 21.

²⁾ Liefmann, Geld und Gold, 1916, S. 101. Конечно, ни Бэйли, ни номиналисты не правы. Ценность товаров не есть отношение вещей к вещам или людей к вещам, но есть отношение людей к людям. В этом смысле приравнивая ценность товара свойства «абсолютной» ценности вовсе не означает, что ценность эта действительно абсолютна. Абсолютная ценность также относительна в том смысле, что она выражает отношение индивидуального рабочего времени к рабочему времени, общественно необходимому для воспроизводства данного товара. Но она абсолютна в том смысле, что бытие ее не зависит от определенных материальных свойств или количеств тех или иных товаров; ценность есть душа товара, меняющая свои телесные оболочки, меняющая свои формы проявления. В отличие от бесконечно многообразных относительных форм своего проявления, ценность, как общественная субстанция товара,—абсолютна.

³⁾ Теория прибавочной ценности, III, стр. 118, изд. 1924 г.

ние о ценности денег ¹⁾? Этот вопрос австрийская школа оказалась не в силах разрешить.

Такой столп теории предельной полезности, как Менгер, примыкает, напр., частично к металлистам; по Менгеру, ценность денег следует выводить из «ценности их материала и чеканки» ²⁾.

С точки зрения Менгера ценность денег обуславливается их потребительской ценностью как металла, но, в то время как потребительная ценность других товаров мимолетна и исчезает с переходом товара из сферы обращения в сферу потребления, потребительская ценность денег имманентно связана с их функцией как орудия обращения.

Таким образом, теория ценности металлических денег Менгера дуалистична: с одной стороны ценность металлических денег выводится из технико-потребительских свойств металла, с другой из функций денег как орудия обращения. Еще более неудовлетворительно разрешение Менгером проблемы ценности бумажных денег. Вопрос о ценности бумажных денег он просто обходит и лишь в одном месте ограничивается замечанием, что ценность бумажных денег, «подобно всем другим имущественным бумагам, находящимся в обращении, вытекает из ценности прав, связанных с владением» ³⁾.

Здесь ценность выводится из другой ценности, также нуждающейся еще в объяснении и определении, экономическое понятие выводится из понятия правового.

Разрыв между теорией бумажных и металлических денег обнаруживает слабость аргументации Менгера, рассматривавшего через психологическую призму деньги не как абстрактную счетную единицу, но как товар.

Вопрос же о том, как из субъективных опосредствованных оценок товаров (ибо в товарно-денежном хозяйстве между субъектом и объектом стоят деньги) возникают объективные цены, не зависящие от индивидуального отношения хозяйствующих субъектов к вещам, но, напротив, определяющие психическую оценку вещей, — этот вопрос Менгер также разрешить оказался не в силах.

«Знание цен для акта оценки настолько же необходимо и достаточно, насколько излишне и бесполезно пользоваться единицей ценности (для измерения ценности благ.—Г. Д.)» ⁴⁾. Но разве это признавание не означает банкротства психической концепции Менгера, связанной с товарным пониманием денег, как блага, перед проблемой образования цен?

В такой же *circle vicieux*, как и Менгер, попадают Бем-Баверк и другие теоретики австрийской школы. Так, Бем утверждает, что величина субъективной меновой ценности зависит: 1) от объективной меновой силы вещи, 2) от характера и размера потребности и от имущественного положения собственника ⁵⁾.

¹⁾ «Потребительная ценность золота как орудия обращения есть само обращение» (Маркс, К критике..., 1923, стр. 108).

²⁾ K. Menger, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, 1923, S. 260.

³⁾ Menger, *ibid.*, S. 260.

⁴⁾ Там же, S. 297.

⁵⁾ Австрийцы, также как и номиналисты, хотя и исходят на словах из чисто-психического субъективного понимания хозяйства, незаметно для себя примешивают к своей концепции элементы «социальных», объективных. Подобно Менгеру и Бем-Баверку, номиналист Лифман индивидуальную психическую оценку благ ставит в зависимость от объективно существующих денежных цен товаров.

Таким образом, теория денег и ценности их у австрийцев развита весьма неудовлетворительно и представляет наиболее уязвимое место в системе австрийской школы.

«На теории денег австрийской школы яснее ясного видна полная теоретическая бесполезность всей конструкции, ее полное теоретическое банкротство»¹⁾. В рамках настоящей статьи, мы не можем подробнее остановиться на теории ценности денег в трактовке австрийской школы. Укажем лишь на то, что неспособность психологического направления в политической экономии связать свою концепцию с явлениями денежного обращения вызвала среди некоторых сторонников школы сомнение, насколько вообще теория предельной полезности приложима к теории денег. Уже Визер выразительно указывает на зияющую брешь в теории австрийской школы. Вискель же высказал взгляд, что понятие предельной полезности применимо только для объяснения отношений, вытекающих между непосредственно обмениваемыми товарами; что же касается отношения, в котором обмениваются деньги и товары, то она вообще его не в состоянии объяснить²⁾.

Пытаясь вывести австрийскую школу из того тупика, в который она зашла, номинализм прежде всего решительно отвергает менгеровскую концепцию товарной природы денег. В самом деле,—не трудно видеть, что признание за деньгами свойства товара находится в непримиримом противоречии с теорией предельной полезности и неминуемо должно привести к эклектизму и внутренним неувязкам. Отрицая субстанциональную ценность денег и их товарную природу, номинализм последовательно развивает психическую концепцию хозяйства в теории денег—и в этом смысле логически завершает теорию австрийской школы.

В «Критике политической экономии» Маркс дал исчерпывающую и глубокую критику теории «идеальной единицы денежной меры», возродившейся в XX в. под именем номиналистической теории. Какие объективные явления хозяйственной жизни составляют подпочву системы номинализма, где ее экономические корни? Нам кажется необходимыми подчеркнуть здесь три момента:

1) Если номиналисты той эпохи, когда короли портили монету, стараясь собрать в свои тигли ее излишний жир, обосновывали свои взгляды на факте исторически только еще намечавшегося расхождения между функцией мерил ценности и функцией орудия обращения, то номиналисты XX в. берут в основу своей теории законченную форму этого расщепления денег—бумажные деньги.

Известно, какое сильное влияние на номиналистов (в значительной мере также и на Гильфердинга, Туган-Барановского и др.) оказало существование бумажно-денежной системы в Австрии. Неспособность товарной металлической теории денег объяснить явления бумажно-денежного обращения повела к другой крайности—к стремлению набросить бумажно-денежный покров на сущность денег, в основу

¹⁾ Н. Бухарин, Политическая экономия рантье, 1923 г., стр. 96.

²⁾ Ср. Wickseil, Geldzins und Güterpreise, 1898, IV, 16. Столь же пессимистично высказывается Гельферих. Мизес же, напротив, ошибочно полагает, что к обеим оценкам денег, основанным на «реальном» и «циркуляторном»,—выразились факторами Кнаппа,—свойствах денег, в равной мере может быть применена теория предельной полезности (Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufmittel 1904, S. 101).

своей являющихся материальными сгустками общечеловеческого труда.

Из того, что деньги в известных своих функциях могут быть заменены знаками, номинализм делает вывод, что деньги по самой своей сущности суть только знаки и не могут выводить своей ценности из своей природы, как товара. Противопоставляя деньги товару, как два полюса, взаимно друг друга исключающие, номиналисты от- казываются понять, что противоречия товара могут быть разрешены деньгами лишь в том случае, если сами они являются товаром. *Nemo contra Mammon nisi Mammon ipse.*

2) Другой момент, помимо роста бумажно-денежного обращения во всех капиталистических государствах — беспримерное развитие международных и внутрихозяйственных безденежных расче- тов, жиро-оборота. Обособление денег в символической форме своего существования совершается на более высокой ступени соци- ально-экономического развития, характеризующейся ростом и укре- плением кредитных связей.

Насколько быстро развиваются безденежные расчеты в эпоху монополистического капитализма, в эпоху мощного роста банковских капиталов и банковских операций, показывают следующие данные:

ОБОРОТЫ РЕЙХСБАНКА ¹⁾ (в МИЛЛИАРД. ЗОЛОТ. МАРК)

	1891	1913
По жиро-обороту	81,1	379,2
По расчетным сделкам	17,6	73,6
Всего.	98,7	452,8
Наличные расчеты в процентах к общему обороту.	24,7%	9,6%

Таким образом, роль наличных расчетов за 22 года пала в 2½ раза. И то нужно отметить, что в Германии безденежные операции развились слабее, чем в Англии и С. Штатах.

В С. Штатах в 1871 г. платежи с помощью наличных банкнот и металлических денег производились только на 12%, а на 88% — с по- мощью чеков и векселей. В 1881 г. всякими безналичными операциями погашались уже 92% всех платежей, потом в дальнейшем процент этот еще увеличился...

О развитии безналичных операций во время войны богатый ма- териал дает Англия. Обороты по взаимным расчетам лондонских и провинциальных банков составляли:

1914 г.	14.665 млн. ф.
1915 »	13.408 » »
1916 »	15.275 » »
1917 »	19.121 » »
1918 »	21.198 » » ²⁾

Но кредитные документы, являющиеся орудиями безденежных операций—вексель, чек, перевод в различных их формах и видах, — выступают на первый взгляд только как идеальные комплексы абстрактных счетных единиц. Развитие в мировом хозяй- стве безденежных расчетов невольно наталкивает буржуазного эко- номиста на мысль о том, что и деньги, по самой своей сути, не более,

¹⁾ По данным Шульце-Генерница, *Die deutsche Kreditbank, Grundriss der Sozialökonomie*, V Abt., II Teil: Bankwesen.

²⁾ Я. М. Курман, *Безденежные расчеты*, Финансовое Издательство, Мо- сква 1927 г., стр. 33, 34.

как абстрактные счетные единицы, в которых измеряется ценность товаров и услуг. И, по нашему мнению, далеко не случайно то, что виднейший представитель «экономического» номинализма, Бендиксен, был в то же время крупным банковским деятелем.

Отсюда и идея возможности организации безденежного хозяйства, мировых контокоррентных расчетов, *comptabilité sociale*, по выражению Шумпетера, в развитии своем приводящая к идее работы денег. С другой стороны, так как кредитные отношения, вырастающие из стихийного капиталистического хозяйства, предполагают наличие организованной связи, известных соглашений между участниками платежного оборота, то развитие и рост безденежных расчетов вызывает у номиналиста представление о мировом денежном хозяйстве, как о грандиозной расчетной палате, и представление о деньгах, как о категории организованного общества. Обращение подменяется организованным обменом, денежная масса противопоставляется товарной «каше»¹⁾.

Таким образом, номинализм—не только бумажно-денежная, символическая, но и кредитная теория денег, нашедшая свое дальнейшее развитие и завершение в известной кредитной теории Наво.

Вот почему деньги растворяются номиналистами в понятии платежного средства, а последнее в свою очередь (мы попытаемся доказать это на примере Кнаппа) в понятие денег. Это то специфически новое, что привнесено номиналистами в теорию «единицы денежной меры», развивавшейся в свое время Бэрклин, Лаундсон, — Джемсом Стюартом и т. д.

3) Наконец, третий момент, связанный с развитием монополистических тенденций в современном капитализме, это—наличие огра-

¹⁾ Наиболее ярко это выражено у Шумпетера.

«В самом деле,—пишет Шумпетер,—если бы вместо денег были введены свидетельства о производительных затратах, которые в то же время были бы притязаниями на производительный фонд народного хозяйства, и свидетельства эти были бы выпущены центральным бюро, то мы имели бы одну из возможных форм социальной счетной системы, *comptabilité sociale* по Solvay. И поэтому также и денежное обращение по своей сущности, по своей главной функции экономического обращения не что иное, как: 1) автоматическая, 2) чрезвычайно примитивная, подверженная бесчисленным недостаткам и нарушениям, счетная система» (Schumpeter, *Das Socialprodukt und die Rechenpfennige* in *Archiv für Socialwissenschaft und Socialpolitik*, 44 Band, 3 Heft, S. 637). Итак, единственным принципиальным отличием между знаками, выпущенными центральным бюро при организованном хозяйстве, знаками, непосредственно выражающими притязание на известную часть народно-хозяйственного потребительного фонда и современными деньгами, является более высокое совершенство первой системы перед второй! С вышеприведенной выдержкой из Шумпетера безынтересно сопоставить следующую цитату из Кнаппа: «Если мы при входе в театр отдаем на хранение пальто, мы получаем взамен дощечку (Platten) из определенного материала с каким-либо знаком, напр., номером. Эта «марка» имеет правовое значение: она служит свидетельством того, что я имею право вновь требовать сходное на хранение пальто. Отправляя письмо, мы наклеиваем на него марку, свидетельствующую о нашем праве, благодаря известному платежу, требовать от почты его отправления. Таким образом, «марка»—вполне подходящий термин и для движимых, оформленных, закладываемых вещей, находящихся в правовом порядке применения, независимое от своего материала» (Knaпп, *Staatliche Theorie*, 1923, S. 26). Сравнение денег с маркой, со свидетельством на определенное конкретное благо или услугу, показывает полное непонимание номиналистами сущности денег. Номерок от гардероба, почтовая марка и т. д. свидетельствуют о нашем праве предъявить известные требования к центральному органу, эти обязательства вытекают из «Рабочие деньги», олицетворяющие непосредственные трудовые затраты участников хозяйства, были бы такими марками, свидетельствующими о праве предъявления известного притязания к органу, распоряжающемуся общественным фондом. Но это отнюдь не относится к деньгам как таковым.

нической монополии в сфере ценообразования металлов. Отсюда представление о том, что не деньги получают свою ценность от золота и серебра, но, напротив, золото и серебро получают свою ценность от денег. Отсюда и своеобразная теория интервалютных курсов, сводящаяся к тому, что ценность золота и серебра определяется состоянием интервалютных паритетов, в свою очередь, обусловливаемого авторитарной экзодромической деятельностью государства¹⁾.

На этом мы ограничим наш чрезвычайно конспективный анализ экономических факторов, создавших благоприятную почву для пропаганды номиналистических идей и перейдем к прямой нашей теме — постановке проблемы ценности денег в теории номинализма.

* * *

Отрицая товарную сущность денег, номиналисты последовательно приходят к отрицанию за деньгами ценности. Это вытекает уже из психической концепции номиналиста, согласно которой ценность выстает из оценки предмета субъектом как потребительного блага.

Но так как деньги — не потребительное благо, так как сущность их — не материальная субстанция, но абстрактная счетная единица, то невозможно и установление самостоятельного ценностного отношения между деньгами и людьми²⁾. Проблема ценности денег или совершенно элиминируется (Киапп), или находит себе разрешение в попытках вывести ценность денег из ценностных отношений всего противостоящего им товарного мира (Зиммель, Шумпетер, Бейдиксеи). Однако, не признавая за деньгами самостоятельной ценности, номиналисты видят себя вынужденными признать свой взгляд с тем реальным фактом, что деньги все же измеряют ценности товаров. Но как можно измерять какое-либо свойство, общее двум предметам (в данном случае ценности) телом, которое этим свойством

¹⁾ Вопрос этот детально разработан в статье А. Б. Эйдельман «Номиналистическая теория денег и монополистические тенденции» («Социалистическое Хозяйство» кн. IV, 1926 г.). Следует, впрочем, заметить, что противоречивость в экономической структуре капитализма вызывает противоречивость и в номиналистической теории интервалютных курсов. В международных расчетах выступают не только кредитные документы, гласящие на идеальные счетные единицы, но и золото, служащее для погашения сальдо по расчетным балансам. Можно даже сказать, что в эпоху монополистического капитализма деньги практически выступают по преимуществу в функции мировых денег. Отсюда, на ряду с идеей возможности идеального существования денег в форме конторрентных расчетов, представление о деньгах на мировом рынке как о товаре. Киапп не замечает, что то обстоятельство, что на мировом рынке товарная сущность денег прорывает свою символическую оболочку, свидетельствует о коренном различии между деньгами и маркой. Деньги — если бы они были только марками — могли бы представлять какую-либо ценность за границей только в силу соглашения правительства, только в случае установления интернациональной денежной системы, подобной международному почтовому союзу.

²⁾ «Вопрос о ценности денег не подлежит рассмотрению в современном учении о деньгах. Если ценность понимается как покупательная сила, то дело о действительности идет о цене, а не о ценности денег. Если же говорить о субъективной ценности денег, т.е. о психологической оценке денег индивидуумом, то опять-таки совершают ошибку, ибо такая психологическая оценка практически не существует; она существует только в системах теоретиков ценности. Так называемая оценка (Wertschätzung) денег — не что иное, как оценка благ, которые я могу добыть посредством денег. Никто не воспринимает ценности денег, как ценности, независимой от цен благ» (Berdixen, Geld und Kapital, 1920, S. 30).

не обладает? В самом деле, можно ли измерить длину всех предметов телом, не обладающим свойством протяженности? Человека, который извлял бы железяке измерить известный промежуток времени не самим, а аршинами, сочли бы душевнобольным. Но как отнестись к номиналистам, считающим возможным измерение ценности двух предметов субстанцией, лишенной ценности?

Hic Rhodus, hic salta. И нужно сказать, что, несмотря на признание теории пропорционального измерения, теории измерения отношениями, номинализм при этом головоломно прижале расширяет себе лоб.

Еще Иоанн Буридан в труде, выпущенном в 1489 г. «*Questiones super decem libros ethicorum Aristoteles ad Nicomachum*» утверждал, что для измерения предметов вовсе не всегда обязательно пользоваться вещами, обладающими теми же свойствами, что и измеряемые предметы. «Унц измеряет тяжесть, четверть—бочку вина, локоть—платок и т. д. Об этом говорит Аристотель в десятой книге своей «Метафизики». Эти меры суть одного свойства с измеряемыми вещами... Иначе обстоит дело с измерением по подобию отношений. (Курсив мой.—Г. Д.). Напр., движение можно определить как пространством, так и временем, ибо, если движение а совершается за время b, а движение с за время d, то мы заключаем: $a : b = c : d$ или, переставляя члены пропорции, $a : c = b : d$. Если время b вдвое больше времени d, то и движение а вдвое больше движения с.

Равным образом можно привести пример, когда движение измеряется пространством. Итак, я утверждаю, что человеческая потребность измеряет предметы обмена по подобию пропорций, а не путем количественного их сравнения»¹⁾.

Таким образом, для того, чтобы измерить относительное значение двух величин, нам вовсе нет надобности их непосредственно измерять масштабом того же свойства. Последнее было бы необходимо только для измерения абсолютной величины; для нашей же цели достаточно знать отношение двух других величин, качественно отличных от первых двух, но сопряженных с ними известной функциональной зависимостью.

Из современных номиналистов наиболее оригинально обосновал теорию «пропорционального измерения» ценности благ Георг Зиммель.

Остановимся несколько подробнее на аргументации Зиммеля. Зиммель ссылается на известный психофизический закон Вебера и Фехнера (в то время как сила ощущений растет в арифметической, величина раздражений растет в геометрической прогрессии). Здесь относительная величина ощущений измеряется не непосредственным их сравнением, но в порядке пропорциональной связи с отношением раздражений. «Сравнивать количества различных объектов можно только тогда, когда они качественно однородны; таким образом, там, где измерение могло происходить только путем непосредственного сравнения двух количеств, предполагается их качественное равенство. Но там, где измеряется изменение, разница или отношение двух количеств, там достаточно, чтобы пропорции измеряющих субстанций отражались в пропорциях измеряемых; этого вполне достаточно для полного определения последних, и здесь вовсе нет надоб-

¹⁾ Цит. по Karl Diehl и Paul Mombert, *Ausgewählte Lesestücke zum Studium der politischen Ökonomie*, IV Bd., I Abt., S. 41, изд. 1923 г.

ности в каком-либо качественном равенстве измеряющих и измеряемых субстанций»¹⁾.

Рассмотрим доводы Буридан и Зиммеля.

Прежде всего о движении. Движение происходит во времени и пространстве. Измерить движение можно поэтому и временем и пространством. Возможность измерения дана уже самим объективным фактом реального единства движения, времени и пространства. Движение вне времени и пространства есть *contradictio in adjecto*, чистейший абсурд. Буридан, собственно говоря, имеет в виду не измерение движения, как такового, в единицах движения, но измерение временем отношений пространства, пройденного движущимся телом.

Возможность измерения отношений пространства отношениями времени обусловлена наличием известной закономерной связи между этими—качественно отличными—пропорциями; закономерность же эта базируется, как мы уже указывали, на том, что как отношения пространства, так и отношения времени суть различные стороны одной и той же субстанции—движения. Мы имеем здесь различия в единстве.

Обратимся к психофизическому примеру Зиммеля.

Для идеалиста Зиммеля явления душевной жизни подернуты, конечно, мистической оболочкой, являются чем-то субстанционально отличным от явлений материального мира. Для Зиммеля материальные движения и явления сознания суть «наиразличнейшие из вообще известных нам объектов; это—два полюса мира, взаимная, редукция которых не удалась ни метафизике, ни естествознанию»²⁾.

Зиммель не понимает того, что отношения раздражения только потому могут измерять отношения ощущения, что между теми и другими существует некая закономерная связь, обусловленная тем, что как ощущения, так и раздражения являются формами одной и той же субстанции—материи. Возможность измерения относительной величины ощущений в пропорциях раздражений дана уже тем, что в природе объективно, реально существует закономерная связь между изменениями величины ощущения и изменениями величины раздражения—первой величины как функции второй. Никому не придет в голову измерять отношения мощности турбогенераторов отношениями количества ботинок или отношениями количества с'еденных пирожных, так как между этими рядами никакой зависимости нет.

Какая же закономерная связь существует между деньгами—измеряющей субстанцией и ценностью товаров? Посмотрим, как подходит к этому вопросу Зиммель.

Исходя из предпосылок количественной теории³⁾, Зиммель выдвигает следующий постулат: «Если товар по отношению к сумме *A* всех продаваемых товаров, как *a* денежных единиц к

¹⁾ Georg Simmel, *Philosophie des Geldes*, 1920, S. 103.

²⁾ Там же, S. 89, 1900 г.

³⁾ «Мы предполагаем наличие всеобщего отношения измерения (*Massverhältniss*) между количеством благ и количеством денег, как оно проявляется зачастую скрытой и богатой исключениями зависимости между растущим запасом денег и поднимающимися ценами, между растущим запасом благ и падающими ценами (Simmel, *Philosophie des Geldes*, 1920, S. 104). Это эмпирическое восприятие количественной концепции чрезвычайно характерно для номинализма. Обе теории отрицают субстанциональную ценность денег, выводят ценность денег из ценности товаров, отождествляют ценность

сумме В всех имеющихся денежных единиц, то экономическая ценность p выражается через $\frac{a}{B^1}$).

В пропорции $p : A = a : B$, где p есть ценность данного товара, A —сумма ценностей всех товаров, a —цена товара, B —сумма цен всех товаров,—отношения ценности механически противопоставляются отношениям цен. Совершенно непонятно, какая реальная связь существует между ценностью и ценой, суммой ценностей и суммой цен, которая давала бы право измерять отношения ценности отношениями цен.

Этой связи Зиммель не указывает, да и не может указать, ибо общественного рабочего времени действительной субстанции обоих отношений он не понимает.

Правда, пытаясь заполнить эту зияющую брешь, Зиммель находит, что «для того, чтобы количественные модификации денег служили индексом для измерения количественных модификаций товаров (ценностей), достаточно, чтобы обе эти категории играли известную роль для человеческой жизни внутри ее практической системы целей»²⁾.

Такая формулировка чрезвычайно туманна и решительно ничего не объясняет.

Но Зиммелю следует преодолеть еще одну трудность. Обычно, при относительном измерении двух величин в порядке пропорциональной связи с двумя иными, качественно отличными от первых двух,

и цену и ограничивают поле своего исследования проблемой изменения цен товаров, обходя кардинальнейший вопрос об образовании цен.

Под утверждениями Бендиксена, что ценность денег есть только рефлексивная ценность, дериват всех известных нам цен, подписируются обеими руками и общественники.

Особенно ярко связь между номинализмом и количественной теорией сказывается у Шумпетера. Так же как и Бендиксен, Шумпетер считает, что ценность денег или, иначе, «покупательная сила единицы дохода» выводится из ценности всех противостоящих им товаров.

«Ценность денег не может быть обозначена иначе как покупательная сила единицы дохода, которая не покоится ни на меновой, ни на потребительной ценности. В основе же понятия покупательной силы лежит понятие цены: покупательная сила предполагает цену» (Schumpeter, *Socialprodukt und Rechenplanmäßigkeit* in *Archiv für Socialwissenschaft und Socialpolitik*, 44 Band, 3 Heft, S. 651). Зато имеется варварское смешение ценности и покупательной силы денег, ценности и цены товара. Введением категории денежного дохода Шумпетеру так же не удается спастись от ошибок количественной теории, как до него не удалось это Визеру.

В каком же отношении находится сумма денежных доходов к сумме цен всех товаров?

«Сумма цен всех потребительных благ находится в состоянии стационарного (!) равновесия с суммой цен всех произведенных благ. Обе же эти суммы поровну равны сумме всех денежных доходов» (Там же, стр. 625). Не трудно видеть, что если бы дело обстояло так, как рисует Шумпетер, не было бы никогда затруднений в сбыте товаров, не было бы кризисов. Поднимая денежное хозяйство меновым (а к этому сводится в конечном счете как номинализм, так и количественная теория), Шумпетер приходит к вульгарным пошlostям *principe de la Science*—Сн.

По нашему мнению, Шумпетер вполне правильно подчеркивает, что «основная мысль количественной теории не только терпима символической теорией, но она постулирует последнюю как ее более глубокое обоснование, как это указывал уже Милль» (Там же, S. 649). Последовательный номиналист должен быть количественником, последовательный количественник—номиналистом.

¹⁾ Simmel, *ibid.*, S. 106.

²⁾ Simmel, цит. по изданию 1900 г., S. 95.

величинами, последние выступают как неизменные, для данного случая вполне определенные величины.

В выражении же $p:A=a:B$, т.е. сумма цен всех товаров есть величина, меняющаяся буквально каждую минуту, зависящая от массы сложных и многообразных факторов. Одно это уже говорит против допущения возможности измерения пропорций ценности в пропорциях цен. Но остается еще одна загвоздка.

Каким образом A и B , сумма ценностей и сумма цен, величины, эмпирически совершенно не воспринимаемые, находят себе отражение в указанных пропорциях?

Зиммель и здесь пытается найти лазейку.

То, что мы эмпирически совершенно не представляем себе величин A и B , объясняется, по мнению Зиммеля, тем, что сумма цен и сумма ценностей, так как «изменения их не легко усваиваются нашим восприятием, не сознаются нами в свойственной им функции знаменателей. То, что интересует нас в каждом отдельном случае, это — исключительно числители p и a . Отсюда может возникнуть представление, что p и a сами по себе, непосредственно и абсолютно, соответствуют друг другу, для чего их сущность, во всяком случае, должна быть одинакова»... Причина этого та, что «в сознание к нам проникает только абсолютно индивидуальное, всеобщее же и фундаментальное остаются за порогом сознания. Между обеими этими крайностями движутся в многообразнейших проявлениях точки, к которым, как к сторонам общих явлений, приковано высшее сознание. Вполне определенно можно сказать, что теоретические интересы сознания обращены более на общую сторону, практические же — более на индивидуальность вещей»¹).

Согласимся на миг с аргументацией Зиммеля. Допустим, что процесс измерения ценности товаров есть процесс психический, опосредованный теоретическими интересами нашего «высшего сознания». Но как в действительности этот процесс происходит, каким путем происходит редукция индивидуального во всеобщее? На это Зиммель ответа не дает.

Отнести какое-либо явление к тому, что оно совершается за порогом нашего сознания, еще не значит объяснить явление. С одним только отрицательным признаком далеко не уедешь. Марксистская теория политической экономии также утверждает, что индивидуальное сводится во всеобщее за порогом человеческого сознания, но помимо этого она умеет объяснить тот реальный процесс, посредством которого совершается приравнение индивидуальных числителей единичных трудовых затрат к общему знаменателю — эмпирически не воспринимаемому общественному рабочему времени. Пропасть, вырваемая Зиммелем между товаром и деньгами, измеряемой и измеряющей субстанцией, переносится Зиммелем в человеческое сознание, но объявление загадки денежной формы, стоимости психическим феноменом еще не означает разрешения этой загадки.

Отрицание субстанционального равенства денег и товара приводит Зиммеля к невозможности объяснить историческое происхождение символических денег от товара. Хотя Шумпетер и утверждает, что историческое происхождение ценности денег лежит в ценности денеж-

¹ Simmel, *ibid.*, S. 106.

ного товара»¹⁾, но такое утверждение явно противоречит исходным посылкам номинализма.

Головоломный прыжок от товара к деньгам, от качественного количества к чистому количеству переносится здесь из плоскости чисто-логической в плоскость историко-генетическую. Если бы номинализму удалось благополучно совершить этот прыжок, тайна эквивалента была бы раскрыта. Историческая эволюция денег в сторону замещения их символами денег, денежными суррогатами, могущая быть понятой только исходя из правильного представления о взаимном соотношении функций денег, объясняется Зиммелем с точки зрения предельной полезности.

Однако, хотя деньги в своем развитии и стремятся получить характер чистого символа, но полностью достичь этого им не удается, ибо, по мнению Зиммеля, атом собственной материальной ценности заключенный в деньгах, необходим, в виду несовершенства нашего познания, не постигающего еще столь точного определения пропорций, чтобы субстанциональное равенство между измеряющим и измеряемым стало излишним.

Таким образом, Зиммель, вставший с огнем и мечом против тех, кто утверждает качественное равенство ценности и цены, денег и товара, сам пришел, хотя и в виде незначительной уступки «атому», субстанциональной ценности, к отрицанию идеального и абстрактного характера денежной единицы. Еще ярче банкротство номинализма в концепции Зиммеля обнаружится, если присмотреться внимательнее к его, ранее уже приводившейся формуле $n : A = a : B$. Так как общая сумма цен— B , несмотря на отклонении единичных цен от лежащих в их основе ценностей, всегда равна ценности всей товарной массы— A , то и $n = a$, т.е. ценность данного товара есть его цена.

Логический круг завершен! Стремясь доказать, что деньги не включают в себе ни одного атома ценности, т.е. что цены, как выражение идеальной счетной функции денег²⁾ и ценности товаров несоизмеримы, Зиммель на деле пришел не только к доказательству их несоизмеримости, но и их тождества. Прекрасная иллюстрация к нашему прежнему утверждению, что «логическим следствием исходных посылок товарно-фетишистской и психической теории относительной ценности является отождествление ценности и цены».

Проблема, поставленная Зиммелем, — каким образом деньги, не имеющие собственной ценности, могут измерять ценность товаров, каким путем совершается переход качественного количества — ценности к чистому количеству, абстрактному числу—деньгам, эта проблема представляет тот философский камень, в поисках которого номиналистические мудрецы неизбежно запутываются во внутренних логических противоречиях.

Возьмем к примеру Бендиксена.

¹⁾ Schumpeter, Das Socialprodukt und die Rechenpfennige. — Archiv für Socialwiss. und Socialpolitik. 44 Bd., 3 H., S. 64.

²⁾ А именно: к функции счетных денег сводится номиналистами вся сущность денег. Утверждение Каценеленбаума, будто бы «абстрактно-номиналистическое направление сводит сущность денег к их функции измерения ценности и растворяет в этой функции все остальные (Каценеленбаум. Учение о деньгах и кредите, Ярославль 1922, ч. I, стр. 29), представится нам неверным хотя бы уже потому, что номиналист, не понимая п.blems ценности, вытравляет из цены ее ценностную субстанцию.

Так же, как и у Зиммеля, деньги, по Бендиксену, не имеют ценности. «То, что мы называем ценностью денег, есть только рефлексивное представление, дериват всех известных нам цен»¹⁾.

Одновременно с тем, как производится оценка ценности одной вещи, высказывается суждение об отношении ее ко всем остальным вещам. Но одна ценность не определяется сама по себе, но определяется своим отношением к другим ценностям. Таким образом, мир ценностей есть необятная сеть ценностных отношений. Для сравнения нескольких отношений необходимо свести их к единой счетной единице. Каждый знает, каким образом поступают с большим числом дробей с различными знаменателями. Их приводят к общему знаменателю.

Дробь—не что иное, как отношение двух величин (числителя и знаменателя). Подобно тому, как путем приведения к общему знаменателю разрешаются отношения числителей к различным знаменателям и числители вступают в новое отношение с общим знаменателем, так и ценности отрываются от своих отношений друг к другу и приводятся к общему знаменателю, облегчающему взаимное сравнение неограниченного числа ценностей. Эту работу выполняю деньги...

«Деньги—это общий знаменатель всех ценностей»²⁾. Аналогия с приведением дробей к общему знаменателю не выдерживает критики. Прежде всего, совершенно непонятно, каким образом ценностные знаменатели в отношении ценности перевоплощаются в знаменатели денежных. Если мы возьмем приведение дробей к общему знаменателю, то ведь и общий знаменатель и все остальные знаменатели с о з м е р я е м ы, ибо они все выражают определенные суммы абстрактных числовых единиц.

Но в чем выражается соизмеримость ценностных знаменателей и общего денежного знаменателя? Напротив — денежный знаменатель—по Бендиксену—не заключает в себе ни одного атома ценности, есть абстрактное число; ценностный же знаменатель выражает известное качественное, а не абстрактное количество. С другой стороны —общий знаменатель соизмерим со всеми новыми числителями, образовавшимися в результате приведения дробей к общему знаменателю, ибо все они являются различными количествами одной и той же субстанции—числа. Этого не приходится утверждать, однако, относительно денежного знаменателя, ибо, по мнению Бендиксена, его субстанция—число, субстанция же ценностных числителей—ценность.

Насколько искусственен и противоречит действительности субстанциональный отрыв денег от товара, показывает то, что в другой статье «Vom Gelde als Generalnennner» (О деньгах как общем знаменателе) Бендиксен фактически отказывается от своих исходных посы-

¹⁾ Bendixen, Geld und Kapital, 1912, S. 16.

²⁾ Bendixen, ibid., S. 21, 22. Но если ценность возникает в результате психологической оценки, то непонятно, почему же существует «необозримая сеть ценностных отношений». Ведь не ставим же мы себя одновременно в отношение оценки ко всеми предметами. Психологическая точка зрения на образование ценности товаров, исповедуемая почти всеми без исключения представителями номинализма, рекламируемая ими, как продукт современной мысли Запада, на самом деле возвращает нас к средневековой метафизике иллюзионизма. Разве взгляды номиналистов на образование ценности не напоминают воззрения Беркли или Юма, не сводятся к декартовскому «cogito ergo sum»? Этот иллюзионизм, возмущенный у Юма до солипсизма, до растворения всего внешнего мира в «Я», так же, как и иллюзионизм ценности номинализма, находится в явном противоречии с миром, объективно существующим независимо от наших восприятий, с ценами, объективно существующими, независимо от того, как относятся к ним наша «оценивающая мысль» (der werfende Gedanke).

док и приходит к признанию субстанционального единства денег и товара.

«Представим себе, что деньги как платежное средство и единица ценности исчезли и все ценности выражаются в их отношении к другим ценностям—мыслить себе это позволительно, хотя вряд ли подобное могло бы действительно случиться. Тогда мы получили бы бесчисленное количество отношений или дробей с различными знаменателями. Один дает оценку своего платья в сапогах ($P/S = 5/1$), другой — в годовой зарплате ($P/Z = 1/7 = 0,143/1$). В этих случаях ценностным знаменателем для ценностного числителя—платья, служат в первом случае—сапоги, во втором—зарплата. Подобно этому и сельский хозяин может выразить ценность лошади в свиньях или телятах и наоборот. Но все эти отношения остаются друг с другом не сравнимы, пока их не приводят к общему знаменателю и последний не используют для выражения ценности всех остальных благ. Тогда могут избрать металл, напр., серебро, и выразить ценность благ в весовом количестве этого металла. Числитель платье отбрасывает знаменатель сапоги и принимает в качестве знаменателя 1 ф. серебра ($P/S = 2/1$); сапоги, по ценности составляющие $2/3$ ф. серебра, дают такое отношение: $S/P = 0,4/1$; лошадь относится к 1 ф. серебра как 10:1, свинья как 3:1 и т. д. Таким путем—с помощью общего знаменателя—1 ф. серебра—ценности всех благ приводятся в связь друг с другом и получившиеся таким образом пропорциональные числа ($2:0,4:10:3$) обозначают отношение ценностных числителей к общему знаменателю—фунту серебра, который, как единица ценности, обозначает число 1¹⁾. Основная ошибка в рассуждении Бендиксена та, что 1 ф. серебра—не общий знаменатель, но общепризнанная единица, всеобщий эквивалент. Эта единица есть только необходимая предпосылка для общего знаменателя. Это видно из следующих соотношений: отношение к 1 ф. серебра определяется: для сапогов как 2:3, для лошади как 10:1, для свиньи как 3:1; мы получаем, таким образом, дроби: $2/3$, $10/1$ и $3/1$. Приведя их к общему знаменателю 5, мы получим: $2/3$, $10/1$, $3/1$; отношение же этих величин будет соответствовать 50:15:2. Получившиеся же у Бендиксена числа: 2:0,4:10:3 еще не приведены к общему знаменателю, ибо среди них имеется десятичная дробь. Единица ценности—1 ф. серебра—образует здесь не число 1, но число 2.

На разобранный выше примере Бендиксен отлично показал, как с развитием меновых связей из случайной и единичной формы стоимости вырастает развернутая и всеобщая форма стоимости; но логического прыжка от ценностного знаменателя к абстрактному ему совершить не удалось, ибо 1 ф. серебра—не абстрактное, но качественное количество. Указанной цитатой Бендиксен опроверг сам себя: он показал, что деньги—отнодь не общий знаменатель, что «не деньги делают товары соизмеримыми»²⁾, во-первых, и что деньги не абстрактное но качественное количество, во-вторых.

Исходя из отрицания субстанциональной ценности денег, Бендиксен тщится доказать, что изменения в ценах товаров могут лежать на стороне только товаров, но не денег.

¹⁾ Bendixen, Geld und Kapital, 1920; статья «Vom Geld als Generalisimen». S. 26, 27.

²⁾ Маркс, Капитал, т. I, 1923 г., изд. «Пролетарий», стр. 51.

Если «ценность» денег есть только рефлексивное отражение ценности товаров, то для деловых калькуляций та или иная высота уровня цен — безразлична. «Для деловой жизни этот феномен (изменение цен. — Г. Д.) не существует. Подымающаяся или падающая ценность денег имеет значение только для денежно-кредитных операций и в колеблющемся ссудном проценте отражаются колебания ссудной цены денег... Меняющаяся покупательная сила денег есть только объект теоретических исследований, но не деловой калькуляции»¹⁾. Недавние факты из военной и послевоенной эпохи убедительно разбивают доводы Бендиксена.

Как раз именно в Германии в эпоху стремительного падения немецкой марки покупательная сила денег была не только объектом теоретических исследований, но и объектом самой прозаической деловой калькуляции. Вся биржевая игра на падении и повышении курса марки, все заключающиеся торговые сделки именно и имели спекулятивным объектом меняющуюся покупательную силу денег.

А в валютный дэмпинг, дававший возможность германской промышленности, несмотря на общий кризис народного хозяйства, несмотря на тяжелое положение широких масс, работать с полной загрузкой на мировой рынок, — разве этот валютный дэмпинг имел значение только для ссудных операций, разве он был безразличен для промышленного капитала?

Факты опровергают все те выводы, к которым приводит Бендиксена отрицание субстанциональной ценности денег.

Над проблемой эквивалента безуспешно бьется и другой видный представитель современного номинализма — Карл Эльстер.

По Эльстеру единица ценности есть количество, число; деньги — тоже число²⁾, но в то же время и «возможность участия в социальном продукте»³⁾. Но одно противоречит другому, так как «единица участия» (*Beteiligungseinheit*) не есть чистое количество, но качественно определенная реальная единица.

К этому приходит, впрочем, и сам Эльстер: «Единица ценности есть количество, есть число; но возможность участия есть субстанция, количественно выраженная через единицу ценности»⁴⁾.

Здесь Эльстер впадает в явное противоречие: деньги одновременно и чистое и субстанциональное количество!

Пытаясь вырваться из заколдованного круга внутренних противоречий, Эльстер вконец совершенно отказывается от отыскания связи между товаром и деньгами.

Проблема ценообразования, проблема вращающегося субъективного и объективного объявляется непостижимой. «От ценности, как субъективного восприятия, нет никакого моста к ценам, как объективному числовому выражению».

Такое заявление — по существу — обозначает признание полного банкротства теории номинализма перед загадкой эквивалентной формы стоимости.

* * *

Прежде чем приступить к постановке проблемы ценности денег в системе Кнаппа, следует задать себе вопрос: может ли эта система быть вообще предметом экономического анализа?

¹⁾ Bendixen, Geld und Kapital, 1912, S. 28.

²⁾ Karl Elster, Die Seele des Geldes, 1920, S. 46.

³⁾ Там же, S. 86.

⁴⁾ Там же, S. 95.

Такой вопрос, возможно, казался бы праздным, если бы у нас не было распространено представление о концепции Кнаппа, как о чисто юридическом, правовом построении. Ничего общего с хозяйственными явлениями, с теоретической экономией эта концепция, мол, не имеет. Таково распространенное мнение, к которому примыкает большинство критиков Кнаппа—металлисты, марксисты и даже некоторые номиналисты. С легкой руки Мизеса, разбившего все теории на каталлактические и акаталлактические, т.е. теории, включающие в себя явления обмена, и теории, совершенно игнорирующие последний и построенные на чисто-философских, юридических, этических и др. предпосылках; за теорией Кнаппа прочно утвердилось название теории акаталлактической. Номиналист Лифман отзывается о работе Кнаппа, как о «совершенно не экономическом, чисто-юридическом построении»¹⁾.

В другом месте мы встречаем у него такую—нелестную—характеристику кнапповской системы: «Идея Кнаппа—не экономическая теория, но не что иное, как ложные (falsch), т.е. только юридически обоснованные подтверждения правильных индуктивных и исторических наблюдений»²⁾.

С наименьшей силой обрушивается на Кнаппа и Блок, критикующий в своей книге денежную теорию Маркса. «Государственная теория денег, это—юридическая и историко-правовая, но не экономическая теория. Это явствует хотя бы из того, что учение о достоинстве (Geltung) денег заняло в кнапповском исследовании центральное место, в то время как центральной проблемой экономической теории денег—ценностью денег Кнапп совершенно пренебрег»³⁾.

Другой автор—советский исследователь—отрицает вообще за теорией Кнаппа какую-либо связь с номинализмом и предлагает рассматривать ее отдельно от экономических номиналистических теорий, как теорию чисто правовую.

«Экономическая формулировка у Кнаппа так беспомощна, что она вряд ли может претендовать на серьезное научное значение, к тому же мало вяжется со всей его системой... Это обязывает нас признать, что теории номинализма у Кнаппа нет. Его теория, по праву именуемая государственной, есть система платежных средств вообще и важнейшего из них—денег, в частности, под углом зрения государства, всестороннее определение зависимости между развитием платежного оборота и государством»⁴⁾.

Если бы дело и впрямь обстояло так, как это изображает выше поименованные авторы (в известной мере также и Гильфердинг), то от

¹⁾ R. Liefmann, Geld und Gold, 1916, S. 25.

²⁾ Там же, S. 19.

³⁾ Block, Marx'sche Geldtheorie, 1926, S. 62. Критика марксовской теории денег основана у Блока на следующем соображении: в теории денег Маркса следуют различать две теории денег: первая—философско-социальная—должна быть совершенно отвергнута, ибо «экономические категории не могут включать в себя философского содержания»; вторая экономическая теория денег. Таким образом позиция Блока диаметрально противоположна позиции Петри, который, также различая в теории Маркса две струи, считал правильной, однако, не экономическую, но социально-философскую теорию Маркса.

Возражения обоих критиков (точка зрения их близко напоминает возражения Струве, Штольцмана и др. также узревших у Маркса две теории), конечно, были мимо цели, так как основная посылка их—искусственный разрыв реального единства социальной формы и материального процесса производства—в корне ложна.

⁴⁾ А. Угаров, Государственная теория денег в разработке Кнаппа и попытка ее экономического обоснования в сборн. «Проблемы теоретической экономики», 1925 г., стр. 286.

попытки подвергнуть систему Кнаппа критическому разбору мы вынуждены были бы совсем отказаться. Критиковать можно только там, где имеются общие точки соприкосновения. Поскольку за теорией Кнаппа признается только юридическое, догматически правовое значение, постольку же и критика этой теории возможна только на почве права, и экономисту тут нечего делать. Систему Кнаппа следовало бы приравнять системе Штаммлера и подвергнуть ее обстрелу с высоты общесоциологических позиций диалектического материализма, отмежевываясь таким образом от области исследования марксовой теоретической экономии.

Такая интерпретация кнапповской теории представляется нам глубоко неверной и основанной в значительной мере на недоразумении. Отчасти виновен в этом и сам Кнапп, который всячески выпячивает правовую природу своей концепции и на каждом шагу открещивается от надоедливых попользований рыночной стихии. Это не мешает, однако, тому, что экономическая стихия, выгнанная Кнаппом из двери, незаметно для него врывается в окно — и этим обуславливается внутренняя противоречивость системы Кнаппа, порочный круг, в котором безнадежно запуталась пресловутая «железная логика» творца государственной теории денег¹⁾.

Нас в данном случае интересует не то, что теория Кнаппа есть государственная теория денег, но то, что это есть номиналистическая теория денег. Ударение на правопорядке и государстве вовсе не существенно для номинализма. Напротив — в этом отношении Кнапп близко сходится не с австрийской, но с исторической школой. Теории Рихарда Гильдебранда, Днля, отчасти Эльстера и др. свидетельствуют о том, что, исходя из историко-правовой точки зрения, можно прийти — последовательно или эклектически — к признанию субстанциональной ценности денег.

В книге Кнаппа экономиста интересует не учение о *valor impositus*, корни которого уходят в седое средневековье, но учение о номинальной единице ценности. В том-то и заключается своеобразие государственной теории денег, что Кнапп набрасывает на себя хартальный плащ для того, чтобы петь серенады под окнами номиналистов. Хартализм служит здесь для прикрытия логической путаницы, вытекающей из неспособности номинализма раскрыть тайну эквивалента.

Нас не занимает в данном случае вопрос, ставил ли Кнапп с особенной остротой перед собой эту загадку, пытался ли он разрешить ее или только ускользнул от нее; важно то, что мысль Кнаппа движется в орбите тех же противоречий в антитезе деньги-товар, в которых движется мысль Зиммеля, Бендиксена и Эльстера.

Под таким углом зрения мы и попытаемся — по необходимости чрезвычайно бегло — бросить ретроспективный взгляд на построение Кнаппа.

Вновь подчеркиваю: из того, что у Кнаппа теория ценности денег не развита, не оттенена, вовсе не следует, что у него вообще нет теории ценности денег.

¹⁾ Эльстер вполне основательно подчеркивает, что уже само понятие платежей и платежного средства, на которых базируется государственная теория денег — уже эти понятия, оставляя в стороне влияние, которое оказывает на денежные системы государство, имеют не только догматически-правовое содержание, но заключают в себе высокую важности экономические проблемы (Elster, Die Seele des Geldes, 1920, S. 2, 3).

«Учение о ценности денег здесь вырабатывается подсознательно, его не излагают открыто, его не продумывают, ибо, если его продумать последовательно, до конца, то в результате придется к сознанию внутреннего противоречия»¹⁾.

* * *

Уже в первой главе Кнапп сталкивается с трудной задачей: каким образом совершился переход от реального пензаторного²⁾ платежного средства, циркулировавшего в обороте на ранних ступенях человеческой истории к развитому идеальному платежному средству— деньгам; как совершился прыжок от качественного количества к чистому количеству, числу?

Мы уже упоминали, что для номинализма эта проблема неразрешима, ибо головоломное сальтомортаде от товара к деньгам, при котором номинализм расширяет себе лоб, здесь не устранивается, но только переносится из сферы чисто-логической в сферу историко-генетическую.

Утверждая, что в историческом генезисе своем платежное средство есть меновое благо и обязано своим возникновением меновому обороту³⁾, Кнапп вынужден на первых же страницах впасть в явное противоречие с самим собой. Циркуляторное свойство⁴⁾; конституирующее понятие платежного средства⁵⁾, только что признанное институтом социального оборота, превращается Кнаппом уже в историческом своем генезисе— в явление правопорядка⁶⁾. Следовательно, и само платежное средство есть явление правопорядка.

Итак, пензаторное платежное средство, наиболее древний и примитивный вид платежного средства, у Кнаппа— одновременно есть и меновое благо— явление социальной жизни, комплекс реальных единиц ценности и явление правопорядка, комплекс абстрактных счетных единиц, декретированных государством.

Для того, чтобы замазать это зияющее противоречие в определении основного понятия своей системы— понятия платежного средства и затушевать переход от реальной к номинальной единице ценности, объяснить который номинализму не под силу, Кнаппу необходимо из понятия платежного средства вытравить скрытое за ним обращение товаров, противопоставить его меновому благу. Достигается же это за счет того, что как пензаторное, так и более развитое платежное средство— деньги— растворяются в понятии правопорядка, меновое благо и скрытый за ним товарный оборот незаметно для читателя отрываются от платежного средства, с которым еще на стр. 3 они составляют единое целое.

Вместо же товарного оборота на сцену выступает долг, реально единичка ценности подменяется номинальной.

¹⁾ Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, 1924, S. 200.

²⁾ Платежная сила его определяется путем взвешивания.

³⁾ «Всеобщее меновое благо есть... институт социального оборота, есть бытие, получившее определенное применение в обществе сперва благодаря обычаю, а впоследствии благодаря праву» (Staatl. Theorie, S. 3). Таким образом, за правопорядком здесь признается лишь второстепенное, санкционирующее значение.

⁴⁾ Использование платежного средства для производства платежей.

⁵⁾ «Платежное средство есть... движимая вещь, могущая во всяком случае (jedenfalls) быть употребленной циркуляторно». (S. 6).

⁶⁾ «Циркуляторное применение есть явление правовой жизни, следовательно, уже автоматизм есть правовая конституция платежного средства» (S. 5).

Платежное средство об'является средством погашения долгов. Но ведь долги возникают в результате экономического оборота, т.е. в результате движения товаров. Платежное средство, как выразитель долгового обязательства, только потому и может гласить на единицы ценности, что товары еще до заключения кредитной сделки приравнивались к платежному средству, выражались в единицах ценности. Таким образом, Кнапп снова наталкивается на проклятый вопрос—«мене такел фарес» номинализма—проблему выражения ценности товаров в ценности денег и из этого капкана ускользает только, ловко заметая следы, подменяя экономический оборот товаров юридической фикцией долга, как чисто правового понятия, привлекая понятие государства и амфитропии¹⁾ членов платежной организации.

Итак, в противоречии с ранее выдвинутым положением о социально-экономической природе платежного средства, Кнапп вынужден для прикрытия логического прыжка от реальной к номинальной единице ценности признать, что развитие платежного средства совершается уже в недрах правопорядка, номинальность денежной единицы²⁾, государство, долги, платежное средство—суть категории логические.

Таким образом, Кнапп вынужден растворить платежное средство в деньгах, что приводит его в результате к явному абсурду: деньги существуют еще прежде, чем они возникли, ибо, если платежное сред-

¹⁾ Положение об амфитропии, т.е. о неизменном соотношении долговых обязательств при переходе к новой единице ценности, на котором Кнапп базирует номинальность литрических долгов и единиц ценности, представляется нам неверным по следующим соображениям: а) Вводя новую единицу ценности, государство непосредственно не декретирует новое денежное выражение платежных обязательств, величина последних в новых единицах ценности определяется рефлективно изменением цен товаров. Вот почему приспособление к новой денежной единице платежных обязательств всегда совершается с опозданием и неравномерно, в силу чего нарушается прежнее соотношение литрических долгов. б) Неправильно, будто бы каждого участника платежного оборота следует рассматривать одновременно как должника и кредитора. В процессе исторического развития целые классы и классовые группировки попадают в положение перманентных должников, другие—в положение перманентных кредиторов.

Государство обычно выступает как защитник или противник той либо иной социальной группы и стремится введением новой денежной единицы не поддерживать амфитропию, но подорвать ее и в значительной мере видоизменить соотношение платежных обязательств (английская денежная реформа в конце XVII в., пошедшая на пользу молодой английской буржуазии, выступавшей в качестве кредитора государства, военная и послевоенная инфляция и т. д.).

Стремление Кнаппа выставить государство, как некую надклассовую надстройку, высшая задача которой—сохранение в неприкосновенности платежного оборота, характеризует его как апологета буржуазии, стремящейся затуманить классовый характер государства. Столь же неверно и утверждение Кнаппа, будто бы творцом номинальной единицы ценности, силой, превратившей аморфное платящее средство в морфное хартальное—деньги, было государство. История денежного обращения показывает, что прежде, чем государство выступило как орган, прокламаторно определивший достоинство монет, их форму и т. д., эту приятную обязанность брали на себя (да и теперь берут в некоторых странах, напр., в Китае) либо организации, непосредственно возникавшие из экономического оборота, либо частные лица, пользовавшиеся авторитетом на рынке (ср. Ernest Babelon, *Les origines de la Monnaie*, Paris 1897, p. 95, 96 etc.; Helfferich, *Das Geld*, 1923, S. 39). Вмешательство государства нисколько не помогает Кнаппу совершить логический прыжок от реальной единицы ценности к номинальной, от денег—товара к деньгам—символу. Выставлять в качестве силы, создавшей деньги—государство, все равно, что об'яснять сотворение мира—богом.

²⁾ Номинальность единицы ценности, следовательно, и литрических долгов... будет существовать вечно; она связана с любой определенностью платежного средства» (курсив мой.—Г. Д.). S. 15.

ство при автометаллизме ¹⁾ есть явление правопорядка, если единица ценности и здесь номинальна, если она прокламируется государством, то в чем же его отличие от хартального ²⁾ платежного средства, т.е. от денег?

Ясное дело—здесь у Кнаппа концы не сведены с концами. Признание номинальности единицы ценности и при автометаллизме опрокидывает всю генетическую схему Кнаппа. Помимо противоречий в определении циркуляторного свойства и платежного средства, неспособность номинализма разрешить проблему ценности денег сказывается у Кнаппа в порочном круге в определении взаимоотношений между платежным средством и единицей ценности.

Определений платежного средства у Кнаппа три:

1) «Платежное средство есть... движимая вещь, могущая во всяком случае (jedenfalls) быть употребленной циркуляторно» (S. 6). Плохо скрытая тавтология! Что значит быть употребленным циркуляторно? Это значит быть употребленной как платежное средство.

2) «Платежное средство есть... движимая вещь, рассматриваемая правопорядком, как носитель единицы ценности» (S. 6). Новое в этом определении—понятие единицы ценности. Но что такое единица ценности? «Единица ценности для нас есть не что иное, как единица, в которой выражают величину платежей» (S. 7). Итак, великолепный порочный круг! Платеж выводится из единицы ценности, единица ценности—из платежа.

3) Наконец, на стр. 140 мы находим указание, что для понятия платежного средства «физическая передача вещей вовсе не необходима; достаточно юридического перенесения требований, выраженных в единицах ценности и обращенных к центральной кассе». Не говоря уже о неправомерности этого определения по существу³⁾, здесь опять-таки конституирующим моментом является номинальная единица ценности, в свою очередь выводимая из платежного средства.

Итак, сфинкс эквивалентной формы стоимости, загадку которого Кнапп разрешить оказался не в силах, отмстил—и отмстил жестоко—уже в первой главе в следующих пунктах:

- a) противоречие в определении циркуляторного свойства;
- b) противоречие в определении платежного средства;
- в) порочный круг в определении взаимоотношений платежного средства и номинальной единицы ценности.

В указанных противоречиях, обусловленных непониманием связи денег и товара, заключается *in nuce* все противоречия кнапповской системы, развертываемые и дальше при построении генетической и функциональной схем.

За недостатком места мы не можем входить в детальное рассмотрение обеих схем с точки зрения развития указанных основных противоречий, вытекающих из номиналистической концепции проблемы ценности денег у Кнаппа.

¹⁾ Автометаллизм по Кнаппу—такая система платежного оборота, когда в качестве платежного средства функционирует металл.

²⁾ От слова *charta*—марка, что обыкновенно означает документ, сила которого не зависит от материала, послужившего для его изготовления.

³⁾ По следующим соображениям: а) Сущность платежа составляет не юридическое перенесение требований, но именно физическая передача вещей: Кнапп делает здесь ту же ошибку, что и Шумпетер, представляя себе денежную систему, как счетную систему, *comptabilité sociale*. б) Под это определение не подходит деньги, циркулирующие одновременно в двух или больше государствах—по терминологии Кнаппа—синхартальные деньги.

Укажем лишь на то, что попытка Кнаппа в иалчных деньгах—первичном звене в развитии хартального платежного средства—перебросить мостик от реальной единицы ценности к номинальной кончается крахом. Перехода от пензаторного к хартальному платежному средству у Кнаппа нет.

Что же касается фуикциональной схемы, схемы, характернзующей современную конституцию платежных средств, то, стремясь все же, несмотря на многочисленные противоречия, доказать, что деньги—суть создание правопорядка, что сущность их—номинальная единица ценности, Кнапп первым делом сбрасывает за борт неудобный для него балласт—акцессориые деньги ¹⁾.

Акцессорные деньги признаются товаром.

Но так как деньги не могут иметь ценность ²⁾, так как они не могут быть товаром ³⁾, то, будучи последовательным, Кнапп должен был притти к отрицанию акцессорных денег, как денег, т.-е. к разрушению функциональной схемы. Остается последняя твердыня,—валютарные деньги ⁴⁾, в которых, как в фокусе, сконцентрировались все номиналистические лучи кнапповской системы. По мнению Кнаппа, валютарные деньги, в противоположность акцессориым, не могут иметь ни ажио, ни днзажио, не могут быть товаром, не могут обладать ценностью ⁵⁾.

Но как можно говорить об измерении ценности акцессорных денег валютарными, если последние не обладают ценностью? Сам Кнапп впадает в явное противоречие, признавая, что серебряные гульдены были менее ценны, чем бумажные гульдены (бывшие тогда в Австрии валютными деньгами) ⁶⁾.

Если серебряные гульдены были менее ценны, чем бумажные, то бумажные были более ценны, чем серебряные. Но как можно говорить что бумажные гульдены—валютарные деньги—более ценны, чем серебряные, отрицая за ними свойство ценности?

В такое же противоречие впадает Кнапп, подразделяя переходы к новым валютарным деньгам на поднимающиеся (steigend) и падающие (sinkend). Понятия «поднимающиеся» и «падающие» предполагают сравнение старых валютных денег, ставших теперь товаром, и новых, являющихся по мнению Кнаппа, комплексом абстрактных счетных единиц. Сравнение старых и новых валютарных денег, дающее Кнаппу

¹⁾ Все виды денег, которые государство не навязывает получателю при своих платежах и которые получатель не может требовать исключительно. Характерно, что в основе функциональной схемы (которую Кнапп искусственно отгораживает китайской стеной от генетической схем) лежат только центрические платежи, т.-е. обязательства, одним из субъектов которых обязательно является государство.

Элиминирование парацентрических платежей как «складывающихся сами собой» (!) (какая же тогда может быть связь между номинальной единицей ценности и частными обязательствами?) характерно для Кнаппа. Не будучи в силах раскрыть тайну эквивалента, Кнапп вынужден замыкать себя в круге организованного государственного хозяйства, от реальных платежных отношений, за которыми скрыто обращение товаров, от мира цен и рыночных отношений, гибельных для номинализма, Кнапп вынужден, подобно страусу, прятать голову в песок сухих формальных схоластических схем, поднимающих неорганизованное хозяйство организованным, обращением—обменом, в логическом своем развитии ведущем к идее безденежного хозяйства, к идее мировых контокоррентных расчетов.

²⁾ S. 25.

³⁾ S. 143.

⁴⁾ Деньги, которые государство навязывает при свдих платежах и которые получатель может требовать.

⁵⁾ S. 151.

⁶⁾ S. 152.

возможность утверждать, что новые валютарные деньги выше или ниже старых, предполагает субстанциональное равенство обоих видов денег. Можно было бы указать еще на одно противоречие в построениях Кнаппа: так, в главах о выборе валютарных денег, переходе к новым валютарным деньгам и пр., Кнапп фактически возвращается в пределах порочного круга—номинальная единица ценности выводится из цен, уже гласящих на номинальные единицы ценности¹⁾.

Основной стержень всех указанных выше противоречий, указание по необходимости—чрезвычайно сжато и конспективно—отрицание субстанционального единства денег и товара, отрицание ценности денег, как свойства, имманентного самой природе денежного товара.



¹⁾ Сам Кнапп признает, что obstructивный переход к новой валюте, т.е. переход, вызываемый «затоплением» (stauung) государственных касс аксессуарных деньгами—наиболее обычный (allergewöhnlichsste) переход. Явления же stauung аксессуарных денег вызываются рыночными, патологическими моментами, замкнут от цен. Итак, судьба валютарных денег, следовательно, и судьба номинальной единицы ценности, зависят от цен, цены же, в свою очередь, гласят на номинальные единицы ценности.



Социологическое обоснование эстетики.

Л. Зивельчинская.

1.

От художников и поэтов нередко приходится слышать презрительные отзывы о художественной критике и эстетике. Теодор Фонтане утверждает: «Суждение тонко воспринимающего дилетанта почти всегда ценно, суждение ученого эстета чаще всего ничтожно». Эти слова должны служить серьезным предостережением для всякого исследователя эстетических проблем. Когда эстетика теряет контакт и взаимное понимание с поэтом, художником, актером, то труд его более чем на половину, если не целиком, потерян, не оправдан.

Все науки порождены какими-либо общественными потребностями. Естественные науки развиваются вместе с развертыванием материальных производительных сил общества или борьбы общественного человека с природой. Общественные науки создаются в процессе борьбы общественных классов. Какую же потребность удовлетворяет эстетика?

Если поверить Канту, то эстетика не может углубить и утончить эстетических суждений. Это суждение было бы правильно, если произносящий эстетические суждения не имеет достаточного наглядного знакомства с многообразнейшими формами искусства. Эстетика бесполезна для человека, не имеющего богатого и разнообразного художественного опыта. Акушерская наука может помочь, когда родился новый организм в материнском теле. Эстетика может содействовать уяснению и организации уже наличных, хотя спутанных и неясных, не осознанных художественных восприятий, их эстетика не только уясняет, упорядочивает, в этом ее практическое значение, но она их и объясняет, в этом ее теоретическое значение.

Поясню эту мысль наглядным примером. Зрительный зал 1 МХТ зимой 1927—28 года бурно рукоплещет превосходному спектаклю «Бронепоезд 14—69». Зритель обоих классов—пролетариата и буржуазии—взволнован, одни в смятении, другие в бурном восторге. Дело эстетики привести к сознанию, подвергнуть анализу все изгибы чувствований, мыслей, испытанных зрителем. Это исследование, проведенное надлежащим образом, объяснит, почему различные категории зрителей по-разному воспринимают и запечатлевают этот спектакль. Это же исследование может облегчить зрителю восприятие другого аналогичного художественного явления. Теоретический и практический интерес эстетического исследования, не совпадая, составляет единство.

Попутно скажу несколько слов о нормативном значении эстетики. Буржуазная наука, благодаря различным условиям, о которых здесь не может быть речи, питает склонность к выдумыванию особых специфических проблем. Пишутся сотни и тысячи страниц о том, есть ли и нужна ли нормативная эстетика? Такие размышления так же

праздны, как если бы заняться вопросом, мыслимы ли, нужны ли, существуют ли нормативные естественные науки, т.-е. допускают ли они активное воздействие общественного человека на природу? Если мы соответственно изменим этот вопрос по отношению к эстетике, то получится следующая постановка вопроса: может ли теоретическое эстетическое исследование влиять на характер и направление художественного творчества. Ответ на этот вопрос требует специального исследования, которым я в рамках этой статьи заняться не могу, но, предвосхищая этот ответ, скажу, что вся история искусства и истории эстетики неопровержимо доказывает теснейшее взаимодействие художественной практики и эстетической теории. Почему же эстетика, как наука, вынуждена преодолевать значительное сопротивление в различных кругах общества? Здесь возможно единственное объяснение: эстетика неудовлетворительно ставила и разрешала свои задачи. Но разве мало хороших исследований посвящено обсуждаемому кругу вопросов? Нет, напротив, есть много интересных и ценных теорий: чувствования, изоляции, ценности, иллюзии и др. Все эти теории вопреки их взаимной борьбе и полемике верны, так как они освещают одну какую-либо грань эстетического сознания. Но все они не верны, так как они упираются только в одну из многочисленных сторон эстетического сознания. Из этого, разумеется, не следует, что совокупность, сумма всех упомянутых теорий, составляет истину. Нет, истина не достигается таким механическим путем. Все указанные теории должны быть пронизаны новым светом.

Все традиционные эстетические теории покоятся на описании, расчленении понятий и самоаблюдении.

Эстетика уже давно установила свой предмет. Уже Гердер выяснил в своей ожесточенной полемике против субъективной эстетики Канта, что эстетика исследует не только субъективно состояние зрителя и слушателя, воспринимающего искусство или красоту вне искусства, но и объективные свойства предмета, вызывающие то или иное состояние, переживание. Эту точку зрения с большой основательностью развил в немецкой эстетике берлинский профессор Макс Дескур—автор интересного труда по эстетике.

Но в чем состоят объективные методы эстетических исследований—остается открытым вопросом.

Сущность почти всех направлений современной эстетики метафизична, т.-е. антиисторична, нединамична. Если все эстетики со времен Канта и Шопенгауэра с одушевлением и восхищением выдвигают незаинтересованность и практическую бесцельность эстетического переживания, то этим обнаруживается непростительное пренебрежение к живой действительности. В самом деле, откуда известно, что эстетическое сознание греков времени Поликлета и Мироиа и религиозного городского населения, воздвигавшего готические соборы, лишено было заинтересованности и практической целеустремленности? Напротив, если бы таковы были факты, то такие мыслители и писатели, как Аристотель и Фома Аквинский, сообщили бы о них. Можно с уверенностью утверждать, что эстетическое сознание общества минувших эпох было несравненно более синтетично, целостно. Только буржуазное расколотое общество порождает расщепленные эстетические восприятия и переживания. Кантовский тезис о незаинтересованности эстетического суждения значим для классового и притом буржуазного общества.

Из антиисторической эстетической точки зрения следуют извратно и наивные суждения даже у выдающихся мыслителей-эстетиков.

Таж, например, У Иоганеса Фолькельта можно найти следующее суждение: «Особенно богаты таким комизмом живописцы эпохи рококо. У Ватто, Ланкре, Патера тонким комизмом дышит вся жизнь знатного общества. Под пастушескими нарядами влюбленного, изящного рыцарства плутовато выглядывает искусственность, поверхность и тщеславие такого образа жизни». Разве не ясно, что Ватто, его заказчики и его зрители не подозревали никакой искусственности в их образе жизни? Таким образом, Фолькельт переносит суждения XIX и XX столетий на общественное сознание XVIII века. Научным такое суждение нельзя назвать.

Эстетические суждения развиваются и дифференцируются вместе со всем общественным и классовым сознанием. Эстетика классики, созданная свободными гражданами греческого общества, членами командующего класса, и была, может быть, чужда рабам, обслуживавшим и работавшим на свободных гражданах¹⁾. Эстетика рококо была излюблена дворянским сословием XVIII века, но буржуазные круги, представителями которых были Дидро и Лессинг, Винкельман и Гердер, резко порицали произвольные завитушки и изобилие украшений рококо. Тогдашняя восходящая буржуазия заменила извивающиеся линии рококо прямыми симметричными линиями греко-римского классицизма—ампира. Изменение эстетических суждений протекает вместе с развитием искусства. Однако нельзя эту мысль сформулировать так: эстетические суждения определяют характер искусства, но также нельзя утверждать, что только искусство порождает те или иные эстетические суждения. Оба эти момента образуют нераздельное единство, целостность как форма и содержание в искусстве. Но примат в этом процессе, как и во всяком ином общественном и идеологическом процессе, принадлежит деятельности, практике, в данном случае художественной практике, т.-е. искусству. Поэтому в высшей степени целесообразна совместная работа историка эстетики и историка искусств.

Направления современной эстетики точно так же должны быть рассмотрены и объяснены во взаимодействии с различными течениями современного искусства и других отраслей идеологии.

Эстетическая теория изоляции могла возникнуть вместе с так называемым искусством для искусства, разумеется, с значительным опозданием. Все теории возникают значительно позже, нежели практика, которую они призваны осветить. Искусство для искусства уже стало фактом почти столетие. Между тем теория изоляции сравнительно недавно изобретена. Эта теория восходит своими корнями к таким новым течениям в искусстве, как новая романтика и символизм.

Драмы Ибсена не только изобилуют символическими образами, но их герои умышленно изолируют себя от действительности. Например, Пер Гюнт никогда не жалуется на нужду и убогие обстоятельства, в которых он родился и прожил свою молодость. Он полностью игнорирует внешнюю действительность, используя ее лишь как материал для кипучей деятельности своей необузданной фантазии. Разумеется, такая изоляция от действительности, такое пренебрежение объективным миром, такой неограниченный индивидуализм неизбежно ведет к трагическому завершению.

¹⁾ Было бы не вредно, если бы археологи и историки искусств задались вопросом, не имели ли рабы в греческом обществе какое-либо искусство помимо того, что они исполняли техническую и физическую работу при громадных сооружениях, возведенных, напр., Периклом, и во всякой художественной мастерской.

Герои пьесы Метерлинка «Синяя птица» — оба подростка, Тиль и Митиль — игнорируют в своей неутомимой погоне за счастьем за «синей птицей» жесткую действительность. Но, разумеется, нельзя при таких условиях добиться успеха в какой бы то ни было области. Мимоходом замечу, что пьесы Метерлинка имеют меньшую общественно-литературную ценность, нежели драмы Ибсена.

Некоторые зачатки теории изоляции можно усмотреть уже у Шиллера. В его утверждении «серьезна жизнь, радостно искусство» уже явственно конфликт художника с окружающей действительностью. Теория изоляции есть идеологическое выражение этого конфликта, этого разрыва между искусством и социальной действительностью. Заметим, что само наличие станкового искусства уже могло бы подать повод быть основанием для создания эстетической теории изоляции.

Теория иллюзионизма находится в такой внутренней связи с философией Файнингера *Als ob* (как будто бы), что оба эти явления можно пожалуй признать разветвлением одного ствола.

Теория иллюзионизма процветала вместе с расцветом искусства репродукции. Мы созерцаем кино-фильм, как будто бы мы смотрим театральный спектакль¹⁾. Мы слушаем граммофон или лучше радио, как будто бы мы были в концерте. Мы рассматриваем фотографические снимки различных произведений пространственных искусств — живописи, скульптуры и архитектуры, — как будто бы мы посетили все музеи и прекрасные города. Мы любимся в кино и фотографическими снимками дивных озер, снежных горных вершин и цветущих долин, как будто бы мы совершили далекие путешествия. Теория иллюзионизма находится в связи с расцветом суррогата искусства через механизацию его, или, скажем мягче, механической замены искусства. Для эстетического восприятия репродукции в самом деле нужнее «сознательный самообман», до известной степени²⁾.

Необходимо отметить, что уже Шиллер положил основы теории видимости. Шеллинг закутал мысли Шиллера об искусстве как видимости в туманные метафизические формулировки. Эта платоно-шеллерова-шеллингова мысль об искусстве частично принята школой Гегеля. Таким образом, теория иллюзионизма имеет уже старую традицию многих знаменитых предшественников³⁾. Эти обстоятельства не ослабляют значения вышеизложенных объяснений теории иллюзионизма, так как не существует новых теорий, не имеющих предшественников. Каждая новая мысль имеет какие-либо зародыши в прошлом. Во-вторых, вышеупомянутые мыслители рассматривали теорию видимости не с чисто эстетической стороны, а с точки зрения философии искусства. И, наконец, из прошлого вылавливают те моменты идеологии, которые в каком-либо сочетании могут нам образовать новый синтез, отвечающий потребностям современности.

Основатель теории иллюзионизма связывает судьбу и сущность своей теории с реалистическим направлением в искусстве. Он борется

¹⁾ Правда, сейчас намечается новое течение, которое склонно признать в кино главным образом монументальную живопись, а не суррогат театра.

²⁾ Этот термин принадлежит Конраду Ланге — основателю теории иллюзионизма.

³⁾ Сам Конрад Ланге еще перечисляет как своих предшественников, кроме упомянутых мыслителей, Лессинга, Моисея Мендельсона, Гете, Канта, Гегеля, Фишера, Фехнера, Гартмана, Грооса.

против символизма, примитивизма за реализм и решительно предостерегает против смещения реализма и натурализма. Здесь может возникнуть возражение такого рода: реалистическое искусство существует уже много столетий. Как случилось, что теория иллюзионизма возникла лишь на рубеже XIX и XX столетий. Реализм в искусстве до теории иллюзионизма преломлялся в эстетике—в теории подражания природе, как, например, у теоретиков ренессанса Леонардо да-Винчи, Вазари, Дюрера. Но потому и приходится связывать теорию иллюзионизма с расцветом репродукционного искусства, что она поглотила новые моменты художественной практики, каких не было в опыте теоретиков подражания природе.

Теория вчувствования связана, с одной стороны, с имманентной школой философии, согласно которой субъект и объект растворяются друг в друге. С другой стороны, новое искусство—я имею в виду искусство XIX и XX веков—охватывает различные общественные группы и круги. Приблизительно до XIX века художник и его заказчик жили в тесном контакте. Художник отчетливо знал своего заказчика, его потребности, интересы и вкусы. Искусство вполне выражало дух его потребителей и творцов. Художник XIX и XX веков творит для неизвестного рынка точно так же, как сапожная фабрика. Зрителем является более или менее культурный обитатель всех пяти континентов. Свой материал художник черпает из жизни разнообразнейших общественных кругов, из различных пластов культуры. Приведем несколько примеров. Когда рабочий, крестьянин, мелкий буржуа созерцает картины Менцеля из жизни Фридриха II, он должен мысленно переселиться в совершенно иную, чуждую среду. Он должен при внутреннем противодействии, т.е. без готовности апперцепции, представить себе чужую жизнь. Разве таково было положение нидерландской живописи XVII века? Разумеется, нет. В жизнь людей общественно и временно далеких, в чужую жизнь необходимо вчувствоваться, вжиться. В этом не нуждается искусство, которое претворяет жизнь, близкую зрителю—социально и идеологически.

Тут может возникнуть сомнение. В XVIII столетии были распространены и излюблены мифологические и вообще классические—греческие и римские—сюжеты. Такие художественные произведения так же доставляли тогдашнему зрителю чужой материал, как в настоящее время для европейца картины Гогена. Однако, когда Давид изображал своих отважных греков и римлян, то смысл его картин был ясен: «Французы, будьте смелы как римляне и боритесь мужественно и твердо за республику, за новую свободную жизнь». Когда Рафаэль Менгс творил пластические фигуры в живописи, то его намерение было сказать: «Немцы, жизнь должна быть проста, ясна, гармонична, низвергните запутанные отношения в Германии». Все художественные произведения этого времени и рода не требовали особенно сложного вчувствования. Искусство еще не было так ярко индивидуалистично. Индивидуализм и импрессионизм в искусстве имеют своим коррелятом в эстетике теорию вчувствования.

Теперь резюмирую кратко сказанное. Первая коренная ошибка прежних эстетиков состоит в антиисторическом исследовании эстетических проблем. Этим я отнюдь не хочу сказать, что мало написано историй эстетических учений. Этого добра есть сколько угодно. Но нет истории эстетического сознания, не прослежены процессы изменений эстетических вкусов, суждений. Эту задачу разрешить несравненно труднее, нежели написать историю эстетики.

II.

Вторая коренная ошибка всей предшествующей эстетики заключается в том, что она рассматривает эстетическое сознание абстрактного человека, независимо от класса. Эстетика исследует состояние зрителя, как так называемая классическая политическая экономия XVIII века изображала абстрактный хозяйствующий субъект. Экономические отношения описывались так, как будто бы хозяйствующий субъект был Робинзоном. В настоящее время эти идиллические робинзонады уже преодолены. Каждый образованный экономист знает, что предмет политэкономии, как науки, есть конкретный человек, или, лучше сказать, все общество. Ему хорошо известно, что общество не есть сумма индивидов, а некая целостность *sui generis*. Марксист-экономист понимает еще больше: общество есть совокупность борющихся общественных классов.

Пора и эстетике в своих исследованиях исходить из этих необходимых предпосылок.

Исходя из этих предпосылок, проанализируем уже упомянутый выше и столь любимый всеми эстетиками тезис о незаинтересованности и практической бесцельности эстетического состояния. Все эстетики единодушно признают, что эстетическое состояние разгружает зрителя от тяжелого ярма борьбы за существование. Пожалуй, это отчасти верно, но в отношении кого? Для тех, кому приходится вести названную борьбу. Но как же быть тогда с объяснением эстетического состояния господ Рокфеллеров, Морганов, Ротшильдов и других королей индустрии и финансов, которым не приходится вести борьбу за существование. За них ее ведут всякие Пуанкаре, Муссолини, Мидоальды и прочие наемники. Или, может быть, эти господа совсем не способны к эстетическим переживаниям, раз они освобождены от всякого гнета окружающей действительности? Может быть, это так, но такое предположение, во-первых, требует конкретного исследования. Во-вторых, оно бы предreshило, до известной степени, вопрос о том, способны ли будут члены будущего бесклассового общества к эстетическим состояниям.

Шопенгауэр в своем безграничном почитании безволия, безответственности прославил искусство—больше всего музыку—и эстетическое состояние за то, что они якобы доставляют блаженство отрешенности от волн, от всяких стремлений, являющихся, по Шопенгауэру, источником всех бедствий и страданий человека. Шопенгауэр изрек следующую примечательную мысль: во дворце и в тюрьме одинаково воспринимают великолепие солнечного заката; король и нищий одинаково переживают эстетические явления. Действительность опровергает все эти домыслы досужей фантазии. Совсем напротив: чем тяжелее гнет действительности, тем труднее от него избавиться при помощи эстетического состояния.

О разнообразии эстетических состояний в зависимости от социального положения зрителей можно найти одно весьма меткое наблюдение у Фолькельта.

«Как часто раздается смех в галерее театра, в то время как партер и первый ярус соблюдают молчание» (том II, гл. XVI, раздел VI).

Такое замечание есть свидетельство непоследовательности Фолькельта, но блестящее доказательство, что эстетическое состояние зависит в теснейшей зависимости от социального положения зрителя и слушателя.

Можно натолкнуться еще на одно интересное, вскользь сделанное наблюдение в трехтомном, весьма увесистом произведении Фолькельта: «Трепет ужаса, перемешанный с грубым весельем, судит громкий успех у публики больших городов, благодаря ее избалованным, истощенным нервам» (том II, гл. XXI, раздел V). Это высказывание Фолькельта заслуживает внимания. Ведь большой город есть социальный факт и фактор. Итак, маститый эстетик вынужден невзначай, как будто против воли признать, что социальные факты и факторы имеют определяющее значение для эстетического состояния.

Теперь несколькими словами поясню, как я понимаю этот прославленный первый тезис кантовской и всякой иной, кроме нищезанской, эстетики¹⁾.

Под эстетической отрешенностью от воли я разумею относительно ослабление,—более удачен немецкий термин *Entspannung*,—энергии в борьбе с внешней действительностью. Здесь можно также применить излюбленный в немецкой эстетике оборот—практическое я в эстетическом состоянии относительно выключено. Но это происходит только во время эстетического процесса. На самом деле, благодаря художественному наслаждению повышается работоспособность, т.е. увеличивается сила для борьбы с внешним миром. Это укрепление внутренних сил простирается не только на личность, но и на общественную группу, сословие, класс, которому личность принадлежит. Итак, в исследовании искусства и эстетического сознания необходимо твердо установить, что оба имеют определенную, социальную целеустремленность.

Когда французское третье сословие XVIII века упивалось созерцанием пьесы Бомарше «Женитьба Фигаро», то буржуа выходили из театра с бодрыми мыслями и радостными чувствами: «Буржуазия умна, находчива, она победит праздных феодалов». Когда буржуа сидел в театре, он не думал о личных целях. Он был целиком поглощен борьбой и интересами Фигаро. Но его личные интересы в значительной мере совпадали с интересами третьего сословия, выразителем которого был Бомарше. Борьба третьего сословия в целом становилась активнее, сознательнее благодаря пьесе Бомарше, и не даром развалившаяся французская монархия нередко упрятывала его в Бастилию.

Приведем пример из близкой нам современности. Московский Художественный Театр ставит в 1927/28 г. пьесу Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69». Героическая борьба и победа революционных партизан заражает революционного зрителя энтузиазмом, готовностью к борьбе и верой в победу. Еще, пожалуй, ярче «Разлом» Лавренева, поставленный талантливой студией имени Вахтангова. Здесь пролетарский зритель чувствует себя еще ближе с борющейся матросской массой, которая уже проникнута и одушевлена подлинно пролетарско-революционной, т.е. большевистской, идеологией. Пролетарский зритель после этих спектаклей чувствует себя еще бодрее, еще сильнее, нежели до них. Итак, эстетические переживания имеют высокой ценности общественно-практический эффект.

III.

Третий коренной недостаток современной эстетики состоит в его субъективном методе. Каждый эстетик выделяет те или иные черты и стороны эстетического сознания, смотря по тому, что и как он лично

¹⁾ Подробный анализ этого вопроса дан в моей книге «Опыт марксистской критики эстетики Канта».

эстетически пережил. Всякий индивидуальный опыт должен неизбежно быть ограничен и страдать существенными проблемами и недостатками. Разумеется, и марксист, исследователь этой области, подвержен той же судьбе, т.е. он пользуется тем же недостаточным методом, так как объективный метод эстетики еще не выработан. И все же есть существенная разница между субъективным методом и приемами исследования марксиста-эстетика даже в настоящий момент. Когда марксист описывает, разъясняет, объясняет эстетическое сознание свое или чужое, он никогда не приписывает результатам своего анализа общезначимость для всех людей всех эпох и классов. Он ограничивает пределы его значения рамками одной какой-либо общественной группы или класса. Все другие эстетики этого абсолютно - необходимого ограничения не делают.

Если эстетика имеет серьезные намерения и цели, она должна широко поставить исследование по тому социологическому методу, который был мною предложен в статье «Нужна ли марксистская эстетика» (№ 11 «Под Знаменем Марксизма» за 1926 г.). Никто из исследователей эстетических проблем не подверг его критике. Повидимому, все с ним согласны. Но практическая постановка этих исследований видимо еще слабо продвигается вперед.

IV.

Подвергнем анализу эстетическую категорию возвышенного. Эта категория восходит своими корнями к первым векам новой эры. Мистические, религиозные настроения господствовали во всех слоях общества. Классическое искусство, красота были в упадке. Вместо поэзии первостепенное место занимала риторика. Автора первого трактата «О возвышенном», приписанного раньше Лонгину, жившему в третьем веке нашей эры, занимают исключительно методы сознательного воздействия на настроения людей. Морально-религиозное умонастроение безраздельно владело всеми умами на юге Европы и Западной Азии, в том числе и сознанием неизвестного автора упомянутого трактата. Категория возвышенного есть теоретический продукт морально-религиозной установки всего общественного сознания, и в частности искусства того времени. Искусство было призвано служить морально-религиозному перерождению общества. Философия Плотина, как и философия отцов церкви, преследовала одну и ту же цель. Псевдо-Лонгин был несомненным сторонником плотинской школы. Итак, морально-религиозное искусство и плотинская философия породили категорию возвышенного.

В настоящее время уже можно удалить религиозно-моральную категорию из пределов эстетики. Тщетно затратил Фолькельт столько усилий и времени на расщепление «возвышенного» на различные его разновидности. Эта категория утратила всякое значение для нового искусства. Она имеет лишь исторический интерес. В самом деле. Фрески Джотто, готические соборы и категория возвышенного еще имеют внутреннюю связь. Но «Леда» Корреджио, «Венера и музыкант» и «Антиопа и Юпитер» Тициана не вяжутся никак с названной категорией, а уж такие произведения, как «Поднятая рубашка» Фрагонара, окончательно порывают такую связь.

Тем более досадное впечатление производит тончайшее членение понятия «возвышенное», упорно проводимое Фолькельтом. Эта знаковая работа бесплодна и схоластична. Стоит только перечислить расчленения, которые делает Фолькельт, чтобы убедиться в необходимости отказа от этой категории. Возвышенное делится им на: без-

границное, колоссальное, строгое, страшное, ужасное, безобразное, мрачное, роскошное, изумительное, величественное, мирное, патетическое. Может быть, в третьем издании «Системы эстетики» Фолькельт порадует нас еще какими-либо дополнениями в этом роде!

Самое слово «возвышенное» выдает свой морально-религиозный смысл. Применение этой категории молчаливо подразумевает, что человек немощен и ничтожен, что нужно его подымать, возвышать. До каких же пределов? Разумеется, до господ бога. Эта скрытая мысль проступает у всех эстетиков-идеалистов. Попробуем проанализировать те примеры, которые со времен псевдо-Лонгина приводятся. У Гома и Борка имеются ехидные примеры, которые впоследствии под их влиянием использовал Кант. Они целиком вошли в инвентарь современной эстетики. Грозные явления природы и гигантские результаты культуры составляют, согласно всем эстетикам, предметы возвышенные. Однако вдумаясь в эту мысль. Чудовищная, неотвратимая стихия, как землетрясение, извержение, наводнение, морская буря, ураган, противостоят человеку, как его смертельные враги, которых нужно преодолеть познанием законов их движения. Что тут возвышенного, мне непостижимо. Вот тогда, когда человеческой культуре удастся овладеть стихией, стать ее властным господином, тогда можно испытать нечто возвышенное, т.-е. сознавать, что коллективной воле и разуму человека подчинена, подвластна грозная стихия. Другими словами, такие произведения культуры способны вызвать то особое эстетическое состояние, в котором интеллектуальные моменты видимо преобладают и которое до сих пор называлось возвышенным. Чем больше общественного содержания в предмете культуры, вызывающем эстетические переживания, тем возвышеннее оно действует. Но так как с традиционной терминологией связаны традиционные понятия, то лучше все же слово «возвышенное» отбросить. Нужно оставить, однако, различие эстетических переживаний и выделять такое, которое связано с сознанием могущества общественного человека, коллективной воли и разума над стихией.

V.

Одна из наиболее значительных, важных категорий эстетики есть понятие трагического. Естественно, исследованию его посвящалось много внимания. Трагическое занимает в человеческой жизни и, следовательно, в искусстве исключительно большое место. Как все другие категории эстетики, трагическое также рассматривалось с метафизической точки зрения. Нет надобности здесь перечислять многочисленные имена исследователей трагического. Их общая ошибка заключается в том, что они ищут и верят, что находят вечную, абсолютную, сверх-историческую сущность трагического. Подлинная же природа трагического совсем не абстрактна. Трагическое имеет в каждую эпоху, в каждой общественной формации свою особую форму и суть. Все многообразие форм трагического в результате разнообразия общественных отношений порождает множество теорий. Начнем, как общепринято, с Аристотеля—основоположника теории трагического. Согласно его пониманию, восприятие трагического есть катарзис, т.-е. уничтожение страстей и дисгармоний, которым подвергнут каждый человек. Значима ли эта характеристика для трагедии нашего времени? Макс Дессуар прав, когда утверждает, что трагедия не может приводить к примирению душевных противоречий зрителей. Аристотелева теория трагического основана лишь на изучении сущности греческих трагедий V и IV веков—Эсхила, Софокла и Эврипида.

Как строилась греческая трагедия? Какая-нибудь личность, помимо своей воли, попадает в конфликт с мрачной судьбой, с неоправданным роком. Трагический конфликт находит свое разрешение либо в оправдании несчастной жертвы рока, как в «Эдипе и Колоне», либо в защите богини судьбы, совершившей свой справедливый суд. Второй способ разрешения часто встречается у Эврипида, при чем из-за строгого лика судьбы явно виднеется интерес общества, общества в целом, по представлениям Эврипида. Оно побеждает в борьбе и конфликт с личностью.

Отсюда ясно, что трагедия и теория ее возникают в таком обществе, где уже явлено столкновение интересов, конфликт личности и общества, борьба классов.

Обратимся теперь к столь же беглому рассмотрению теории трагического у Лессинга. Прежде всего заслуживают внимания его замечания о теории трагического у Корнеля. Лессинг весьма основательно доказывает, что Корнель в оправдание собственной трагедии фальсифицирует теорию Аристотеля. По Лессингу, герой трагедии есть личность, которая, вопреки своим относительным моральным достоинствам, падает жертвой человеческой общественной несправедливости. В высокой степени характерно для общественного сознания «просвещения», Лессинг неоднократно подчеркивал, что трагическим персонажем является не злодей, не высокоморальная личность, а средний человек, т.е. обыкновенный бюргер. Героями же греческих трагедий бывали не простые смертные, а все персоны царской крови.

Трагедия Лессинга и Шиллера претворяет в художественных образах борьбу растущего третьего сословия, т.е. буржуазии, с нисходящим классом феодалов. Возьмем, например, «Коварство и любовь». Что происходит в этой пьесе? Сын князя любит и желает вступить в брак с дочерью бедного музыканта. Князь—образ, олицетворяющий собою, по замыслу Шиллера, сознание и характер аристократии, решительно противится этому браку. Княжеский сын остается, однако, верен своей возлюбленной. Но брак все же состояться не может, и оба возлюбленных погибают от яда, символизируя неизбежное поражение аристократии и несокрушимое мужество бюргерства.

Итак, теория трагического у Лессинга находится в гармонии с трагедиями буржуазных просветителей XVIII века.

Большинство современных эстетиков унаследовало в своих теориях трагического понятие вины. Они пытаются подлежащую расширению эстетическую категорию познать еще более туманными, неопределенными категориями этики. Разумеется, такие приемы исследования не могут привести к успешным и ценным результатам. Очень саркастически отзываясь об этой *Schuldtheorie*, теории вины, как определяющего момента трагедии, Макс Дессаур.

Что лежит в основе современной трагедии? Борьба личности с буржуазным общественным порядком, как у Ибсена, или борьба буржуазии и пролетариата, как у Верхарна («Зорн») и у ряда современных пролетарских писателей. Нельзя ли найти какой-либо общей черты, присущей всем видам трагедий на протяжении столетий? Разумеется, можно и нужно. Это общее свойство всех форм трагического заключается в борьбе неравных сил, развертываемой трагедией. Эти силы—всегда силы людей, т.е. общественные силы. Фолькельт вполне прав, когда характеризует трагедию следующим образом: «Содержание трагического образуют человеческие страдания и борьба». Но эта борьба, как уже сказано, общественных сил. Общественные силы всегда ждественны с историческим процессом, но не наоборот, так как в пре-

рода имеет историю. Исторические общественные силы находятся в вечной смене, которая происходит не механически, не автоматически, а сопровождается титанической борьбой. Вот эта борьба есть первоначальный источник всех трагедий, всего трагического. Здесь может возникнуть некоторое недоумение. Ведь борьба общественного человека с грозной, чудовищно - сильной стихией также требует жертв, также есть часто, пока очень часто, бой неравных сил; и, стало быть, она могла бы быть предметом весьма захватывающей трагедии. Однако такая трагедия еще не создана, потому что до сих пор великая борьба внутри общества, его классов заслоняла собою все другие виды борьбы, занимала все внимание людей. Она заполняла все поле сознания еще и потому, что борьба за господство общественного человека над природой неизменно сопровождалась бурной классовой борьбой. Всякий новый крупный этап в развитии производительных сил общества имел своим спутником кризис и крах старых производственных отношений, т.е. социальную революцию.

Здесь может возникнуть ряд таких вопросов: какие общественные силы борются в «Гамлете» или «Короле Лире», или, — еще коварнее как будто звучит, — в «Ромео и Джульетте» и в «Отелло»? Здесь как будто свирепствует только так называемая человеческая стихия. Пороемя немного в этих понятиях. Что такое человеческая природа? Смесь биологических и социальных сил, где последние часто получают значительный перевес. Ромео гибнет не потому, что он чрезмерно любит, а потому, что родители его и его возлюбленной политические враги. Дездемона умирает не потому, что она слишком мало или слишком много любит, а потому, что окружающая социальная среда проникнута враждой, основанной на столкновении интересов. Гамлет и Лир гибнут оттого, что общество раздирается борьбой за власть. Честолюбие и властолюбие не биологические силы, они возникают в обществе, разделенном на классы, враждующие между собою.

VI.

Категория комического, которая имеет немаловажное значение как в жизни, так и в искусстве, доставляет эстетикам много забот. Есть ли комическое противоположность трагического, как думали Карьер, Гартман, Цейзинг? Или комическое противоположность возвышенного, как полагали Фридрих Фишер и Куно Фишер? Или еще, быть может комическому, подобает быть противоположностью серьезному, как признает Фолькельт? Фолькельт еще противопоставляет комическое возвышенному: «Как возвышенное поконит на стремлении к великому, так комическое поконит на притязании на ничтожное» (кн. 2, гл. XVI, разд. 16). Липпс совсем отрицает эстетическую ценность комического. Он не приводит, однако, веских аргументов в пользу своей мысли. Если трагическому приписывается высокая эстетическая ценность, то почему следует ее отнять у комического?

В комическом также налицо противоположность, а иногда и столкновение и конфликт. Большинство из эстетиков не может противостоять искушению внести в анализ эстетической категории комического этические понятия. При рассмотрении трагического применялось понятие «вина», при анализе комического припутывается понятие «ничтожное». По тем же соображениям, которые уже были изложены выше, необходимо отвергнуть вредную путаницу эстетических и этических понятий.

Чтобы разрешить проблему комического, необходимо проследить развитие комедии в ее связи с общественными отношениями. Эта задача не может быть разрешена в рамках этой статьи. Здесь необходимо лишь отметить, что общественный источник трагического и комического, как это ни парадоксально, один и тот же. Если трагическое возникает, когда общественные силы, классы приходят в столкновение, то комическое зарождается тогда, когда в обществе имеется недовольство и материал для порицания и критики. Когда два общественных класса стоят друг против друга, враждебно друг друга рассматривая, то находится обильнейший материал для острот, сатиры и иронии. Стоит только вспомнить комедии, в которых крепнившая буржуазия осмеивала аристократию. Были, разумеется, и комедии, в которых аристократия подвергала насмешкам буржуазию. Ирония приобретает у романтиков такое решающее значение потому, что романтики противопоставляли себя современному им буржуазному обществу, не будучи революционерами, это касается, главным образом, немецких романтиков. Гегель был резким противником романтиков и их увлечения иронией, так как он под конец своей деятельности возмущал буржуазное общество.

Итак, комическое, как и многие другие эстетические категории, возникает и развивается вместе с распадом общества на враждебные группы и их развитием.

Но комедию может создавать класс относительно себя самого, когда он ведет внутри себя борьбу против остатков старого за торжество нового. Пролетариат, овладевший властью, еще должен вести грандиозную, многолетнюю борьбу за самопеределку. И вот в процессе этой борьбы может ему сослужить серьезную и цесную службу комедия, написанная о его собственных иррациях.

VII.

Происхождение эстетики—спорный вопрос, который весьма важно решить. Но его решение не имеет столь определяющего значения, как это можно было бы думать. Предположим: принято было бы заключение, что эстетические потребности свойственны человеку от природы. Но это не означало бы, что в настоящее время эстетические переживания людей должны подвергаться естественно-научным биологическим методам изучения. Потребность человека в жилище несомненно естественная потребность во всех климатических зонах где от холода, где от зноя и ливня. Тем не менее, архитектура исследуется не по биологическим законам.

Эстетические переживания, как они протекают у людей современного капиталистического и переходного общества, составляют не дар природы, а поздний продукт культуры. Человек примитивного общества имеет лишь предпосылки для развития эстетических чувствований, а именно: удовольствие, причиняемое ритмом. Благодаря естественному удовольствию от ритма, который имеет вполне объективное, не только биологическое, но и космическое значение, развивается эстетическая потребность со всеми сопутствующими явлениями. Но предпосылка явления не есть само явление. Наши мысли имеют анатомо-физиологические предпосылки. Но содержание наших мыслей есть социально-идеологическое явление. То же самое относится целиком к эстетическому сознанию.

Существует три течения, пытающиеся дать естественно-научное объяснение эстетическим переживаниям. Некоторые такие попытки подвергнем здесь анализу.

Густав Науман, тесно примыкая к Фридриху Ницше, с барабанным боем провозглашает, что половой инстинкт есть источник всех эстетических потребностей и чувствований. Его книга «Пол и искусство» (Лейпциг 1899 г.) кончается двумя неожиданными для читателя признаниями. Первое: пол не есть единственный источник искусства. Жаль, что автор ничего не сообщает о других корнях искусства. Это не лишено было бы интереса. Но если пол не единственный ключ к объяснению искусства, то зачем понадобилось столько шума, бряцания, громких фраз и чудовищных парадоксов? Гора родила мышь! Второе признание гласит: современное искусство переживает кризис и упадок. Почему же? Разве современные люди стали аскетами?! Половой инстинкт есть постоянная, почти не меняющаяся сила, а искусство переживает восход и закат, расцвет и увядание. Как объяснить перемене, непостоянное в искусстве, если его главнейший источник есть величина постоянная. Говорящие и пишущие об искусстве у животных часто не замечают многозначности понятия искусства. Что такое искусство в человеческом обществе? Продукты постоянной деятельности людей, имеющей свою целью укрепить и поднять силы для борьбы людей с природой (искусство примитивных народов, служившее магии), и для борьбы людей между собой. Борьба полов есть один из бесчисленных видов борьбы людей между собой. Искусство охватывает борьбу полов, как одну из составных частей всей гигантской борьбы, происходящей в обществе. Искусство в царстве животных есть такие инстинктивные движения (танец и пение), игра красок, сооружений, которые имеют лишь временный характер и служат исключительно целям размножения. Искусство в человеческом обществе, на его высших ступенях сопровождается эстетическими переживаниями. Им нет места в царстве животных, так как эстетическое состояние есть не только сознание, но и самосознание, которое еще не найдено в царстве животных. Те писатели, которые чрезмерно преувеличивают значение полового инстинкта для искусства и эстетики, забывают весьма существенный факт. Половое отношение в природе лишь средство, а цель—сохранение вида, т.е. воспитание потомства. Только классовое общество, и именно буржуазное, перевернуло естественный порядок вещей, превратив первоначальные природные предвзвешивания в цель самое по себе.

Такие теории, как теория Густава Наумана и ей подобные, возникают в связи с тем, что буржуазное общество и его искусство на фоне его дней насквозь эротично. Эротичное искусство порождает соответствующие эстетические теории.

Фрейдизм подвергался в марксистской литературе достаточно основательной и убийственной критике, счесть с ним можно считать законченными.

Существует еще третья любопытная попытка естественно-научного объяснения эстетических чувствований—книга Карла Ланге «Чувственное и художественное наслаждение». Этот автор—датский врач—подвергается злобным насмешкам в почтенной ученой немецкой литературе. Фолькельт называет теорию Карла Ланге «мужички-грубым психологическим воззрением». Моос называет попытку Карла Ланге «непрошеным вмешательством врача в эстетику». Карл Ланге своего рода Ванька-Каин в западной науке. Такое негодование почтенных ученых Карл Ланге вызвал своим объяснением всяких эмоций, как чисто-физиологических явлений: всякое чувствование есть процесс в нервно-сосудистой системе человеческого тела. Тут есть от чего прийти в ужас ученым идеалистам, так как материалистическое умо-

настроение автора безусловно ясно. И, тем не менее, эта психологическая теория, будучи, быть может, сама по себе очень верна, в применении к эстетическим переживаниям никакого нового вклада не делает, так как ею отнюдь не вскрывается специфическая природа эстетического сознания. Карл Лаиге предлагает объяснить художественное наслаждение потребностью симпатического чувства и развлечения. Уязвимые потребности находят себе удовлетворение и вне искусства. Таким образом, даже материалистическая психологическая теория не может содействовать разрешению эстетических проблем. Не удавшаяся попытка Карла Лаиге объяснить сущность эстетического сознания психологией есть убедительное свидетельство того, что эстетические явления могут найти надлежащее научное обоснование лишь на социологическом пути или, точнее, при помощи метода исторического материализма.





Природа и пределы методики условных рефлексов¹⁾.

З. Чучмарев.

Методика условных слюнных рефлексов, выдвинутая ак. И. П. Павловым, привлекла в настоящее время внимание широких кругов читающей публики. То, что в течение предшествующего 20 лет интересовало относительно узкие круги физиологов, психофизиологов (работников эксперимент. психологии), а отчасти и философов, то стало теперь трактоваться в значительно более широких кругах врачей, педагогов, учащихся и т. п. группах. Явилась необходимость «переложить» довольно ясно написанные труды И. П. Павлова и В. М. Бехтерева для широких кругов.

Ценность методики условных рефлексов лежит прежде всего в эксперименте, а между тем зародилась группа «вербальных» рефлексологов, оперирующих лишь словами: «Популяризаторы» часто далеки от выводов на основании эксперимента; стоящие перед ними научные проблемы они решают магической формулой: «это все рефлексы». Бухарин по такому поводу говорит: «Разве биологические явления не сводимы к физико-химическим? Почему это все дело сводится к рефлексологии? На каком же «достаточном основании» здесь устанавливается предел, его же не преидеши»²⁾.

Если мы ближе присмотримся к теоретическим взглядам некоторых рефлексологов, то увидим, что они отступают не только от характера трудов Павлова, но и от воззрений марксизма. Использование идеалистических источников некоторыми рефлексологами вытекает, по моему мнению, из неправильно понятой природы физиологической методики условных рефлексов и пределов изучаемых ею явлений.

И. П. Павлов 1923 г.—в разгаре споров по поводу природы и пределов созданной им методики—высказался так: «Как началась наша работа со стороны физиологии, так она и продолжается неукоснительно в том же направлении. Как методы и обстановка нашего экспериментирования, так и проектирование частных задач, обработка материала, так и, наконец, систематизация его—все остается в области фактов, понятий и терминологии физиологии нервной системы».

Но «популяризаторы» и вульгаризаторы теории и методики условных рефлексов смотрели на природу и возможности этой методики иначе. Началось с «Енчиена, который считал важнейшим теоретическим результатом «своих» исследований уничтожение психического ряда явлений»³⁾. Все высшие формы поведения человека для Енчиена,

¹⁾ Печätается в качестве материала к проблеме о соотношении между рефлексологией и психологией.—Ред.

²⁾ Бухарин. Атака. 2 изд., стр. 150.

³⁾ Там же, стр. 138.

по его словам, это только «цепи органических движений, рефлексов». Этим утверждениям Енчмена Бухарии дал определенную оценку с точки зрения марксизма и науки: «Нетрудно, конечно, изобрести целый каталог названий: «рефлекс цели», «рефлекс бога», «рефлекс права», «рефлекс...» и проч. На все найдется свой рефлекс. Беда только в том, что ничего, кроме игры в бирюльки, здесь мы не получим»¹⁾.

Если Енчмен не мог найти у марксистов доводов в пользу своего отрицания психики и науки о ней, то он мог найти кое-какое «подкрепление» своего утверждения у некоторых идеалистов, на которых потом и стали ссылаться теоретизирующие рефлексологи. Ссылки Енчмена и других на Введенского, Пирсона, Риккерта являлась логической необходимостью для него, ибо только у идеалистических писателей можно найти кое-что для отрицания изучаемости психики. «Следует подчеркнуть,—писал Енчмен,—то общее положение критической методологии, что чужая психика никогда не наблюдается нами, что каждый из нас интроспективно наблюдает только свою психику и больше ничью. Таким образом, мы приходим к чрезвычайно важному, с логической стороны, выводу, что ни для кого из людей не может быть доказанным, что и другие люди психичны, одушевлены. Психические же явления,—продолжает Енчмен,—быть может, протекают интроспективно у каждого из окружающих меня людей или вообще организмов, но сколько-нибудь убедиться в этом я не могу: чужие психические явления недоступны моему наблюдению. Чужая психика трансцендентна, т. е. недоступна коллективному (объективному) опыту». Приводя эти слова, Бухарии заканчивает изложение мысли Енчмена так: «Далее идет ссылка на авторитет вышеупомянутого буржуазно-идеалистического профессора А. Введенского. В этой цепи рассуждений, отнюдь не оригинальных и в основе списанных у Введенского, мы обнаруживаем, прежде всего и раньше всего, определенную непоследовательность²⁾. И далее Бухарии разбирает непоследовательность излагаемого Енчменом агностицизма и вытекающего из него солипсизма.

Мы решились полностью привести цитату Енчмена, чтобы показать, что аргументация против психофизиологии за полную замену ее рефлексологией может найти опору только в идеалистических источниках.

Всякий, кто пытался и после Енчмена продолжать его работу, необходимо поступал так же, как и Енчмен. Отрицание психики и ее познаваемости (т. е. отрицание психофизиологии) необходимо приводит не только к вульгарному материализму, но и к прямым заимствованиям идеалистических взглядов. Покажем это на примере.

В 1924 г., т. е. после расцвета «творчества» Енчмена и оценки его Бухариним, появляется брошюра харьковского проф. В. П. Протопопова «Введение в изучение рефлексологии». В ней проф. В. П. Протопопов ставит вопрос—«Нужно ли для решения этих вопросов стараться проникнуть во внутренний мир человека, в круг его психических переживаний? Может быть, для установления законов деятельности человека и нет вовсе надобности проникнуть в его внутренние субъективные психические переживания, и изучение этих законов возможно, и даже лучше, построить на каких-либо других принципах. Действительно, когда настоятельно потребовалось дать точное естественно-научное определение того, что мы называем психическим

¹⁾ Бухарин, Атака, стр. 153.

²⁾ Там же, стр. 139.

деятельностью, то ни одна психология не помогла. Пришлось отыскивать другие пути для изучения законов поведения как человека, так и высших животных, и этот путь в настоящее время определенно намечен. Называется он рефлексологическим¹⁾. «Все явление (поведение) может быть охвачено понятием рефлекса»²⁾.

Чем же аргументирует свою точку зрения В. П. Протопопов; приведем его доводы: «Чужая душа потемки»,—говорит мудрая пословица,—и все психологи не рассеяли до сих пор этого мрака. Интересно указать, что о непроницаемости чужой «души» говорит и сама научная психология. Наш русский ученый психолог и философ А. И. Введенский установил даже специальный закон—«об отсутствии объективных признаков чужой одушевленности». Согласно этому закону, психическая жизнь протекает в другом человеке так, что доказать или отрицать ее по иярым признакам невозможно»³⁾.

И в своей программе по психиатрии и в своих лиографированных лекциях студентам В. П. Протопопову для защиты своей точки зрения необходимо приходится ссылаться на упомянутый «закон» Введенского (Лекции, стр. 40—41): «Проф. Введенский,—говорит Протопопов,—приходит к утверждению: «Ни одно объективно наблюдаемое явление не может обладать достоверным признаком одушевленности, так что душевная жизнь не имеет никаких объективных признаков, а потому и одушевленность является недоказуемой». «Мы вправе,—продолжает Протопопов,—смело утверждать без всякого опасения противоречить каким-либо заведомо существующим фактам, что, кроме нас самих (собственная наша одушевленность, для каждого из нас не подлежит сомнению, наши душевные явления для нас несомненные факты, не нуждающиеся ни в каких доказательствах), равно никто не одушевлен во всей вселенной»⁴⁾.

Попытаемся уяснить причину, почему рефлексологи, отрицающие психологию и думающие, что рефлексология должна заменить исследование психофизиологических явлений, принуждены необходимо обращаться к идеалистическим источникам.

Если идти за И. П. Павловым, то методика условных рефлексов является одной из многочисленных методик физиологии и никакой самостоятельной науки—рефлексологии—с точки зрения Павлова нет. Что касается психики, то Павлов полагает: «В сущности, интересует нас в жизни только одно: наше психическое содержание, психические состояния для нас первостепенная действительность, они направляют нашу ежедневную жизнь, они обуславливают прогресс человеческого общества»⁵⁾. Те, кто принципиально отрицают психологию, доводят в пользу своего утверждения у Павлова могут найти немного. Марксистские же взгляды активно борются против агностицизма и солипсизма, лежащих в основе возражений некоторых рефлексологов против психологии, как науки. Источником доводов против психологии остаются единственно те идеалистические авторитеты, которые в силу своей идеологии не столько отрицают психологию, сколько ее ограничивали. К таковым у нас принадлежал психолог-неокантианец А. И. Введенский.

¹⁾ В. П. Протопопов, Введение в изучение рефлексологии, стр. 1—2.

²⁾ Там же, стр. 19.

³⁾ Там же, стр. 2.

⁴⁾ «Лекции по общей психопатологии со включением необходимых сведений по психологии. Пособие к практическим занятиям в психиатрической клинике студентов-медиков IV курса», стр. 2 (программа) и стр. 40—41.

⁵⁾ Павлов, 20 лет, стр. 157.

Брошюра В. П. Протопопова появилась, как авторитетное мнение в оправдание изгнания из харьковского института народного образования (бывш. университета) психологии и замены ее рефлексологией.

Насколько можно сослаться на авторитет проф. А. И. Введенского для доказательства того, что психология в наше время в педагогическом вузе должна быть заменена «рефлексологией» как более удовлетворяющей требованиям материалистической мысли, можно видеть по оценке Бухариным авторитета А. И. Введенского в «Еничменаде». Еничмен тоже добивался изгнания психологии, его статья так и называлась «Психология пред судом возрождающегося позитивизма». Еничмен, как и Протопопов, прибегали к одинаковым экскурсам в область гиосеологии. «Он ставит,—говорит Бухарин о Еничмене,—вопросы, которые мы до сих пор привыкли называть философскими. И вот здесь-то, в этой области, источником еничменовской преумудренности являются Введенский и К^а, т.-е. ярко выраженные буржуазные идеалисты».

Надлежит отметить, что ссылка на проф. А. И. Введенского, помимо ее несостоятельности, как материалистического довода, является резким противоречием утверждению: «рефлексология» должна заменить психологию. А. И. Введенский десятки лет преподавал в Ленинградском университете именно психологию. Ему, как неокантианцу, с точки зрения своих философских убеждений, надобно было потратить много сил на обоснование психологии как науки; вот эту неокантианскую аргументацию в пользу психологии некоторые рефлексологи и поняли, как доводы, враждебные психологии.

Доводы от агностицизма и проф. А. И. Введенского противоположны материалистическим, эти доводы в пользу «материализма рефлексологии» и «антиматериализма психологии» приводились по недоразумению.

Впрочем, ссылка на Введенского встречается не только у Еничмена и Протопопова; эта ссылка встречается и у других рефлексологов; больше того, рефлексологи в своем отрицании психологии необходимо влекутся к использованию только идеалистических доводов типа аргументации Введенского. Эта аргументация дает как-будто доводы против психологии как науки, чем и пользуются «враги» ее. Для избежания дальнейших недоразумений мы попытаемся уяснить роль доводов Введенского в истории идеологий последнего времени.

Революционная буржуазия на континенте, совершив политический переворот, завершила соответствующий переворот и в области философии. Выражением этого философского переворота явились, например, «Критики» Канта. Эпоху Канта можно было бы назвать «критической» эпохой в развитии буржуазной идеологии, когда класс-победитель утверждал свои основные философские позиции, критически пересматривая философское наследие побежденных феодалов и устраняя из этого наследия все чуждое новому классу. Вслед за эпохой пересмотра буржуазией ценностей феодального общества наступила для данного класса эпоха характерного для него строительства; в области хозяйственной жизни это была эпоха использования пара, введение различных машин и т. д. Отражением этой эпохи в идеологии буржуазии был, преимущественно, позитивизм. Последний для разрешения своих органических задач опирался прежде всего на опыт, на эксперимент; выводы, делаемые на основании экспериментальных данных, стихийно содержат в своих построениях элементы материализма. Элементы материализма некоторыми учеными Запада в середине XIX

столетия были сформулированы вполне определенно (Фохт, Молешотт, Бюхнер, Геккель и др.). Но последовательно проведенный материализм был опасен для буржуазии; тогда среди ее идеологов был брошен другой лозунг: «назад к Канту», к его непознаваемым вещам в себе, к его априорным элементам познания, к его «Критике практического разума». Против материализма в данном случае буржуазная философская мысль повела борьбу в лице, например, неокантианцев. Представителем неокантианства в России был А. И. Введенский.

Так как материалистическое течение, появившееся в среде буржуазного общества, опиралось на эксперимент, а этот последний осуществлялся работой сознания, способного, по взглядам материалистов, знать истину, то в противовес материалистам раздался лозунг агностиков: *ignorabimus*, в том смысле, что мы никогда не узнаем с помощью работы познания некоторых важных для нас сторон бытия и познания.

Неокантианцы, как наиболее видные идеалистические философы этого времени, в числе других задач поставили себе и такую, — подвергнуть скептической критике доверие человека к аппарату его познания, ибо для материалиста «вопрос о том — принять или отвергнуть понятие материи есть вопрос о доверии человека к показаниям его органов чувств; считать наши ощущения (психические явления.—З. Ч.) образцами внешнего мира — признавать объективную истину — стоять на точке зрения материалистической теории познания — это одно и то же»¹⁾.

Неокантианцы, например, Коген, Натторп, именно потому и направили борьбу против психологии, как источника теории познания, что успехи господствовавшей экспериментальной психологии поддерживали отказ от «априорных форм» Канта; при современных наших психологических сведениях возможно было определенно утверждать, что формы пространства и времени даны нам не априорно, как утверждал Кант, а выводятся нашим сознанием из реальных фактов действительности.

В том же духе и русский неокантианец А. И. Введенский, на возражения которого против возможности познания психики ссылаются рефлексологи, утверждал, как выше приводилось: «Мы вправе смело утверждать, без всякого опасения противоречить каким-либо заведомо существующим фактам, что, кроме нас самих, ровно никто не одушевлен во всей вселенной». Такая характеристика Введенским познавательной роли психики есть выразительная форма агностицизма, из которого прямо вытекает и солипсизм.

В. П. Протопопов повторяет данную мысль Введенского в своих лекциях студентам, как положительное утверждение, служащее подтверждением его доводов против психологии. Между тем, данная точка зрения Введенского есть типично идеалистическая точка зрения, направленная на подрывание нужного материалистам доверия человека к его органам познания и к их психическому продукту. При признании данного утверждения Введенского объективная наука во всей подножке своих задач невозможна или возможна лишь в отношении некоторой части явлений, а не в отношении всех принципиальных вопросов бытия и познания; последние вопросы, по мнению Введенского, подлежат разрешению через «морально обоснованную веру». Вот почему Ленин и сказал: «раз вы отрицаете реальность, данную нам в ощущениях, вы уже потеряли всякое оружие против фидеизма, ибо вы уже скатились к агностицизму»²⁾.

¹⁾ Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, 1920 г., стр. 126.

²⁾ Там же, стр. 244.

Рефлексологи, возражающие во что бы то ни стало против психологии, вынуждаются такой позицией опираться не на материалистические источники, а на идеалистические, только в них они найдут высказывания о невозможности научного познания аппарата психики, о ненадежности его продукции; ссылки на авторитет Введенского не случайны, а необходимо вытекают из основной точки зрения рефлексологов на психологию. Рефлексологи, не исследуя мотивов «критики» психологии неокантианцем Введенским, но усматривая у него возражения против познавательных способностей психики, против возможности знать закономерности в ее работе, не взирая на положение материализма «ощущение способно знать истину», во имя своих узких профессиональных интересов, употребляют доводы А. И. Введенского, как «объективные» по их мнению.

Чтобы напомнить взгляды марксизма на роль психики, необходимость и возможности познания ее, мы приведем некоторые положения В. И. Ленина: «Раз вы отрицаете объективную реальность, данную нам в ощущении, вы уже потеряли всякое оружие против фидензма, ибо вы уже скатились к агностицизму и субъективизму». «Законы мышления отражают формы действительного существования». «Одна из посылок материализма в признании объективной закономерности, отражаемой сознанием». «Господство над природой есть результат объективно верного отражения в голове человека явления». «Ощущения открывают человеку объективную истину». «Основное отличие материалиста от сторонника идеалистической философии состоит в том, что ощущение, восприятие, сознание человека признается за образ объективной реальности». «Наше ощущение отражает объективную реальность»; ощущение вызывается действием движущейся материи на наши органы. Ощущение есть образ движущейся материи. Иначе, как через ощущение, мы ни о каких формах вещества и ни о каких формах движения узнать не можем»¹⁾.

Но путаница по вопросу отношения психологии и рефлексологии продолжается и до нашего дня. Надо заметить, что И. П. Павлов, как это давно заметил Бухарин, «вовсе не ставит тех вопросов, которые составляют «суть» теорий Еичмена и ему подобных. Сфера работ проф. Павлова физиология»²⁾.

Тем острее возникает проблема уточнения природы и пределов физиологической методики условных рефлексов.

Встречающиеся определения понятия рефлекса можно свести к двум основным. Первое (Сеченов, Вундт, Вагнер и др.): «рефлекс—это наследственные, однообразные, правильно повторяющиеся целесообразные реакции на специфические раздражения»³⁾. Разберем особенности этого определения. Всякое логическое определение, как известно, должно удовлетворять правилу *per genus proximum et differentiam specificam*, т. е. должно содержать указание на ближайший род и видовое отличие. В вышеприведенном определении ближайшим родом является понятие реакции, а видовым отличием являются следующие признаки: «специфичность раздражителя, однообразие, правильная повторяемость и целесообразность, определяемая наследственными особенностями организма». Все эти многочисленные признаки, составляющие видовое отличие данного понятия рефлекса, могут быть сведены к одному признаку методического характера: рефлекс отличается от

¹⁾ В. И. Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, стр. 271, 307 и др.

²⁾ Бухарин, Атака, стр. 134.

³⁾ Берем в формулировке проф. Вагнера.

других реакций тем, что наступление его в данном организме определяется только одним наличествующим внешним раздражителем.

Поведение в форме рефлекса у данного организма есть функция непосредственно одного данного раздражения. Организм при рефлекторном поведении подчинен только воздействию на него в данное время раздражению. При рефлекторном поведении отсутствует «оценка» данного раздражения с точки зрения совокупности имеющихся в организме следов предшествующих раздражений, т. е. с точки зрения всего пережитого опыта, отраженного в сознании; поведение организма в форме рефлекса подчинено не «бытию», как совокупности раздражений, а отдельному «кусочку» бытия, — отдельному раздражению. Подчинение бытию предполагает участие в актах поведения сознания, что и выражается марксистской формулой: бытие определяет сознание. И Сеченов, много сделавший для учения о рефлексах, так сказать, отец учения о «рефлексах», классифицируя все акты поведения человека, резко различает акты с участием сознания и без его участия. Для него «Все известные доселе нервные акты распределяются по способу их происхождения в следующие категории¹⁾:

- 1) акты чувствования (видение, слышание, осязание и проч.).
- 2) Акты рефлекторного типа:
 - a) простые рефлексы;
 - b) рефлексы, осложненные сознательными чувствованиями;
 - c) чувственно-двигательные акты.
- 3) Акты центрального происхождения.

Акты рефлекторного характера, обозначенные у Сеченова «2а», характеризуются им так: «В наипростейшей форме нервные снаряды сигнальные показания регулятора не доходят; такие регуляторы называются также рефлекторными снарядами, а весь процесс, от начала до конца, рефлексом. К этим актам относятся инстинктивный, слезный, фотомоторный, слюнно-отделительный и т. п. Но между рефлекторными актами, описанными в данной нашей таблице, есть большая разница,—говорит Сеченов,—со стороны осложнения их актами сознательного чувствования и вмешательства воли. Одни (напр., действие желудочного жима или отделение желудочного сока) лежат вне сферы обонх влияний; другие, не подчиняясь воле, требуют, повидимому, сознательных ощущений (чувство тошноты и рвоты), третьи не требуют, наоборот, для происхождения сознательности ощущений, но подчинены до известной степени воле, которая может не только воспроизводить движения намеренно, без всякой стимуляции, но также угнетать их, когда поводы к движению существуют (мигание и кашель)». Конечно, рефлекторные явления рубрики «а» сходны с такими же явлениями рубрики «б»; но ученого, заинтересованного в объективности своих суждений, занимает как сходство, так и различие явлений; а потому Сеченов дальше внимательно описывает это различие.

Что касается условных рефлексов, то их природу Сеченов характеризует так: «Заученные движения (или по новейшей терминологии, условные рефлексы.—З. Ч.) развиваются не иначе, как под влиянием жизненных потребностей и, раз развившись, отличаются от инстинктивных лишь большею подвижностью связи между движением и чувствующим; при этом фактором, раз'единяющим их друг от друга, является в здесь воля, с ее способностью воспроизводить движение намеренно, без содействия соответственного чувственного стимула, и угнетать его

¹⁾ Сеченов, Физиологические очерки, изд. Поповой, 1898 г., ч. II.

наперекор действию последнего». Здесь «воля» у Сеченова, по нашему мнению, есть определенное свойство высокоорганизованной материи, психологически выражающееся в способности человека подчинить свое поведение общественной директиве; но нельзя не признать, что разбираемая формулировка Сеченова требует, во избежание недоразумений, своего уточнения с точки зрения диалектического материализма. Мы поэтому приведем слова К. Маркса, где он вполне определенно характеризует понятие «воля» в терминах, близких Сеченову: человек «не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет в то же время и свою сознательную цель, которая, как закон, определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинить свою волю. И это подчинение не есть единичный акт. Оставляя в стороне напряжение тех органов, которыми выполняется труд, целесообразности воля, выражающаяся во внимании, необходима во все время труда и притом необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержанием и способом выполнения, следовательно, чем меньше рабочий наслаждается трудом, как игрой физических и интеллектуальных сил»¹⁾.

Итак, и К. Маркс, и основатель учения о рефлексах Сеченов находили необходимым подчеркнуть наличие и важность рядом с элементарными, рефлекторными формами поведения высшие и типичные формы поведения человека—сознательные, волевые.

Второе определение рефлекса таково: «это нервный процесс начинающийся с раздражения и кончающийся движением». Это определение рефлекса совпадает с понятием вообще нервного процесса. Такое определение понятия рефлекса слишком широкое; оно не содержит указания на специфические признаки, на видовое отличие этого понятия. «Рефлексология» в таком случае была бы совершенно равна «физиологии нервной системы».

Классификация нервных актов должна содержать подразделение на нервные процессы, которые вызывают явления сознания, как свою функцию, и нервные процессы, не дающие при своем протекании явлений сознания. Между физиологическими и психологическими явлениями существует отношение единства, но не тождества. Корковые нервные процессы, по Павлову же, производят явления сознания только в степени «оптимального» возбуждения; нервные процессы в коре, не достигшие такой степени возбуждения, не вызывают явлений сознания. Такой переход количества в качество мы имеем в подавляющем числе случаев приспособительного поведения человека. Принцип подразделения актов нервной деятельности, который выдвинул Сеченов, является необходимым для целей изучения поведения человека.

В классификации Сеченова указаны все свойства нервного акта с точки зрения именно науки о поведении.

Ведь для данной науки важно «овладеть» поведением, т. е. предсказать его, как-то требуется деятельностью педагога, агитатора, пропагандиста, психотехника, врача и т. п. При задаче предвидения поведения важно знать, от каких «сигналов» поведение зависит. Надеждой ли обращаться при направленном поведении к «сознанию», как это делает администратор, агитатор, педагог и т. п. работники, или дол-

¹⁾ К. Маркс, Капитал, т. I, отд. 3.

дение является функцией только данного внешнего раздражителя без участия сознания. Вот почему второе определение рефлекса мы считаем чересчур широким. В нем нет указания на ближайший род. В нем нет указания на видовое отличие, ибо признак нервного процесса «начинается раздражением и кончается движением» — входит в само понятие нервного процесса, а не является видовым отличием. Широта этого определения приводит к тому, что под него «подходят все роды деятельности всех животных от амёбы до человека включительно» (Вагнер). При такой широте говорить о науке, ставящей себе задачу предсказания поведения человека с его особенностями — невозможно.

Широкое определение жизненных процессов имеется в марксистской формуле: «бытие определяет сознание». Здесь, как мы видим, философское определение, ставящее по своей природе задачу выработки понятий наибольшего объема, включает в себе указание на производящий фактор и производный продукт: бытие — раздражитель вызывает все формы поведения как узко рефлекторные (по первому определению), так и высшие формы поведения, сопровождаемые сознанием.

Эта формула содержит в себе указание не только на сложные формы поведения, но, по нашему мнению, предполагает и элементарные. К последним принадлежат формы поведения, определяемые функцией только одного данного внешнего раздражителя, без участия сознания (бессознательные акты, куда входят и рефлекторные). К сложным формам относятся формы поведения, определяемые данным внешним раздражителем и совокупностью всего прежнего опыта субъекта — личного и родового, данного в следах прежней нервной деятельности. Этот прежний опыт, вызванный по поводу данного раздражения, систематизируется в некоторое единство; для субъекта результат этой интегрирующей деятельности дан в виде его так называемого психического переживания. Психическое переживание является выражением систематизации для субъекта его органического опыта. Психически больной субъект резко выпадает из нормы, вследствие именно неспособности объединять и систематизировать весь свой жизненный опыт (распадение личности).

Широкое определение рефлексологии уничтожает ее особенность, как одной из возможных методик науки о поведении, сливая ее без остатка с экспериментальной психологией, что и делает академик В. М. Бехтерев в своих desiderata в отношении рефлексологии.

Рефлексология, по его мнению, должна заниматься и «изучением соотношения между объективными процессами, лежащими в основе соотносительной деятельности, и субъективными явлениями открываемыми человеком на себе самым путем самонаблюдения»⁴⁾.

Итак, рефлексология, как специфическая методика, изучающая некоторые формы поведения человека, характеризуется следующим определением: это есть методика, исследующая поведение человека без обращения к его сознанию. Тогда более совершенной рефлексологической методикой из существующих надлежит считать слюнную, на результаты которой психофизиологические состояния влияют в меньшей степени, чем на результаты двигательной методики. Впрочем, жалобы Павлова на то, что иногда результаты длительных опытов с собакой уничтожаются, например, падением с потолка небольшого кусочка известки, свидетельствуют о том, что даже в классических опытах по условным рефлексам мы имеем влияние напряженной кортикальной установки животного, когда «оптимальное» возбуждение

центров коры, по - Павлову же, дает сознание. От такого возбуждения исходят в зависимости, как это описывает сам Павлов, условные рефлексы даже при его методике.

Тем более влияние оптимального коркового возбуждения, дающего явления сознания, сказывается в двигательной методике. К людям она и может быть применена только при предшествующем опытам инструкции (обращения к сознанию) о том, как надо вести себя при опытах испытуемому. При этом в последующих опытах, по мере выработки привычки, элемент сознания убывает, и, в заключение, мы можем получить чистую форму условного рефлекса, выработка которого обязана предшествующему психологическому моменту. «Рефлексология» в этом случае возможна благодаря психологии.

Определивши рефлексологию, как метод изучения поведения без обращения к сознанию, мы, конечно, избрали для изучения условных рефлексов у человека слюнную методику, хотя мы уделяли внимание и двигательной и сосудистой методикам ¹⁾. На материале, добытом слюнной методикой, мы и будем разрешать поставленный нами вопрос о природе и пределах методики условных рефлексов.

Из обеих методик, секреторной и двигательной, конечно, чище, как рефлексологическая методика, первая; но она была не разработана в применении к исследованию условных слюнных рефлексов у человека. Мы и направили все свое внимание на создание такой методики. Начиная с 1924 года, мы производили отдельные опыты над конструкциями капсулы. Уже в январе 1925 года на научном совещании Украинского государственного психоневрологического института нами было доложено о конструкции, которую мы впоследствии и использовали в своих опытах.

Мы пытались изолировать выделение слюны из протока окологлоточной железы; в разрешении нашей задачи мы шли по такому пути: сначала мы пытались наложить слюнную капсулу на ductus Stenonianus и прикрепить ее к нужному месту путем выкачивания из нее воздуха; кое-что нам и удавалось; тем более, что стеклянная капсула придерживалась особым держателем снаружи — на внешней поверхности щеки. Основным недостатком этой конструкции заключался в том, что всякое движение щеки, а особенно энергичные движения при еде или



Фиг. 1.

сдвигали капсулу с места настолько, что слюна попадала не в капсулу, или, что еще хуже, капсула отваливалась от внутренней поверхности щеки.

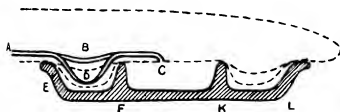
После ряда попыток улучшить капсулу мы оставили принцип присасывания и пришли к построению капсулы представленной на фиг. 1

Эта капсула дает вполне удовлетворительные результаты при самых энер-

гичных движениях мускулов рта. Сущность ее, как видно на рисунке, сводится к следующему: имеется стеклянная чашечка 20 мм. диаметра и 10 мм. глубиной с оплавленными краями и отходящей трубкой в 50 мм. с соответствующим изгибом на конце для

¹⁾ См. «Украинский Вісник Рефлексології» № 3.

включения ее на резиновую трубку. Данная канюлька вкладывается в «держатель», устроенный, как видно на рисунке, так, что он охватывает чашечку с одной стороны и выходит вместе с отводящей трубкой наружу; в углах рта держатель загибается назад и идет по щеке; снаружи, как раз против чашечки, держатель оканчивается полулу-



Фиг. 2.

ной лапкой, охватывающей чашечку приблизительно на половину ее окружности, но непременно не со стороны протока; эта полулунная лапка может быть особым винтом сверху прижата к щеке в какой-угодно степени. Чем сильнее прижимаете лапку, тем сильнее с противоположной стороны во рту прижимается к слизистой поверхности чашечка, не сжимая протока, ибо, повторяем, полулунная пластинка прижимает снаружи чашечку по краям ее полуокружности, противоположной ходу протока. Держатель сконструирован из алюминия.

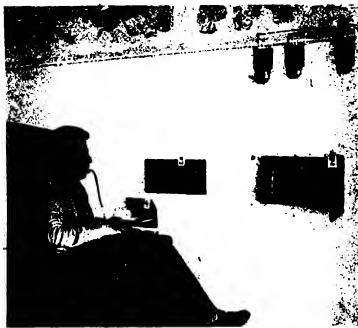
Когда мы уже начали работать с описанной капсулой, о которой мы доложили, как сказано на научном совещании Института в январе 1925 г., мы ознакомились по книге Уотсона «Psychology from the standpoint of Behavior», ставшей нам доступной с 1926 года, с подобной капсулой Lashley. Нам было приятно узнать, что Lashley, работавший в том же направлении, что и мы, начал с того же технического принципа построения капсулы, а именно присасывания. Lashley удовлетворился капсулой такого принципа, хотя недостатки его для нас были ощутительны. Чтобы понять сущность капсулы Lashley, надлежит представить яснее механизм ее прикрепления. Она



Фиг. 3.

имеет две чашечки разного диаметра, вложенных одна в другую концентрически. Наружная чашечка предназначена для присасывания, внутренняя—для приема слюны. Обе имеют отводящие трубочки. Положение щеки и состояние слюнного протока в ней можно видеть на схематическом рисунке, слегка увеличенном для ясности (см. фиг. 2), отводящие трубочки не показаны. Если в боковых камерах отсосать много воздуха так, что слизистая поверхность щеки, вдоль которой идет проток, будет втянута очень глубоко на дно внешней камеры капсулы, то тогда проток изогнется вслед за слизистой поверхностью так, что будет затруднено выделение слюны, как это представлено на схематическом рисунке. А прижимать капсулу крепко путем всасывания щеки является необходимостью при опытах с кормлением, когда производятся резкие движения мускулами рта, при которых слабо прикрепленная капсула всегда отпадает. Если же присосать капсулу незначительно, то она даже при средних движениях жевания отпадает. Нам кажется, что относительно скромное использование капсулы Lashley, которой так долго ожидали работники условных рефлексов, основано на ее технических свойствах. Сколько можно судить по описанию Уотсона, Lashley отмечал выделение слюны только при поднесении ко рту и носу вкусной пищи, или самое большее при держании ее на языке без жевания.

Энергичные жевательные движения, сильно колеблющий сток слюны в воспринимающих аппаратах, должны вызывать отпадение капсулы, если она не укреплена механически с обеих сторон, чего мы



Фиг. 4.

и стремились достичь в нашей конструкции. Разработанность методов условных рефлексов, конечно, делала ценным лишь ту методику, которая позволяла кормление испытуемого, ничем не стесненное. И мы приступили к своим опытам лишь тогда, когда получили капсулу, удовлетворяющую этим требованиям.

Экспериментальная обстановка представлена на фиг. 3 и 4. На фиг. 4 представлен испытуемый,

сидящий в кресле с укрепленной на щеке капсулой, от нее идет отводящая трубка через стенку к приемнику в другой комнате, где находится экспериментатор. Около испытуемого находится отверстие (4), через которое поступает в особой кормушке пища и наблюдательное окно (3), которое для испытуемого при всех условиях наблюдения

над ним представляется темным без всяких световых перемены в нем. Фиг. 3 представляет обстановку комнаты экспериментатора. Отводящая от капсулы трубка здесь включается в градуированную трубку (3), прикрепленную к стене. Окрашивающая жидкость берется в трубку из пробирки. Она всасывается в первую половину от трубки особым баллончиком через сосуд типа употребляющейся у химиков—примывки (4).

По мере выделения слюны жидкость отходит от иуля влево, диаметр трубки равен $1\frac{1}{2}$ мм. Одни прием пищи дает 60—500 мм. движения окрашенной жидкости по трубке. Мера, как видно, довольно тонкая и точная.

При наличии добытых нами и описанных здесь технических условий мы производили исследование протекания условных слюнных рефлексов у студентов, у школьников-семилетки, у лиц, заключенных в тюрьму за хулиганство и у больных (паркинсонов-энцефалитиков).

Перенесение методики условных слюнных рефлексов на людей различных состояний дает ряд выводов, характеризующих природу методики условных рефлексов.

К обзору некоторых характерных протоколов и их частей, мы и переходим.

Протокол № 1 за 15 марта 1926 года. —

Слюнные рефлексы у Д., 18 лет, студент, холост; здоров, зубы все здоровы. Сегодня не кушал с утра. Начало опыта в 1 час дня.

Условный сигнал (звонок) совпадает с подачей пищи, а именно: звонок раздается 25 сек., а через 10 сек. после его начала дается пища. Пищевой раздражитель—маленькие бутерброды (хлеб с колбасой).

№ опыта	Интервал времени между опытами	Условный пищевой рефлекс за первые 10 сек. звона	Пищевой рефлекс	Примечания
1	0	0	950	
2	2	0	590	
3	2	0	500	
4	2	0	510	
5	2	0	450	
6	2	0	500	
7	2	0	425	Небольшие движения столба жидкости на звонок.
8	2	0	545	
9	2	30	450	Когда кончил жевать, слюна почти остановилась.
10	2	35	375	
11	2	10	265	
12	2	30	338	
13	2	20	285	
14	2	40	295	
15	2	15	325	Кушает в 2 приема, кончает жевать—слюна идет медленно
16	2	40	250	.
17	2	35	290	.
18	3 м.	15	175	.
19	$2\frac{1}{2}$ м.	30	385	.
20	$2\frac{1}{2}$ м.	30	390	.
21	2 м.	10	300	
22	2	0	365	Рассматривает все вокруг.
23	2	50	630	Сначала бурно, потом медленно идет слюна.
24	2	25	175	
25	1 м.	5	255	Положил целый кусок в рот.

№ опыта	Интервал между опытами	Условный слюнный рефлекс до подачи пищи за первые 10 сек. звонка	Пищевой рефлекс	Примечания
26	2 м.	40	375	
27	2	25	300	
28	2	30	380	Уменьшили вдвое кусочек хлеба.
29	1	20	235	Все взял в рот.
30	1	25	190	
31	1 м.	40	170	Сразу положили в рот.
32	1	35	175	
33	1	45	220	„ взял „
34	2 м.	0	310	
35	2	20	310	Часто всасывает и вертит.
36	2	30	150	
37	3 м.	10	105	
38	3	15	240	В 2 приема кусает. Ждет, облокотившись головой на руку.
39	3	20	185	Сонливый вид.
40	1 м.	40	160	В 2 приема.
41	1	30	210	Сразу взял.
42	1	10	215	„
43	1 м.	30	150	В 2 приема.
44	2 м.	10	90	
45	1 м.	20	70	С 45 опыта по 48.—Проба условного рефлекса тот же звонок без пищи; в третьем слюнное выделение за 10 сек., во втором—за остальные 15 сек.
46	2 м.	25	50	
47	2	35	65	
48	2	45	35	
49	2 м.	40	285	С бутербродом.
50	2 м.	30	190	С бутербродом—2 приема сразу.

Показания испытуемого в конце опытов: «Первых двух звонков испугался, потом привык и знал, что на звонок будет пища. Под конец почти устал: маленькие порции и медленно. Вообще еще бы кушал. Сидеть под конец утомился»¹⁾).

Опыт окончился в 2 ч. 50 м.

Материал протокола дает следующие выводы: 1) Пищевая реакция у данного субъекта очень сильная. За первые 5 опытов она равна в среднем 600 миллиметр. нашего аппарата. Другие дни у Д. имеют меньшую пищевую реакцию. У других субъектов в среднем тоже явля. Так у В., в среднем, 100 мил., у К.—250. Этой величиной мы мерим степень возбудимости центра слюноотделения в данный момент.

2) Условный слюнный рефлекс на начальную часть звонка—первые 10 сек.—появляется на 9-м разе, т. е. спустя 16 минут.

3) Пищевая реакция имеет тенденцию к заметному падению по мере хода опытов: в 49—50-ом опытах она равна 237 ед. в среднем. Но это падение не носит строго-последовательного характера. Бывают «перебои» в тенденции падения, так 15-й опыт имеет 325 мил., 24-й—630 м., 24-й—175 и т. под.; эти «перебои», на основании индуктивного метода единственного различия, объясняем изменяющимися психофизиологическими состояниями испытуемого.

4) Параллели между величиной пищевого рефлекса и начальной частью условного рефлекса²⁾, не отмечается: так, 30-й опыт и 190 мил. пищевого рефлекса имеет 25 начальн. условного рефлекса, а 31-й—на 170—40 м., а 32-й—175—35 м. Но неожиданно большой

¹⁾ Показания испытуемых в начале и конце опытов заносятся в протокол в подлинных словах испытуемых.

²⁾ Начальной частью условного рефлекса мы называем выделение слюны на звонок до момента подачи пищи.

пищевой рефлекс в 23-м опыте—630 м. дает, как будто, пропорциональный начальный условный рефлекс 50 м. При таких условиях можно предположить пропорциональность нач. условн. рефлекса и пищевого рефлекса только в некоторых случаях. В большинстве же случаев, как видно, такой пропорции не существует.

Первая, установочная, часть зависит именно от работы психофизиологического аппарата внимания, вторая часть реакции—слюноотделение на пищу—значительно меньше зависит от внимания, а часто представляет чисто физиологический акт, а не психофизиологический. Не тождественность этих двух органических аппаратов, физиологического и психофизиологического (при их единстве) и порождает факт непараллельного протекания установочной части рефлекса и пищевой слюнной реакции.

5) Такое же неустойчивое отношение можно отметить между величиной интервала времени и условной слюнной реакцией.

6) Поэтому надлежит признать заметную зависимость величины слюнной реакции и от «эндогенных» факторов психофизиологического характера.

7) Иногда в опытах определенно проявляется влияние общей установки испытуемого (внимания): так 22-й опыт дает полное торможение начальной части условного рефлекса. Наблюдения за испытуемым дают объяснение этому факту: «рассматривает все вокруг».

8) Вслед за таким торможением может наступить компенсирующее расторможение и начального условного рефлекса и пищевой реакции, а именно: в следующем 23-м опыте величина условного слюнного рефлекса возросла до 50, а пищевого—до 650 (в предшествующих двух опытах эти величины равны 100—300, и 0—365, а в следующих—25—175).

9) С 44 по 55 включительно произведена проба условного рефлекса, т.е. пища не давалась, а звонок давался попрежнему. И мы имеем общую величину слюнной условной реакции довольно большую. Она приблизительно равна половине пищевой реакции предшествующих опытов: 44 спыт.—100 мил., в 45 оп.—90, в 46—75, в 47—100 м., в 48 оп.—80 м.

10) При этом обращает внимание рост начального условного рефлекса (только на звонок—за первые 10 сек.) и падение условного рефлекса за остальные 15 сек. Первые цифры закономерно растут, вторые имеют тенденцию к падению. Это, по нашему мнению, свидетельствует о перенесении доминанты данной реакции на ее начальную установочную часть, что опять свидетельствует о большой роли психофизиологического момента (внимания). Переход в последних двух опытах к подаче пищи восстанавливает прежние цифры.

Дальнейшее течение опытов у Д. покажет нам эволюцию выработавшегося условного рефлекса.

Протокол № 2, 16 марта, Д.

Совпадающий условный раздражитель: звонок—25 сек., а через 10 сек. после его начала—пища: бутерброды—хлеб с колбасой. Показания испытуемого: «Чувствую так же, как и вчера, болела голова перед сном, но выпался; хорошо чувствую. Не кушал с утра—умылся». Нач. опыта в 12 ч. 30 мин. Задача опыта—поведение человека при выработавшемся у него условном рефлексе, см. примечания к 43-му опыту этой серии.

№№ опыта	Интервал времени между опытами	Условн. слюнный рефлекс до познания пищи за 10 сек. звонка	Пинцовой рефлекс	Примечания
1	2 м.	35	350	Слюна идет равномерно, быстро, как во время жевания, так и после.
2	"	10	505	
3	"	30	350	
4	"	80	350	Сразу берет пищу.
5	"	0	290	
6	"	60	350	
7	3 м.	35	450	
9	"	15	415	
10	"	45	570	Проба условн. рефлекса с 10 опыта по 40-й включительно.
11	"	60	100	Засматривает в кормушку.
12	"	25	95	Никакого внимания на кормушку.
13	"	35	70	Двигает ртом.
14	"	45	40	
15	"	50	90	Сидит очень спокойно.
16	"	10	125	
17	"	0	65	
18	"	35	45	
19	"	15	135	
20	"	30	45	
21	"	10	40	
22	"	10	65	Двигает губами и глотает.
23	"	35	65	Посмотрел в кормушку.
24	"	35	95	Помахаля головой.
25	"	25	90	Глотает слюну.
26	"	30	115	
27	"	25	45	Пока звонок, слюна бурно выделяется, потом сразу прекращается.
28	"	55	55	Смотрит на кормушку.
29	"	0	25	
30	"	0	95	
31	"	15	80	Следит за ящиком.
32	"	15	35	Проглотил слюну.
33	"	10	120	Сонное состояние.
34	"	25	60	
35	"	35	45	
36	"	15	75	Опустил глаза на ящик.
37	"	0	90	
38	"	45	85	Отворачивается.
39	"	40	70	Недовольное лицо.
40	"	35	135	Засматривает в ящик, глотает слюну, вытир губы.
41	2 м.	35	140	Вновь дается пища с 41 оп. и дальше по 50 включительно.
42	"	30	490	
43	"	35	530	
44	"	35	545	
45	"	35	570	
46	"	35	320	
47	"	30	430	
48	"	30	340	
49	"	45	400	
50	"	50	270	
51	1 м.	25	445	Без пищи с 51 по 53 опыт; посмотрел, переел.
52	"	50	190	Без пищи; посмотрел на ящик, проглотил слюну.
53	"	15	80	Без пищи — машет головой.
	"	25	90	

Показания испытуемого: «Думал обо всем, что приходило из инстинктуальной жизни, рассматривал стену, в углу кусок паутины. Как начинали звонить, то взгляд падал на ящик. Когда долго ж

давали пищи, иачиал думать. Сегодня звонков не испугался. Когда не давали пищи, сначала—«ничего», а потом злило. За время опыта аппетит уменьшился, но все-таки готов еще кушать. Щека не болела, но как будто от капсулы зуб заболел. На звонок всегда ожидал пищу».

Выводы: 1) Пищевой рефлекс в этот день меньше, чем в предшествующий, в среднем за первые 5 опытов он равен 367 мил., но начальный условный рефлекс не меньше предшествующего, доходит до 60—80 м. 2) Условный рефлекс обнаруживается в тот же миг, как начал впервые звонить звонок, давши 35 мил. Следовательно, выработанный условный слюнный рефлекс у даниого субъекта стойко держится до следующего дня. 3) При таких условиях с 11-го опыта стремились обнаружить скорость угасания условного рефлекса, давая только звонок, не подкрепленный пищей. За 30 опытов (с 11-го по 40-й), приблизительно за час времени, не было обнаружено какой-нибудь тенденции к его угасанию, настолько он был стоек. 4) За время пробы условного рефлекса обнаруживается заметное колебание величины слюнного рефлекса, как в первой его части, так и во второй. Наблюдения за двигательными реакциями испытуемого (см. примечание) и его собственные показания свидетельствуют о «беспокойном» поведении, с признаками «оптимального» возбуждения коры, которое обуславливает состояние сознания. Именно с такой сознательной формой поведения и приходится приводить в связь неустойчивость величин слюнной реакции. Методика условных рефлексов для полного понимания ее результатов нуждается в привлечении показаний испытуемого с объективным контролем этих показаний о переживании. 5) Подача пищи в дальнейших опытах (41—50) приводит слюнную реакцию к более устойчивой величине (см. опыты 41—50). 6) Последующие опыты без пищи такого же характера, как и подобные предшествующие (с 11 по 40-й опыт).

Следующий сеанс опытов у Д. был 22 марта.

Протокол № 3.

«Самочувствие очень хорошее, спал хорошо, только под утро неважно. Кушал: 2 яблока, аппетит сейчас хороший». Начало опыта 1 ч. 22 мин.

Совпадающий звонок № 3: 25 сек. звонок, через 10 с. после начала которого пища, рядом с опытами, при этом звонке давались опыты с более резким звонком № 2, без пищи. Задача: дифференциация условного раздражителя. Опыты без пищи со звонком № 2 — отмечены в примечании.

№№ опыта	Интервал между опытами	Условный рефлекс слюно. до подачи пищи за 10 сек. звонка	Пищевой рефлекс
1	2 м.	0	105
2	2½ м.	0	445
3		35	400
4		10	480
5	3 м.	20	325
6	4 м.	35	520
7	2½ м.	40	530

Примечания

До подачи звонка уже выделялось много слюны — 250 единиц. Звонок вызвал торможение начальной части рефлекса.

№№ опыта	Интервал времени между опытами	Условный рефлекс до подачи пищи за 10 сек. звонка	Питательный рефлекс	Примечания
1	2 м.	35	350	Слюна идет равномерно, быстро, как во время кормления, так и после.
2		10	505	
3		30	350	
4		80	350	Сразу берет пищу.
5		0	290	
6		60	350	
7	3 м.	35	450	
9		15	415	
10		45	570	Проба условн. рефлекса с 10 опыта по 40-й значительно.
11		60	100	Засматривает в кормушку.
12		25	95	Никакого внимания на кормушку.
13		35	70	Двигает ртом.
14		45	40	
15		50	90	Сидит очень спокойно.
16		10	125	
17		0	65	
18		35	45	
19		15	135	
20		30	45	
21		10	40	
22		10	65	Двигает губами и глотает.
23		35	65	Посмотрел в кормушку.
24		35	95	Помаял головой.
25		25	90	Глотает слюну.
26		30	115	
27		25	45	Пока звонок, слюна бурно выделяется, потом сразу прекращается.
28		55	55	Смотрит на кормушку.
29		0	25	
30		0	95	
31		15	80	Следит за ящиком.
32		15	35	Проглотил слюну.
33		10	120	Сонное состояние.
34		25	60	
35		35	45	
36		15	75	Опустил глаза на ящик.
37		0	90	
38		45	85	Отворачивается.
39		40	70	Недовольное лицо.
40		35	135	Засматривает в ящик, глотает слюну, вытрит губы.
41	2 м.	35	140	Вновь дается пища с 41 оп. и дальше по 50 значительно.
42		30	490	
43		35	530	
44		35	545	
45		35	570	
46		35	320	
47		30	430	
48		30	340	
49		45	400	
50		50	270	
51	1 м.	25	445	Без пищи с 51 по 53 опыт; посмотрел, переел.
52		50	190	Без пищи; посмотрел на ящик, проглотил слюну.
53		15	80	Без пищи — машет головой.
		25	90	

Показания испытуемого: «Думал обо всем, что приходило из ум из институтской жизни, рассматривал стену, в углу кусок паутины. Как начинали звонить, то взгляд падал на ящик. Когда долго не

давали пищи, начинал думать. Сегодня звонков не испугался. Когда не давали пищи, сначала—«ничего», а потом злило. За время опыта аппетит уменьшился, но все-таки готов еще кушать. Щека не болела, но как будто от капсулы зуб заболел. На звонок всегда ожидал пищу».

Выводы: 1) Пищевой рефлекс в этот день меньше, чем в предшествующий, в среднем за первые 5 опытов он равен 367 мил., но начальный условный рефлекс не меньше предшествующего, доходит до 60—80 м. 2) Условный рефлекс обнаруживается в тот же миг, как начал впервые звонить звонок, давши 35 мил. Следовательно, выработанный условный слюнный рефлекс у данного субъекта стойко держится до следующего дня. 3) При таких условиях с 11-го опыта стремились обнаружить скорость угасания условного рефлекса, давая только звонок, не подкрепленный пищей. За 30 опытов (с 11-го по 40-й), приблизительно за час времени, не было обнаружено какой-нибудь тенденции к его угасанию, настолько он был стойк. 4) За время пробы условного рефлекса обнаруживается заметное колебание величины слюнного рефлекса, как в первой его части, так и во второй. Наблюдения за двигательными реакциями испытуемого (см. примечание) и его собственные показания свидетельствуют о «беспокойном» поведении, с признаками «оптимального» возбуждения коры, которое обуславливает состояние сознания. Именно с такой сознательной формой поведения и приходится приводить в связь неустойчивость величин слюнной реакции. Методика условных рефлексов для полного понимания ее результатов нуждается в привлечении показаний испытуемого с объективным контролем этих показаний о переживании. 5) Поддача пищи в дальнейших опытах (41—50) приводит слюнную реакцию к более устойчивой величине (см. опыты 41—50). 6) Последующие опыты без пищи такого же характера, как и подобные предшествующие (с 11 по 40-й опыт).

Следующий сеанс опытов у Д. был 22 марта.

Протокол № 3.

«Самочувствие очень хорошее, спал хорошо, только под утро неважно. Кушал: 2 яблока, аппетит сейчас хороший». Начало опыта 1 ч. 22 мин.

Совпадающий звонок № 3: 25 сек. звонок, через 10 с. после начала которого пища, рядом с опытами, при этом звонке давались опыты с более резким звонком № 2, без пищи. Задача: дифференциация условного раздражителя. Опыты без пищи со звонком № 2—отмечены в примечании.

№ опыта	Интервал между опытами	Условный рефлекс слюны за 10 сек. звонка	Пищевой рефлекс
1	2 м.	0	105
2	2½ м.	0	445
3		35	400
4		10	480
5	3 м.	20	325
6	4 м.	35	520
7	2½ м.	40	530

Примечания

До подачи звонка уже выделялось много слюны — 250 единиц. Звонок вызвал торможение начальной части рефлекса.

№ опыта	Интервал времени между опытами	Условный слюн. рефлекс до подачи пищи — а 10 сек. звонка	Пищевой рефлекс	Примечания
8		30	475	
9		50	575	
10	5 м.	30	625	
11		35	590	
12	5 м.	50	460	
13	3 м.	35	450	
14		60	250	
15		50	395	Без пищи, № 2 звонок — улыбнулся.
16	3—30	25	210	№ 3 звонок — с пищей, не взял пищу.
17		60	480	№ 3 взял.
18		45	575	.
19		75	650	.
20		40	310	Без пищи № 2, глядит внимательно в ящик.
21		55	225	Без пищи, проглотил слюну.
22		30	125	Без пищи.
23		15	670	С пищей № 3 звонок.
24		70	540	.
25		35	595	Лицо спокойное.
26		25	230	Без пищи, звонок № 2, отвернулся, проглотил слюну.
27	1—30	40	95	Без пищи, проглотил слюну, покачал головой.
28		30	580	С пищей № 3 звонок.
29	2 м.	40	495	.
30		55	240	Без пищи № 2.
31		45	180	Без пищи, одним глазом поглядел на ящик, проглотил слюну.
32		50	360	То же.
33		45	475	С пищей № 3.
34		70	360	.
35	1—30	35	210	Без пищи № 2.
36	2 м.	50	99	Без пищи № 2, глотает слюну.
37	2 м.	50	450	С пищей № 3.
38	1—30	50	115	Без пищи № 2.
39		15	210	Без пищи, глазами провожает ящик.
40		25	80	Голову склонил на руку — № 2.
41		40	315	С пищей № 3.
42		30	410	Усталый вид, глаза полузакрыты.
43		60	65	Без пищи, № 2.
44		35	20	Посмотрел на ящик, № 2.
45		0	40	С пищей — № 3 звонок — улыбнулся.

Опыт окончен в 3 ч. дня. Показания испытуемого: «все по-старому, только есть и новое: перед пустым ящиком давали громкий звонок, и я уже знал—будут или нет давать пищу. Действует на нервы этот звонок: звонок кончается, а от него еще идет какая-то дрожь по телу—противно. Аппетит немного остался, но все-таки утолил его. Была небольшая сонливость, но гораздо меньшая, чем раньше. Мысли в голове были разные и много—хорошие и плохие».

Выводы: 1) Первые опыты мало чем отличаются от опытов предшествующих сеансов. С 15-го опыта начинается проба на звонок без пищи. Новый звонок вначале (15 оп.) вызывает даже более сильную реакцию, чем на звонок с пищей (сравните 15-й и 16-й опыты).

2) В последующем звонок № 2—без пищи и звонок № 3—с пищей перемежались, дабы дать большую возможность выработки дифференциации. Но до конца опытов, в течение 30 опытов, полной дифференциации не удалось выработать.

3) Все, что мог дать за это время процесс дифференциации, изменилось: в заметном падении величины условного рефлекса: в 15-й

опыте он равен 445 мм., в 20-м опыте он равен 350 мм., в 30-м—295 мм., в 38-м—165 мм., в 43-м—125 мм. и в 44—55 мм., т.е. в заметном торможении выработавшегося условного рефлекса.

4) Если сравнить опыты «без пищи» и «с пищей» то заметим, что сравнительно больше падает вторая часть условного рефлекса (на звонок и ящик), чем первая—установочная (только на звонок). И здесь мы обнаруживаем большую активность начальной установочной части процесса выработки условного рефлекса, чем его последующей части. Начальной установочной части присущи преимущественно психофизиологические моменты.

Следующий опыт произведен через два месяца. Задача: стойкость выработавшегося условного рефлекса в зависимости от времени.

Протокол № 4.

«Самочувствие хорошее; дня 2 тому назад болела голова, сзади с левой стороны, сегодня ничего не кушал, только съел порцию мороженого». Опыт начался в 1 ч. 10 м. Звонок № 3, совпадающая методика 25 с., через 10 сек. —даем колбасу.

№ опыта	Время	Условный слюнный рефлекс до подачи пищи за 10 сек. звонка, второе число показывает выделение, пока берет пищу в рот.	Пищевой рефлекс	Примечания
1	0	20	455	
2	3 1/2	15—25	350	Руку держит все время у окна, на звонок 15 к.
3	6	30—10	320	Слюна очень равномерно идет на зв. 30 куб.
4	8—30"	40—20	320	Жует с очень серьезным видом, на звонок 40 куб.
5	10—30"	25—10	190	Руку держит наготове, на звонок вылилось 25 куб.
6	12—30"	50—20	230	20 куб. пока взял в рот.
7	15	45—35	240	На звонок шла медленно (10 к.), потом бурно (35 куб.).
8	17	20—20	195	Сидит спокойно. На звонок 20 куб.
9	19—30"	0—35	355	Кончил жевать за 1 м. (от момента, когда пища положена в рот).
10	22—30"	45—5	330	С появлением звонка делает жеват. движения, слюна быстро пошла (35 к.), поправляет капсулу, процесс жевания 45 с.

и т. д. всего 31 опыт.

Показания испытуемого. «Чувствовал разные звонки. Вспоминал, что раньше вы тоже давали пищу на мягкий звонок, а на резкий—нет. Первый раз на резкий звонок не дали пищи, потом уже не обращал внимания на различие звонков, рассердился на них, стали раздражать, надоели. Мысли не были сосредоточены на пище, наоборот, мысли разбегались в другие стороны. Немного утолил аппетит, иду обедать».

Но на следующий день 26 мая, при почти тех же условиях мы имеем заметно уменьшенный начальный условный рефлекс, а часто и отсутствие его. Для иллюстрации приводим часть протокола № 5, остальную опускаем за недостатком места.

Протокол № 5, 26 мая, Д.

«Самочувствие обычное, даже лучше чем вчера, весна: вот хорошее настроение, потом перед зачетом под'ем духа». Звонок № 3 совпадающий: 25 сек. через 10 сек. пища.

№№ опыта	Интервал времени между опытами	Условный слюно. рефлекс до подачи пищи за 10 сек. звонка	Пищевой рефлекс
1	30 м.	0	310
2	4 м.	5	265
3	6'—30"	10	290
4	9'	10	280
5	11'—30"	0	260
6	14'	0	220
7	19'—30"	0	280
8	22'—30"	0	150
9	24'	3	115
10	32'	5	290
11	35'—30"	5	315
12	39'	5	215
13	41'	10—10	350
14	44'	30	450
15	47'	5	375
16	49'—40"	5	335
17	52'—10"	0	300
18	55'—20"	0	355
19	57'—20"	0	400
20	60'	15	425
21	62'	10	425
22	64'—5"	0	410

и т. д., всего 64 опыта.

Показание испытуемого: «Очень долго, вспотел, спать хочется как никогда, раздражал резкий звонок. Раз 2 совсем не слышал звонка, задумался. Шум слышен, особенно не мешает. Сильная вялость во время опыта, несмотря на то, что до этого чувствовал себя хорошо».

Протокол № 6, 1 июня.

Наконец, приводим за 1 июня.

«Общее самочувствие хорошее, путевка в дом отдыха, настроение хорошее. С утра не кушал, аппетит есть. В воскресенье бодела голова (сегодня вторник)».

Совпад. звонок 25 сек., через 10 сек. после начала звонка пища

№№ опыта	Интервал времени между опытами.	Условный слюно. рефлекс до подачи пищи за 10 сек. звонка	Пищевой рефлекс
1	30"	20	250
2	3'—30"	0	105
3	5'—30"	25	120
4	7'—30"	0	50
5	9'	5	40
6	11'	10	15
7	13'	0	55
8	15'	0	15
9	17'	0	15
10	19'	0	20
11	23'	0	5
12	25'	0	10
13	27'	0	5

Примечания

При первом же появлении звонка слюна двинулась с места, до подачи пищи 20 куб.
Слюна пошла, как только пища попала в рот.

Слюна пошла обратно, после жевания слюна идет медленно.

На звонок слюна пошла обратно, слюна выделяется крайне медленно.

Слюна пошла обратно.

Сонное состояние, поправляет капсулу.

Слюна выделяется после начала жевания и в очень ограниченном количестве.

Заклинул голову, впечатление спит. Всего 100 мл.

№№ опыта	Интервал времени между опытами	Условный рефлекс до подачи пищи за 10 сек до звонка	Пищевой рефлекс	Примечания
14	29'	0	5	
15	33'	0	10	
16	35'	3	80	
17	37'	8	75	
18	39'	0	30	
19	40'—30"	0	45	
20	42'	0	65	
21	43'—30"	0	20	
22	45'	0	25	Сонное состояние.
23	46'—30"	0	0	
24	48'	0	15	
25	49'—30"	0	30	
26	51'	0	0	Состояние сонное.
27	52'—30"	0	0	Еле поднимает веки, жует как засыпающий ребенок, с остановкой.
28	54'	0	10	
29	55'—30"	0	20	
30	57'	0	15	

Показания самонаблюдения: «Сегодня во время опыта чувствовал себя хуже, чем всегда. Три последние ночи спал часов с 11 до 3-х ночи, играем в домино, в этот же день была первомайская конференция, в общем утомлялся и хотя моральное состояние хорошее, физическое неважное. Appetit был и есть. Сопливости я не чувствовал. В прошлый раз слюны было больше, приходилось даже всасывать, сегодня этого не замечал. В общем сидел вялый, чорт его знает почему».

Этот протокол говорит за наступившее торможение условного рефлекса как в его первой части, так и в последующей. Растущее торможение условного рефлекса сопровождается сонным состоянием. Экспериментальный сон, открытый Павловым на собаках, может наблюдаться в тех же условиях и на человеке.

Каков же наш общий вывод о природе методики условных рефлексов на основании опытов с человеком? Этот вывод мы видим в следующем:

Достаточное понимание отклонений в протекании условно-рефлекторных опытов у человека возможно лишь при учете его психофизиологических состояний, так как опыты с условными рефлексами вызывают у человека нервные процессы в той степени возбуждения, которая дает явления сознания. Учет именно такой степени возбуждения нервных процессов возможен только через учет психических переживаний, испытуемого. Если мы об этих переживаниях не получаем сведений прямо от объекта исследования (например, от собаки), то мы в тех или иных терминах, сознательно или бессознательно, примысливаем в своих объяснениях эти состояния.

Называние И. П. Павловым некоторых невыясненных форм поведения «рефлексом свободы», «рефлексом цели», «рефлексом любознательности», «рефлексом животного гипнотизма» и т. п. есть уже объяснение этих форм, объяснение по аналогии с психическими переживаниями человека.

Влияние психофизиологических состояний на течение опытов даже с собаками красноречиво описывает акад. Павлов: «Скрывается ли быстро солнце за облаками, прорвется ли луч света из-за туч, произойдет ли внезапное усиление или ослабление света электрической лампы, пробежит ли по окну или комнате тень (и т. п.)—во всех этих случаях непременно наступит деятельность скелетной мускулатуры: придут в специальное движение веки, глаза, уши, ноздри животного,

переставятся туда или сюда голова, туловище (и т. п.). Перед нами роковая реакция организма—простой рефлекс, который мы называем ориентировочным, установочным рефлексом»¹⁾.

Как бы мы ни называли установку человека или животного на восприятие окружающей среды, ориентировочным ли рефлексом или вниманием, но описание этого явления показывает, что оно по своей сути есть явление психофизиологическое; следовательно, для его действительно объективного изучения надлежит знать не только предположительные нервные механизмы его, но и функцию этих механизмов, ибо эта функция составляет характерную особенность данного нервного процесса в отличие от чисто рефлекторных случаев, когда тот же нервный процесс может протекать, не вызывая явлений сознания. Без учета функции нервного процесса мы не знаем конкретного состояния последнего, вследствие чего мы бессильны предсказать дальнейшее течение того поведения, которое основано на нервном процессе такого состояния.

К вышеприведенным словам Павлова о господстве в поведении испытуемого ориентировочного рефлекса (внимания) надлежит прибавить: 1) не всякое раздражение у человека, и у животного воспринимается, требуется определенная его величина, не меньшая ниже порога сознания и психическая установка на это раздражение; 2) эта установка присоединяется к данному ощущению предшествующий опыт испытуемого, чем-нибудь сходный с данным; куда и как далеко уйдет спонтанная деятельность испытуемого, мы не можем судить на основании простого наблюдения над ним. Это наблюдение позволяет наблюдать лишь колебания показательных цифр. Но доминирование в процессе основной психической установки все же выравнивает за продолжительное число опытов общую тенденцию от колебаний ее случайными отклонениями внимания.

Итак, в условных рефлексах человека, как и в его психических реакциях, мы имеем процессы, зависящие от центральной психической установки, и от ее колебаний, вызываемых причинами, как экзогенного характера (описанными выше Павловым), так и эндогенного—переработкой ощущения на основе предшествующего опыта. Психофизиологические явления у человека, как, вероятно, и у животного, ведут к колебаниям величин условного слухного рефлекса. Прочность же у человека основной психической установки может привести к ясным тенденциям опыта. Попытка изолировать все внешние раздражители ведет к экспериментальному сну, обнаруженному Павловым на животных, и нами на человеке; этот сон, конечно, тормозит условно-рефлекторный эффект. Основная установка сильнее может проявиться у человека в силу большего совершенства его нервной системы и более мощной функции последней—психики; и мы видим, что даже резкие изменения в окружающей обстановке, правда, редкие (стук дверей, рождество, автомобиль во дворе, изменения длины интервала), часто не оказывают влияния на тенденцию опытов, отразившись самое большее на одном опыте.

Условный рефлекс, как поведение, зависящее лишь от данного экспериментального раздражителя без влияния подвижного синтеза²⁾ этого раздражителя с прежними опытом испытуемого

¹⁾ Павлов, 20 лет, 1-е изд., стр. 81.

²⁾ Этот синтез, выражая свойства высокой организованности тела, для субъекту в его сознании.

неосуществляемая задача для живого организма. Условный рефлекс всегда будет зависеть от психофизиологической установки, на течение которой влияют разнообразные эндогенные и экзогенные факторы. Высокая нервная организация человека ведет к доминантному положению основной установки и дает относительно постоянное течение условно-рефлекторных опытов с ней. Признание такой роли установки ведет к выводу: между психической реакцией, как поведением, зависящим от осознанной инструкции, и условным рефлексом в начальный период его выработки разницы нет как со стороны их схемы нервных путей (приводящие пути, перерабатывающий центр и отводящие пути), так и со стороны психических переживаний и главной формы их — установки.

В данной методике исследовалась форма поведения человека, лишь минимально связанная с ее переживаниями, которые у человека, по Павлову, «направляют нашу ежедневную жизнь, обуславливают процессы человеческого общения» ¹⁾, и которые, по тому же Павлову, являются следствием «нервной деятельности определенного участка больших полушарий, обладающего известной оптимальной возбудимостью» ²⁾. Погашение этого участка ведет ко сну. Если это возбуждение остается, мы имеем сознание, — если гаснет, мы имеем сон. Оптимальные условия для выработки условного слюнного рефлекса требуют среднего между сознанием и сном состояния, но никогда не остаются без влияния сознательного или бессознательного сна; в первом случае мы можем иметь форсированную дифференциацию с исключением влияния условного раздражителя (тип следующего испыт. В.); во втором случае общее сонное торможение к концу опытов (тип испытуемого Д.). Таковы черты выработки и протекания условных слюнных рефлексов у здоровых людей.

Что же дает методика условных рефлексов для сравнительной характеристики испытуемых. Приведем часть протокола другого испытуемого В.; приводимые ниже данные получены по той же методике, что употреблялась и для Д. Данные получены уже на второй день испытания В.

25	2,5	0	70	
26	2,5	0	115	
27	3 м.	0	110	
28	3 м.	2	125	
29	5—30	52	155	
30	2,5	8	52	
31	3	2	60	
32	3	5	65	
33	3	3	87	
34	3	3	87	К концу звонка слюна кончается.
35	2,5	3	57	
36	4	2	73	
37	2,5	0	86	
38	2,5	2	100	
39	2,5	2	93	Сидит спокойно, облизывается.
40	2,5	0	70	
41	2,5	0	70	Основательно жует, не как всегда.
42	3	5	65	
43	2,5	45	65	
44	3	0	3	
45	3	0	45	

¹⁾ «20-летний опыт», 1-е изд., стр. 157.
²⁾ Там же, стр. 159.

Показания испытуемого:

«Все вокруг белое, наводило на сон, слегка дремалось. Пищу встречал спокойно, без особого удовольствия, потому что знал, что она будет дана».

Мы привели для В. ту часть протокола, где начальный условный рефлекс заметно начал тормозиться, опустивши первую часть протокола, где начальный рефлекс был по величине близок к величине этой части условного рефлекса у предшествующего испытуемого Д.

В., как видно из протокола, представляет из себя тип с относительно слабовозбудимым пищевым центром и скоро наступающим торможением условного рефлекса, по крайней мере, в его начальной части. Это торможение я объясняю, как углубляющийся процесс дифференциации, когда мало возбудимый В. реагирует только на появление пищи, о которой, как свидетельствуют его показания, он знает, что она будет; в пользу нашего объяснения особенностей выработки условных рефлексов у В. говорят предшествующие опыты, когда условные рефлексы угасали у него последовательно, сначала на шум ящика, потом на звонок.

В. представляет крайний тип, противоположный Д.; особенности его заключаются в следующем:

- 1) в малой возбудимости пищевого рефлекса;
- 2) в скоро наступающем (на 4-м опыте) условном рефлексе, малом по своей величине, и
- 3) быстром торможении выработавшегося условного рефлекса, быть может, вызванным быстро идущей вглубь дифференциацией раздражителей.

Так как в протекании условных рефлексов у человека заметную роль играет внимание, то мы, для полного освещения методики условных рефлексов, дальше занялись изучением внимания у наших испытуемых В. и Д. психофизиологическими методами, именно—тахистокопией. При этом мы обнаружили следующие особенности внимания у наших исследуемых. В. имеет относительно больший объем внимания и динамический характер его, т.-е. В., воспринимает в начальный момент своей установки относительно большое число раздражений, но этот объем внимания изменяется, у В. он растет по мере хода опытов до определенного высшего предела. Д., наоборот, имеет меньший объем внимания—2 единицы, но его внимание носит статический характер, т.-е. в начальный момент установки он воспринимает немного раздражений, и этот объем длительно сохраняет без дополнительного возбуждения внимания. Такая характеристика В. и Д. совпадает с педагогической характеристикой этих студентов, ибо педагогическая характеристика ближе всего стоит к психофизиологической. Протекание условных рефлексов, и по приведенным взглядам акад. И. П. Павлова, и по данным наших опытов зависит от установки или внимания. Тот психофизиологический аппарат внимания, которым обладает наш испытуемый В.—с большим объемом и быстрым приспособлением к работе—объясняет протекание условных рефлексов у В., а именно: быструю дифференциацию всех раздражителей, приводящую к торможению действия условных раздражителей. Малый объем внимания с постоянством его работы у Д. объяснит относительно большую величину его условно-рефлекторных феноменов и более длительное их сохранение. Можно было бы обоих представителей типов протекания условно-рефлекторных феноменов назвать: первого В.—более психогенным, второго Д.—более рефлексогенным. Угасания

к концу серии опытных сеансов мы имеем и у В. и у Д. с теми различиями, которые мы сейчас только указали; это угасание приходится объяснить погашением внимания к экспериментальной обстановке и наступающим при этом состоянием сонливости: длительное однообразие обстановки приводит к тем состояниям испытуемых, о которых они (почти все) говорят одинаково в своих показаниях: «надоело, клонит ко сну».

Конечно, и рефлекторное поведение и психофизиологическое опираются на нервные механизмы; но при психофизиологическом исследовании мы исследуем функцию физиологических процессов, находящихся в состоянии оптимальной возбудимости; лишь такие физиологические процессы продуцируют явления сознания.

Спор между психологией и рефлексологией сводится к тому, надлежит ли изучать функцию физиологических процессов—сознание, или ограничиться общим изучением физиологических процессов без обращения внимания на то особо интересное для социальной жизни состояние этих процессов, когда они продуцируют сознание. Мы полагаем, что изучение явлений сознания, как психофизиологических явлений, необходимо даже для понимания элементарных, чисто физиологических, форм поведения, не говоря уже о типичном социальном поведении. Это утверждение мы и постараемся уяснить дальше.

Поставленный вопрос суживается, по нашему мнению, до более определенного вопроса отношений социальных факторов и чисто-биологических. Социальная жизнь есть высшая приспособительная деятельность человека, протекающая в обществе себе подобных. В социальном поведении субъект реагирует на окружающую действительность высшим нервным аппаратом—работой коры, которая синтезирует работу остальных нервных центров,—и реагирует при этом не только вообще возбуждением коры, но и оптимальным; только последнее возбуждение и вызывает явления сознания. Нет социальной жизни без участия сознания.

Социальная жизнь опирается на знание, а знание, по Плеханову, всегда субъективно, психично. «Что значит знать данную вещь,—говорит Плеханов,—это значит иметь правильное представление об ее свойствах. А представление об ее свойствах основывается у нас на тех ощущениях, которые мы испытываем, подвергаясь ее воздействию. Знание и ощущение всегда субъективно, потому что процесс познания есть не что иное, как процесс возникновения известных представлений в субъекте»¹⁾. В силу такого большого значения психики в социальной жизни Плеханов утверждал: «Экономический материализм является ответом на вопрос, как развивается конкретная деятельность человека, как развивается его самосознание, как складывается субъективная сторона истории»²⁾. Необходимость учета значения психических явлений в социальной жизни подчеркивал и Маркс: «Главный недостаток материализма—до Фейербаховского включительно—состоял в том, что он рассматривал действительность в форме объекта, а не в форме конкретной человеческой деятельности, не в форме практики, не субъективно»³⁾.

Вот почему психология является наукой, по взглядам марксизма, наиболее тесно примыкающей к социологии. Социологические фак-

¹⁾ Плеханов, От обороны к нападению, стр. 128.

²⁾ Плеханов, К вопросу о развитии монистического взгляда, 1920 г., стр. 190—191.

³⁾ К. Маркс, Тезисы о Фейербахе.

торы, действуя на организм, отбирают и упражняют только те элементы физиологического поведения, которые требуются социальным спросом на них и, наоборот, оставляют без упражнения те элементарные механизмы, на которых социального спроса нет. Чистые физиологические формы поведения, это—элементарные консервативные формы, повторяющие то, что было; психофизиологические формы поведения, или социальные, являются целостными творческими формами, осуществляющими то новое в поведении, которое требуется всегда меняющейся социальной жизнью.

Рассматриваемый нами вопрос освещается и отношением деятельности целого организма с его свойствами, деятельности части организма. В жизни высших организмов целым часто определяется часть; это есть вывод и новейшей физиологии, и новейшей психологии. «Исходя только из внешнего воздействия и абстрактного понятия о «простом рефлексе», никогда нельзя предсказать наверняка характера рефлекторного ответа: все зависит от внутреннего центрального равновесия»,—говорит, близкий к рефлексологам, физиолог М. И. Виноградов, подводя итоги новейшим исследованиям физиологии нервной системы, и дальше поясняет: «Аппарат был бы слишком инертен, если бы деятельность его раз навсегда определялась, заранее установленной гармонией между фокусом раздражения и характером реакции»¹⁾. «Небезразлично для осуществления определенного рефлекторного акта состояние центральной нервной системы в целом, ибо каждая иннервация протекает не уединенно, но по совокупности с целым рядом побочных центральных влияний. «Современная физиология отклонилась от понятия зафиксированного рефлекса, признав его иллюзорность»,—заключает Виноградов, ограничивая эти выводы претензии рефлексологии. Этот вывод есть только изложение основных положений новейших физиологических школ Sherrington'a и Н. Е. Введенского.

Со своей стороны, мы заметим: целостное состояние организма дано для субъекта в форме явлений его сознания. Познание есть всегда акт; выражающий результаты работы различных нервных центров в целом; это положение особенно ясно развито новейшим направлением психологии, так называемой, Gestaltpsychologie; например, курьеза, обезьяна в убедительных опытах этой школы всегда воспринимали сложное зрительное раздражение, как целостный образ (Gestalt), а не как простую сумму его частей.

Эта целостная структура нашего восприятия, или, по выражению W. Köhler'a, сенсорного поля, зависит не только от комбинации раздражителей, но также и от общей внутренней ситуации животного, напр., его голода, возбужденности, утомления, прошлого опыта и т. п. Синтетическим выражением всех этих факторов является форма и содержание наших состояний сознания. Исходя из этих посылок, теоретики Gestaltpsychologie описывают основные задачи этого направления так: «говорить, что изучение поведения должно быть исследованием реакций в их зависимости от раздражителей—это было бы теперь весьма путаной программой, грозящей совершенно закрыть другую, основную проблему: каким образом сенсорные процессы зависят от данного комплекса раздражителей? Как зависит от этого сенсорное поле и как зависят реакции поведения?»²⁾. Решение во-

¹⁾ «Новое в рефлексологии». 1925 г., стр. 77—78.

²⁾ W. Köhler, статья «Intelligence of Apes» в сборнике университета Калиф. в Массачусетсе «Psychologies of 1925».

проса, как сенсорное поле, восприятие, определяется внешним и внутренним раздражителем и раздражением, и есть ответ на основной вопрос марксистской психологии: как сознание является функцией высокой организованности тела.

Психические процессы есть функция высокой организованности тела; психические функции тела отражают для субъекта синтез многочисленных процессов его тела. Только поведение с участием сознания является типичным социальным поведением. Психофизиологические процессы являются, так сказать, посредствующим звеном между социальными факторами и чистыми физиологическими фактами. Понять конкретное жизненное значение чистых физиологических форм поведения (рефлекторных) можно только, исходя из освещения этих форм социальной психофизиологией. Вот почему, приведя экспериментальные данные о протекании условных рефлексов у человека, мы дальше интерпретировали эти элементарные формы поведения человека психофизиологическими данными, именно—исследованием внимания; последнее является отражением целостного состояния организма, вызванного действием раздражителей социального значения на физиологические механизмы.

Внимание, как отражение для субъекта целостного состояния его организма при восприятии им раздражителей, освещает особенности протекания у субъекта условных рефлексов: Д. относительно медленно вырабатывает условные рефлексы, но значительно дольше хранит их; такое протекание условных рефлексов у него связано с качествами высшего приспособительного аппарата—внимания, имеющего малый объем и статический характер. Особенности протекания слюнного рефлекса определяются целостным состоянием организма, особенности целостного состояния для субъекта даны в форме сознания—в частности, внимания; потому-то особенности внимания могут освещать особенности протекания элементарных форм поведения—условных рефлексов. Испытуемый В., наоборот, быстро вырабатывает условные рефлексы и быстро их тормозит, понять такой характер его условных рефлексов мы можем из особенностей его целостного состояния организма, выражающего в форме внимания, а именно: у данного субъекта оно имеет большой объем и динамический характер.

Далше мы изложим отдельные части наших экспериментальных исследований условных слюнных рефлексов у людей; с целью показать то, о чем говорил физиолог Виноградов: «исходя из внешнего воздействия и абстрактного понятия о «простом рефлексе», никогда нельзя предсказать характера рефлекторного ответа: все зависит от внутреннего центрального равновесия», выражение которого для субъекта, прибавим мы, дано в форме сознания. Для уточнения понимания вывода М. И. Виноградова мы прибавим: поведение человека определяется «бытием» в целом, а не отдельным «кусочком» этого бытия в виде одного данного раздражителя; совокупность восприятия одного данного раздражителя и всего прежде воспринятого «бытия» дана субъекту в работе его сознания. При этом мы оговариваемся, что, когда мы говорим о рефлексологии, то речь у нас идет не об изучении физиологических механизмов вообще, а о специфической технической методике, претендующей на замену методов психофизиологии. Что касается физиологических механизмов внимания, то они являются неотъемлемой задачей психофизиологии, разрешаемой многими ее методами совместно с физиологией. Психофизиология (экспериментальная физиологическая психология) посвятила очень много трудов физиологическим механизмам внимания (работы Вундта, Рибо, Болдуна и др.).

Надлежит помнить, что основными методами современной материалистической психологии могут быть, с одной стороны, методы физиологической психологии, а с другой, методы коллективной, социальной психологии (Völkpsychologie). Это об успехах физиологической психологии писал в 1908 г. В. И. Ленин, как о «господствующей» психологии, стихийно стоящей на материалистической точке зрения: «Материалистическую точку зрения,—говорит Ленин,—отвергает Аенарнус, называя «мышление мозга» фетишизмом естествознания». Он признает, что естествознание стоит на стихийно, бессознательно материалистической точке зрения. Он признает и прямо заявляет, что «расходится безусловно с господствующей психологией (подчеркнуто В. И. Лениным). Эта господствующая психология совершает недопустимую «интроспекцию»—такое новое словечко, вымученное нашим философом, т. е. вкладывание мысли в мозг, или ощущений в нас»¹⁾.

И когда мы освещаем результаты условных рефлексов психическими данными, то мы имеем в виду результаты физиологической психологии, или психофизиологии, перестроенной на принципах диалектического материализма; работу введения в психофизиологию принципов диалектического материализма у нас в СССР и ведет группа психологов-марксистов, во главе которых стоит проф. Коринлов; эта группа ведет принципиальные споры и с психологами-эмпириками, избегающими ставить принципиальные вопросы бытия и познания, и тем уклоняющимися от решения вопроса о материальной природе психического, с рефлексологами, отрицающими жизненное значение психики и возможность ее научного изучения.

Рассмотрим теперь к характерным особенностям протекания условных слюнных рефлексов у школьников семилетки. В этой работе мы имеем возможность проследить особенности слюнных рефлексов у подростков, имеющих наиболее высокую общую одаренность, отлично успевающих по всем учебным предметам, и у подростков-учащихся, наиболее слабых в этом отношении.

Влияние особенностей целостного состояния организма на протекание элементарных, частичных, форм поведения в этих опытах, по нашему мнению, сказывается особенно заметно. У первых учеников (по всем предметам) при пробе выработавшегося условного рефлекса последний угашается по протокольным данным заметно скорее, чем у слабых учеников.

Приводим протокол, по техническим соображениям, в выдержках: 4/IV 1927 г. Лучший ученик А. Совпадающий рефлекс: 25 сек. звонок, через 10 сек. после его начала подается пицца—кусочек шоколада. Показания испытуемого: «на опыты иду охотно, шоколад люблю».

№№ опытов	Нач. усл. рефлекс	Пищевой рефлекс	Примечания
1	0	288	Звонок с пищей
2	0	330	
3	0	372	
4	0	310	
18	0	141	
22	0	130	
23	0	115	

¹⁾ Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, стр. 82

№№ опытов	Нач. усл. рефлекс	Пищевой рефлекс
Проба усл. рефлекса: звонок без пищи		
27	0	20
28	0	20
29	0	2
30	0	0
31	0	0

Сравним теперь протокол опытов по выработке и угашению условных рефлексов у слабого ученика К. 10/V; показання испытуемого: «шоколад люблю, на опыты иду охотно». Совпадающий рефлекс при всех тех же технико-методических условиях, что и у предыдущего испытуемого—лучшего ученика.

№№ опытов	Нач. усл. рефлекс	Пищевой рефлекс
1	0	100
2	0	70
3	0	45
4	0	50
19	0	190
20	5	180
21	5	260
23	4	190
Проба усл. рефлекса		
29	8	120
30	6	60
31	6	158
32	5	72
33	4	50
34	4	45
35	2	25
36	2	100
37	0	50
38	0	15
39	0	20
40	0	5

Данные, сходные соответственно с данными последних двух протоколов, получают и для других сильных и слабых учеников.

Условные рефлексы у одаренных учащихся, как видно, при пробе довольно скоро угашаются: слабый по успехам ученик К. при тех же экспериментальных условиях дает угашение выработанного у него условного рефлекса значительно позже, хотя пищевая реакция у него в начале опытов и меньшая, чем у сильного ученика (у слабого 100, 70, 45, у сильного 288, 330, 372). Слабые ученики более устойчивы в сохранении рефлекса, чем сильные; господство привычки у них превалирует над возможностью изменения ее под влиянием всегда наличествующих новых впечатлений. Эту склонность к автоматизму проф. Россолимо считал характерной для отстающих учащихся; задачи на автоматические проявления в тестах проф. Россолимо, по его мнению, вскрывают отсталость тех, у кого быстро вырабатываются автоматические движения. Как видно, имеется доля аналогии между приведенным утверждением проф. Россолимо и выводами наших опытов с условными рефлексами.

И в данном случае практическую ценность выводов, полученных по условно рефлекторной методике, приходится устанавливать на основании данных психофизиологического характера, а именно: на основании данных об интеллектуальной одаренности учащихся. Протекание элементарных, частичных форм поведения организма

объяснимо при рассмотрении их с точки зрения социальных установок, к каковым принадлежат установки при воспитании и обучении; социальные же установки осуществляются целостными состояниями организма, выраженными для субъекта в форме его психических переживаний.

Интересны, по нашему мнению, для разрешения поставленного в этой статье вопроса, данные исследования условных слюнных рефлексов у заключенных в тюрьму за хулиганство (по 176 ст. Улр. Угол. Кодекса).

Все 12 исследованных заключенных дали резкую депрессию выработки условных слюнных рефлексов у них. Приведем типичные выдержки из протоколов. Испытуемый Св. Совпадающий: рефлекс.

№№ опытов	Нач. усл. рефлекс	Пищевой рефлекс
1	0	0
2	0	6
3	0	45
4	0	10
5	0	15
6	0	10
7	0	15
8	0	5

Протокол заключенного за хулиганство, Свр.

№№ опытов по порядку	Нач. усл. рефлекс.	Пищевой рефлекс
1	0	10
2	0	11
3	0	9
4	0	10
5	0	4
6	0	3
7	0	4
8	0	1

и т. д.

Интересно привести протокол⁶ описанного уже впереди Св. после объявленной им в тюрьме голодовки. Депрессия условно-рефлекторных явлений при этих условиях достигла крайней степени.

16/III. Испытуем. Св., девятый день опытов. После прекращения объявленной голодовки

№№ опытов	Нач. усл. рефлекс.	Пищевой рефлекс
1	0	5
2	0	5
3	0	6
4	0	1
5	0	4
6	0	1
7	0	1
8	0	1
9	0	2
10	0	1
11	0	2

и т. д.

Конечно, состояние голодовки депрессирует, прежде всего, часто физиологические проявления организма, но надо думать, что самый факт голодовки, как средство борьбы заключенного с администрацией тюрьмы, не менее затрагивает и психофизиологические проявления заключенного, отражающиеся на его условных рефлексах.

Чем объяснить общую депрессию выработки условного слюнного рефлекса у заключенных в тюрьму? Нам кажется, все тем же влиянием целостного состояния их организма на формы функционирования их элементарных органических процессов, к которым принадлежат рефлекторные. Заключенные могут иметь депрессированные формы условных рефлексов или в силу возможной общей органической дегенеративности некоторых из них, или в силу депрессии психогенного характера у других, депрессии, вызванной тюремной обстановкой (социальным раздражителем). Чтобы понять найденные особенности протекания условных рефлексов у заключенных в тюрьму, мы принуждены были произвести психологическое исследование. Исследование интеллекта заключенных психологической аппаратурой и американскими тестами дали решения некоего вопроса: у кого из заключенных затрудненность выработки условных рефлексов вызвана дегенеративностью, а у кого—депрессией их нормальной психики обстановкой тюрьмы; первые дали при психологическом исследовании низкий коэффициент состояния их интеллекта, вторые—довольно высокий,—при общей для обеих групп затрудненности выработки условных рефлексов. Влияние тюремной обстановки на заключенных метод условных рефлексов вскрывает недостаточно; для разрешения такой задачи он нуждается в помощи и интерпретации методами экспериментальной психологии.

Вопрос природы и пределов методики условных рефлексов исследуется и исследованием условных рефлексов у больных. Мы исследовали условные слюнные рефлексы у энцефалитиков-паркинсоников; для сравнения с ними здоровых субъектов мы исследовали той же методикой студентов, описанных впереди.

Приведем характерную выдержку из протокола одного из этих тяжелых больных.

Больной (энцефалитик-паркинсоник) Е. Второй день опытов. Сопвпадающий рефлекс.

№№ опытов	Нач. усл. рефлекс	Пищевой рефлекс
20	50	475
21	60	490
22	20	260
23	20	190
24	35	110
25	20	130
26	20	220

Как и других подобных больных, условный рефлекс у Е. в норме ¹⁾.

Надлежит теперь объяснить любопытный факт нормы условных слюнных рефлексов у таких тяжелых больных, как хронические энцефалитики, патологическое состояние поведения которых бросается в глаза. Методика условных рефлексов, призванная указать особенности поведения больных, несмотря на резкую и очевидную аномалию этого поведения, не вскрывает патологических черт его у хронических энцефалитиков. Выявляется и в данном случае ограниченная определенными пределами экспериментальная мощность данной методики, как исследующей поведение человека; без дополнения ее дру-

¹⁾ См. об этом нашу работу «Условные слюнные рефлексы у хронич. энцефалитиков». Труды Укр. психоневрологического института, т. III, «Инфекция и нервная система», и монографию «Подкорковая психофизиология», изд. Укр. Гос. изд., 1928 г.

гимн методиками данная методика о больном будет говорить, как о здоровом.

Дополняющей методикой, вскрывающей сущность поражения наших больных и объясняющей результаты условно-рефлекторной слюнной методики, явилась реактологическая ¹⁾. В особенности динамики проявилась мускульная ригидность, присущая данным больным. Некоторые исследователи, не приняв во внимание искажающего влияния мускульной ригидности на всякую рабочую продукцию, прибегли для исследования внимания у данных больных к табличным методам: вычеркиванию букв и сосчитыванию предметов за определенное время. Но простая мускульная ригидность делала время этих работ удлинненным. Для разрешения вопроса о норме психических процессов надлежало привлечь иные методы, например, реактологический: когда мы из времени сложной реакции выбора вычли время простой полной реакции, то остаток, содержащий только время психических процессов (усложнения реакции выбором), был равен норме. Итак, такое исследование говорило о норме психических процессов у наших больных и о резкой аномии тоонизирования волевых моторных импульсов в пораженной субкоре.

При таких условиях станут понятны и выводы, вытекающие из нашей условно-рефлекторной слюнной методики. Условные слюнные рефлексы для своего осуществления требуют нормы деятельности коры, что у наших больных и имеется иначе; пораженный же у наших больных аппарат субкортикальной автомоторики для осуществления условных слюнных рефлексов не требуется; следовательно, условные слюнные рефлексы у наших больных, а priori, должны быть в норме. Для истолкования парадоксальных результатов слюнных условных рефлексов у данных больных мы, как видно, принуждены были прибегнуть к объективной психологической методике, в данном случае реактологической, без помощи которой мы имели бы внутреннее противоречие в толковании поведения данных больных.

Каковы же наши заключения о природе методики условных рефлексов?

Из разобранных нами протоколов считаем возможным сделать следующие выводы: 1) методика условных рефлексов в первой стадии опытов есть методика психофизиологическая; реакция испытуемого при этой методике есть целостные реакции организма, сопровождающиеся «оптимальным» возбуждением коры и, следовательно, сопровождающиеся явлениями сознания; 2) поведение в таком состоянии организма направляется «раздражителями» социального порядка; 3) понимание конкретное процессов высшего приспособительного поведения человека, — социального поведения, — невозможно без учета явлений сознания человека; 4) специфичность физиологических методов в отличие от психофизиологических характеризуются определением физиологии, как науки: возьмем это определение, например, у проф. В. Я. Данилевского: физиология «изучает функциональные свойства живых тканей и органов», функция же, по В. Я. Данилевскому, «представляет собой специализированную физиологическую деятельность, совершающуюся только в соответствующем органе» ²⁾. И дальше тот же автор указывает, что растущее совершенствование (организма) неизбежно связано с более тесной взаи-

¹⁾ См. об этом подробнее в нашем печатающемся исследовании: «Подкорковая психофизиология».

²⁾ Проф. В. Я. Данилевский, Физиология человека, т. I, стр. I и II.

ной зависимости между отдельными органами и тканями» ¹⁾, аппаратом взаимной связи (интеграции, целостности организма) является нервная система; рост нервной системы выражается увеличением большего мозга, продуцирующего психические переживания. «Вместе с психическим развитием,—говорит В. Я. Данилевский,—все более и более начинают доминировать сознательные «эндоэстимулы» ²⁾, настолько, что при достаточном развитии интеллекта «экзоэстимулы» ³⁾ могут действовать лишь после их психической переработки и внутренней их оценки» ⁴⁾. И в заключение физиолог принужден указать, говоря об «эндоэстимулах»: «Так как в это понятие входят, главным образом, сложные психологические и моральные черты, то очевидно, что эти проблемы уже выходят из пределов физиологии» ⁵⁾. Здесь и выступает новая наука—психология, как наука о функции высокой организованности тела, функции его единства и целостности, в противоположность физиологии, как науке о функции отдельного органа нашего тела. Конкретные случаи целостного состояния организма даны в психическом переживании. Из определения физиологии вытекает: сущность физиологического метода заключается в том, что он направлен, в силу познавательных задач физиологии, на изучение изолированной функции. Методическим идеалом физиологии являются опыты над изолированным сердцем, нервом, печенью, мускулом, маткой и т. п. Целостные состояния живого организма даны нашему знанию через сознание и испытываемого, и, конечно, исследователя; в случаях подхода физиологии к исследованиям целостных состояний, она пользуется в той или иной форме, сознательно или бессознательно, фактами и объяснениями психофизиологической природы. 5) Методика условных рефлексов может стать и узко физиологической методикой, исследующей функцию отдельного органа, но при условии, если она будет располагать средствами отличать процессы в живом организме, находящиеся только на физиологическом ступени, от процессов психофизиологического ступени; на процессы, изучаемые физиологией, оказывают влияние целостные состояния организма, характерной чертой последних состояний является отражение их в сознании.

Мы, пользующиеся методикой условных рефлексов для исследования поведения человека ⁶⁾, вынуждены мотивами, изложенными в данной статье, к отысканию признаков, отмечающих, когда данная методика имеет дело с чистыми физиологическими формами поведения, а когда с психофизиологическими. Методическими признаками, отмечающими целостную, психофизиологическую форму поведения от специфически физиологической, рефлекторной, формы, могут служить следующие, найденные нами в экспериментальном исследовании:

¹⁾ Там же, стр. 120.

²⁾ «Эндоэстимулы»—внутренний повод поведения, представляющий, с одной стороны, совокупность влияния данного внешнего раздражителя и всего предшествующего опыта—всех предшествующих раздражителей, следы которых хранятся в нервной системе, а с другой стороны—совокупность ощущений, вызванных состоянием внутренних органов.

³⁾ «Экзоэстимулы»—один какой-нибудь внешний раздражитель, действующий на организм в данное время.

⁴⁾ Проф. В. Я. Данилевский, Физиология человека, т. I, стр. 120—121.

⁵⁾ Там же, стр. 122.

⁶⁾ Наши пока напечатанные работы: «Методика дрожательных и сосудистых условных рефлексов у человека», «Укр. Вісник Рефлексології»; «Условные слюнные рефлексы у хронич. энцефалитиков», Сборник Укр. психоневрологического института; «Инфекции и нервная система»; «Подкорковая психофизиология» (глава об условных рефлексах); готовится к печати «Условные слюнные рефлексы у собак», «Условные слюнные рефлексы у осужденных за жуликовство» и др.

1) скрытое время процессов; настоящий двигательный условный рефлекс, как автоматизированное поведение, отличается от самой короткой психофизиологической реакции (моторной) величиной з-тентки; для двигательного условного рефлекса она, по нашим данным, в среднем равна 60—70 снгмам, для моторной реакции—100—120 снгм;

2) средним уклонением каждого конкретного случая рефлекса и психофизиологической реакции от среднего вывода; у одного и того же исследованного нами субъекта среднее уклонение для рефлекса равно 10 снгмам; среднее уклонение моторной реакции—35 снгмам;

3) сосудистой реакцией, как показателем эмоционального состояния; при истинном условном рефлексе, т.е. автоматическом акте поведения, эмоциональные явления, respective сосудистые, слабее и даже исчезают; при психофизиологической реакции, при установке, при исполнении акта и после его завершения сосудистые реакции всегда заметны, а часто протекают даже бурно;

4) кривая двигательных условных рефлексов заметно отличается от кривой психофизиологических реакций по своим компонентам; начальная, средняя и высшая скорости движений, ускорения, их рост и замедление дают те коэффициенты торможения, которые, по мнению Isserlin'a, а за ним и Lewy, характеризуют или торможение обратного толчка (Rückstossbremsung) или антагонистическое торможение (Antagonistbremsung); движение условного рефлекса и движение психофизиологической реакции имеют различные формы мускульного торможения.

Перечисленные признаки и подобные им позволят отличать формы поведения живого организма, подлежащие изучению только физиологии от психофизиологических форм поведения, характеризующихся непременно наличием сознания и относящихся поэтому уже не к физиологии, а к психофизиологии, или к экспериментальной физиологической психологии. Многие формы поведения, регистрируемые методикой, обычно называемой «условно-рефлекторная», относятся к явлениям психофизиологическим.

Методика условных рефлексов в начале своих опытов вызывает психофизиологические формы поведения испытуемого, которые по мере хода опытов могут стать чистыми физиологическими. Наличие методических признаков, позволяющих отличать в опытах одни формы поведения от других, может размежевать в таких случаях границы физиологии и психофизиологии, устраняя тем попытки некоторых рефлексологов использовать эту неразмежеванность. Введение в определенные границы материала, изучаемого методикой условных рефлексов, устраняет и необходимость для некоторых рефлексологов прибегать при своей аргументации к идеалистическим источникам, как это имело место до сих пор; к этим источникам некоторые из них необходимо влекутся, исходя из неверно понятой природы исследуемого материала, когда, имея дело с психофизиологическими явлениями, они исследуют их, как явления только физиологические, не имея ни желания, ни возможности исследовать явления материального порядка на их высшей ступени.

Различие диалектического и механического материализма заключается и в трактовке изложенного нами вопроса. Диалектическая точка зрения обязывает нас указать объективные признаки, по которым можно судить, когда техническая методика, обычно называемая у нас «условно-рефлекторная», имеет дело с психофизиологическими

состояниями организма и когда эта методика имеет дело с чисто-физиологическими состояниями. Давая экспериментальный ответ на этот вопрос, мы только отвечаем в данной области на требование диалектического материализма, выраженное Энгельсом следующим образом: «Называя физику механикой молекул, химию—физикой атомов и, далее, биологию—химией белков, я желаю,—говорит Энгельс,—этим выразить переход одной из этих наук в другую и, значит, связь, непрерывность, а также различие, разрыв между обеими областями». «Физиология есть, разумеется, физика и в особенности химия живого тела, но вместе с тем она перестает быть специально химией: с одной стороны, сфера ее действия здесь ограничивается, но с другой—она поднимается на высшую степень». «Химическое действие невозможно без изменения температуры и электричества, органическая жизнь невозможна без механических, молекулярных, химических, термических, электрических и т. п. изменений. Но наличие этих побочных форм не исчерпывает существа главной формы в каждом случае. Мы, несомненно, «сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но исчерпывается ли этим сущность мышления?»—заключает Энгельс.

Диалектическая точка зрения изучает во всех специфических особенностях все богатство и разнообразие форм существования материального мира, включая сюда и особенности тех свойств высокоорганизованной материи, которые мы называем состояниями сознания. Отрицание познаваемости их общими научными средствами есть типично идеалистическая точка зрения; отказ от изучения их специфических особенностей есть точка зрения механического материализма в отличие от диалектической. На основе каких методологических предпосылок и какими методами надлежит изучать состояния сознания при указанной здесь точке зрения—такова насущная проблема марксистской экспериментальной психологии.



ДИСКУССИОННЫЙ ОТДЕЛ

Ответ на „Несколько замечаний“ по поводу книг В. Г. Фридмана „Возможно ли движение?“ в связи с апорией Зенона „Ахиллес и черепаха“.

В. Фридман.

В № 7—8 «Под Знаменем Марксизма» помещено «Несколько замечаний» по поводу моей книги «Возможно ли движение?» Автор этих замечаний Г. Дмитриев в начале заявляет, что его замечания «не носят характера рецензии», что они касаются лишь (главным образом) парадокса об Ахиллесе и черепахе, вернее—моих попыток диалектически разрешить эти и другие парадоксы Зенона. Меня несколько не удивляет то, что Г. Дмитриев, не будучи ни естественником, ни математиком, не взял на себя труда дать общую рецензию о моей книге. Но, когда дальше (стр. 264) Г. Дмитриев заявляет, что более $\frac{3}{4}$ моей книги отведено на ни к чему не нужное «разглагольствование», то он уже сходит с позиций «нескольких замечаний» по поводу апории об Ахиллесе и черепахе и впадает в настоящий рецензионный тон». Такую «непоследовательность» я считаю недопустимой и крайне бестактной.

Г. Дмитриев полагает, что $\frac{3}{4}$ моей книги являются балластом и что лишь в $\frac{1}{4}$ книги изложены кое-какие собственные мои «мыслишки». Составив с этим указанием слова самого Г. Дмитриева о том, что и «попытки» современных формальных логиков, сторонников актуальной бесконечности (курсив мой.—В. Ф.), покоятся на сходных других, еще более уязвимых противоречиях». Вот тут я и задаю Г. Дмитриеву вопрос: откуда он узнал об этих попытках и откуда он знает, что эти попытки современных «актуалистов» основаны на еще более уязвимых противоречиях? Отвечаю: из моей книги, в которой ровно $\frac{1}{4}$ текста посвящено изложению и критике недавней попытки ленинградского профессора Богомолова (а также англичанина Ресселя) дать формально-логическое опровержение софизма Зенона (на основе понятия об актуальной бесконечности). Только в моей книге имеется подробная, впервые появившаяся в свет критика «актуалистических» попыток разрешения парадоксов Зенона. Г. Дмитриев «забыл» об этом, а между тем, эта $\frac{1}{4}$ моей книги, присоединенная к $\frac{1}{4}$, указанной самим Г. Дмитриевым, дает уже $\frac{1}{2}$ книги, отведенной на то, что я дел своего в этом вопросе, на мои «мыслишки» (по терминологии Г. Дмитриева¹⁾). Прибавим сюда еще $\frac{1}{4}$ книги, посвященную изложению и критике (вполне оригинальной во многих частях) других попыток разрешения парадоксов Зенона; раз я писал монографию по вопросу о возможности движения, то я обязан был дать этот критический обзор, если не относиться легкомысленно к делу. Я скажу больше: я жалел о том, что в моей книге не изложены некоторые другие попытки разрешения пар-

¹⁾ Разрешить апорию Зенона (стр. 263).

²⁾ Г. Дмитриеву, на высоте его мудрости и величия, законы простого здравого смысла не писаны!

джовс. Что же касается оставшейся $\frac{1}{4}$ книги, отведенной на выяснение исторической обстановки вопроса, то ясно, что я должен был рассматривать вопрос в его развитии, в движении, тем более, что книга моя носит подзаголовок: «Страница из истории борьбы материализма и идеализма». Наконец, несколько популярных раз'яснений, у меня имеющихся, необходимы, если иметь в-виду (об этом я говорю в предисловии) довольно широкие круги читателей. Из всего этого вытекает, что заявление Г. Дмитриева о том, будто $\frac{3}{4}$ (и даже более) моей книги посвящено ненужным разглагольствованиям, нисколько не соответствует действительности; это заявление есть лишь результат невнимательного отношения моего критика к моей книге.

Еще хуже обстоит у Г. Дмитриева дело с его заявлением о том, будто моя попытка разрешить парадоксы Зенона основана на допущении существования, кроме атомов движения и времени, еще и атомов пространства. Да, я считаю несомненным то, что существует предел делимости времени и движения (или, как я часто говорю в своей книге, продвижения), но я категорически отрицаю существование предела делимости расстояния. Правда, в немногих местах моей книги я применяю термин «атом расстояния»; но ведь из всего контекста, из всего смысла моего изложения ясно и в этих немногих местах, что речь здесь идет об атомах расстояния, проходимого при движении тела, т.-е. об атомах продвижения. Об этих атомах продвижения я говорю многократно: см. стр. 164, 165, 166, 167, 168, 173 (на этих страницах я определенно увязываю существование предела делимости движения с софизмами Зенона), 176, 177 (здесь об атомах продвижения упоминается 4 раза), 178, 181, 192 (здесь я говорю о существовании предела делимости при любом явлении природы), и, наконец, на заключительной 201 стр. Да ведь и из самого смысла теории квант вытекает, что речь может идти лишь о пределе делимости движения, а не расстояния или пространства, взятого само по себе, независимо от движения. Я готов принять упрек в том, что я не должен был в некоторых немногих местах моей книги упоминать об атомах расстояния без немедленного добавления: «проходимого движущимся телом», но не только! Но я категорически заявляю, что надо совершенно невнимательно читать мою книгу, чтобы вывести заключение, будто я признаю существование атомов расстояния (пространства) вообще, независимо от движения.

А между тем, Г. Дмитриев не только делает это заключение, но вдобавок спекулирует на атомах расстояния до пределов невозможного. Я имею в виду его изумительное рассуждение (сопровожаемое чертежом на стр. 265), стремящееся дать не более и не менее, как... «удвоение парадокса»? Г. Дмитриев начинается с буквально потрясающего (по бессмыслице) определения свойств атома расстояния (и длительности); именно он говорит, что «начальная точка (момент) атомного протяжения или длительности совпадает с его конечной точкой». Не заметив того, что такое определение свойств атома просто превращает атом в математическую точку и упраздняет самый атом, Г. Дмитриев переходит к чертежу, должному изображать, как Ахиллес догоняет черепаху. Ясно, что при условии, что конечная точка атома совпадает с начальной (это основное условие Г. Дмитриева), начало нарисованного Г. Дмитриевым отрезка А совпадает с его концом г, то-есть нет никакого отрезка определенного протяжения, а есть только одна непротяженная точка, и в этой точке находятся и Ахиллес и черепаха. Как же, спрашивается, может здесь идти речь о том, что Ахиллес догоняет черепаху, речь о каком бы то ни было движении вообще? Если вообще, как это делает Г. Дмитриев, допускать, что пространство и время состоят из атомов, у которых начальная и конечная точки совпадают, и что «пустые» промежутки между ними также не имеют протяжения, то все пространство и все время

исчезают и превращаются в одну точку, и мир вещей, материальный мир исчезает, испаряется; остается, повидимому, лишь «диалектика» Г. Дмитриева.

Все это не мешает Г. Дмитриеву с большой важностью заявлять о том, что кроме зеноновской апории: «Ахиллес никогда не догонит черепаху» существует (это—«великое изобретение» Г. Дмитриева) другая апория («дмитриевская»): «Ахиллес всегда догоняет черепаху». Чего же тут дожиаться, когда все, и Ахиллес, и черепаха, и весь мир... попали в одну единственную точку?! На ряду с действительно остроумным и великим парадоксом Зенона Дмитриев ставит эту нелепость?!

Какая цена после этого торжественному ~~заявлению~~ Г. Дмитриева (стр. 268) о том, что «конкретно, в действительном движении, пространстве и времени и формальное «никогда не догонит» и «формальное всегда догонит», связанные в единство, терпят ограничение и дают своим результатом встречу Ахиллеса и черепахи на таком-то расстоянии от начального пункта? В этих, сугубо в диалектических терминах выраженных, словах мы имеем дело с диалектикой по форме и полной бессмыслицей по существу. По этому поводу необходимо вспомнить то, о чем Энгельс говорит в «Анти-Дюринге» (см. стр. 116, изд. 1907 г., Яковенко): «Эту-то нелепость втискивают постоянно в диалектику метафизики. Если же я о всех этих процессах говорю, что они представляют отрицание отрицания, то я лишь обвиняю их эти законы развития, и только в этом смысле оставляю без внимания особенность каждого отдельного процесса (курсив мой.—В. Ф.). Диалектика ведь представляет собой не более, как науку о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления». Смысл этих и дальнейших слов Энгельса вполне ясен: нельзя подходить к явлениям природы и т. д. только с готовыми формулами; надо в каждом отдельном случае учитывать конкретные особенности вопроса.

Теперь об основном обвинении, бросаемом мне Г. Дмитриевым, то есть о том, будто моя попытка разрешить софизмы Зенона не диалектична, метафизична, будто я сижу на одной скамье с идеалистом Бергсоном и др. Я утверждаю, что Г. Дмитриев уже по одному тому не имел никакого права делать такого рискованного заявления, что он ограничился лишь рассмотрением одного парадокса об Ахиллесе и черепахе. Между тем, я в своей книге говорю достаточно подробно не только об этом парадоксе, но и о многих других (стрела, дихотомия, шум, сорит и т. д.). Почему же Г. Дмитриев не разобрал того, как я подхожу к этим другим парадоксам? И это тем более надо было сделать, что ведь нельзя отрывать моего подхода к парадоксу об Ахиллесе и черепахе от моего же подхода к другим парадоксам: все это составляет у меня одно согласованное целое. Так как Г. Дмитриев этого не сделал и так как для меня очень важно вскрыть всю вздорность его обвинения, то я самым кратким образом должен изложить суть моих рассуждений, составляющих основное ядро моей работы.

Парадокс «стрела» занимает совершенно особое место; в то время как парадоксы «Ахиллес» и «дихотомия» говорят о противоречии между нашим мышлением о движении и реально происходящим в природе движением, парадокс «стрела» указывает на внутреннее противоречие в самом движении (см. стр. 62 моей книги). Этот последний парадокс давно разрешен Гегелем; движение, как говорит Плеханов (следуя Гегелю), является «непрерывным свидетельством в пользу логики противоречия» (об этом я упоминаю на стр. 83 и 84). Движение, всякое изменение вообще, есть противоречивый процесс. Парадокс «дихотомия» говорит о том, что движение (даже если отвлечься от его внутренней противоречивости, вскрываемой парадоксом «стрела») не может начаться; парадокс «Ахиллес» говорит о том, что, если даже допустить возможность начала движения, то оно никогда не может закончиться. Каждый из этих 3 основных парадоксов Зенона занимает свое

особое место, имеет свое значение. Огромное большинство ученых, трактовавших об этих парадоксах, стремились показать, что рассуждения Зенона, с точки зрения формальной логики, ошибочны. С другой стороны, Бергсон и Джемс, признавая математическую правильность этих рассуждений, обвиняли Зенона в нарочитой искусственности его построений и, кроме того, делали из парадоксов вывод о невозможности для разума человека познать по-настоящему вселенную.

Мой подход следующий: путем подробной критики я доказываю неправильность позиции тех, кто стремится доказать ошибочность (формально-логическую) рассуждений Зенона (в софизмах «Ахиллес» и «дихотомия»); также опровергаю я обвинение Зенона в искусственности рассуждений и вывод об особом, интимном, способе познания вселенной, опровергаю учение Бергсона и Джемса о невозможности делить движение. Исходя из теории квант и ряда других соображений, я устанавливаю существование предела делимости движения («минимума продвижения») и прихожу к тому выводу, что Зенон ошибся не с точки зрения формальной логики, а с точки зрения диалектической логики; именно Зенон, доказывая (в парадоксах «Ахиллес» и «дихотомия») невозможность движения, указывает из виду одно из основных положений диалектического материализма,—положение об относительности истины (ее конкретности). Совершенно неправильно эту мою мысль формулирует Г. Дмитриев (на стр. 269); он говорит: «В результате ¹⁾ оказывается, что действительная материя движется в дискретном пространстве и времени, а воображаемая мыслимая материя, та, с которой имеет дело математика,—в непрерывном». Софизмы Зенона поэтому имеют значение только для этого воображаемого математического движения, но не имеют силы для действительности».

Я спрашиваю, во-первых, Г. Дмитриева: что это за вещь «воображаемая мыслимая материя математиков» и где я о такой вещи в своей книге говорю. Уж не математические ли точки образуют эту «материю»? Во-вторых, когда и где я говорю о том, будто «математическая материя» (по терминологии Г. Дмитриева) движется хотя бы и в дискретном пространстве? Ведь как раз наоборот: я именно доказываю, что математические точки (моя терминология) не могут двигаться. В-третьих, я вовсе не признаю дискретного пространства (с его нелепыми, дмитриевскими, атомами расстояния). Вот эту свою отсебятину, идущую в разрез с моими мыслями, Г. Дмитриев называет резюмированием моих рассуждений («в результате оказывается»)? Если меня Г. Дмитриев упрекает в том, что я Гегеля читал как «гоголевский Петрушка» (это лишь один из примеров неприличных до безобразия выпадов против меня Г. Дмитриева, не делающих ему много чести), то не следовало ли бы ему самому подумать о том, что и мою-то книгу нельзя читать по образцу «гоголевского Петрушки»?

Добавлю ко всему сказанному, что парадокс о множестве (о нем говорит и Г. Дмитриев, совершенно не упоминая о том, что и я даю его разрешение в моей книге) я разрешаю, исходя из положения об относительности истины; парадоксы «шум», «куча» (сорит) и «лысый», исходя из положения о переходе количества в качество, о связанном с этим переходом скачкообразном изменении. Я утверждаю, что ко всей затронутой моей проблеме (проблема о нападках древних элейцев на движение и на множество) я подошел с точки зрения учения диалектического материализма; мало того, я всю свою книгу построил по методу диалектического материализма: я рассмотрел проблему в ее развитии, в связи с исторической обстановкой, с борьбой материализма и идеализма (также веры и неверия), дал критический (достаточно всесторонний) обзор других попыток разрешения софизмов. Я вовсе не занимался тем, что вспоминал лишь о том, что «где-то говорится о ди-

¹⁾ Моих рассуждений.—В. Ф.

алектической формуле «да—нет и нет—да», а пользовался учением диалектического материализма в целом, то-есть целым рядом его основных положений, между прочим и тем (об этом я не говорил до сих пор), что практика есть окончательный критерий истины. Напрасно, наконец, Г. Дмитриев воображает, будто положение о конкретности (относительности) истины не имеет ничего общего с формулой «да—нет и нет—да», и напрасно он считает мое указание на эту связь забавным примером моей «сугубо-материалистической диалектики». Г. Дмитриеву следовало бы серьезнее отнестись к вопросу об этой связи; впрочем, может быть, об этом он еще не удосужился подумать. Рекомендую ему этим заняться.

Но вот уже действительно забавно, как Г. Дмитриев защищает Гегеля от «несправедливых» моих нападок. Я, так же, как и другие диалектико-материалисты, считаю Гегеля великим диалектиком; а если я указываю на то, что Гегель был идеалистом, что он частенько склонен был не считаться с бытием, что он подчас очень трудно выражал свои мысли, так что же в этом особенного? Все это знают, и все-таки гегелевскую диалектику Марксу и Энгельсу пришлось перевертывать на ноги. Единство противоположностей не есть все-таки их тождество, и это единство нисколько не исключает их борьбы, через которую, между прочим, и осуществляется единство.

«Несколько замечаний» Г. Дмитриева по поводу моей книги я выложен, на основании всего вышесказанного, рассматривать, как легкомысленный, облеченный притом в некорректную форму, пожарный налет на мою книгу, да и вообще на всю затронутую мною проблему.



Еще раз о парадоксе Зенона „Ахиллес и черепаха“ и путанице В. Фридмана.

Г. Дмитриев.

В своих замечаниях на книгу В. Фридмана¹⁾ я указал, что парадоксы Зенона, так же, как и всякие другие парадоксы, происходят по причине отвлеченной и разделяющей деятельность формально-логического мышления. Это мышление разлагает живое конкретное диалектическое единство на части, придавая им самостоятельный вид и забывая о том, что эти односторонние и искусственно выделенные части могут существовать и рассматриваться только совместно с движением конкретного целого. Величайшая заслуга Зенона состояла в том, что он первый указал на противоречия нашего мышления, в какие оно впадает, пытаясь таким односторонним путем овладеть реальной конкретностью. Он первый отчетливо формулировал парадоксы числа, величины, движения, пространства и некоторые другие.

В прошлый же раз я отметил, что все эти парадоксы, как правило,—множественные «удвоенные парадоксы». Эта удвоенность отнюдь не случайна и не является моим досужим изобретением, как почему-то хочет приписать мне В. Фридман,—она находится в прямой зависимости от того, какой момент выдвигается из диалектического единства и рассматривается изолированно.

Уже Зенон каждую из своих апорий против множественности вещей снабдил двумя параллельными и противоположными аргументами—тезисом и антитезисом.

Вот как, вкратце, располагаются доказательства в первой апории Зенона:

«Если допустить существование многих вещей, то окажется, что 1) они вовсе не имеют величины (тезис) и 2) они бесконечны по величине (анти-тезис)»²⁾. То же разделение аргументов мы имеем и во второй апории: «Если допустить существование многих вещей, то окажется, что 1) вещей конечное число (тезис) и 2) вещей бесконечное число (антитезис)»³⁾. Это же удвоение доказательств мы имеем и в дихотомии. В зависимости от того, что мы принимаем за основу наших рассуждений—мы приходим к выводу—или 1) движение не может кончиться, или 2) оно не может начаться.

Если от зеноновых апорий мы обратимся к другим известным парадоксам и софизмам древности—мы также отметим две противоположных линии, по которым располагается аргументация. Вот, напр., знаменитый парадокс «лгуна» или «Эпименида», на котором поломал себе зубы, в настоящее время, Б. Расселль. «Эпименид критянин говорит, что все критяне лгуны. Лжет ли он или говорит правду?» Если мы предположим, что он лжет — выйдет, что он говорит правду (тезис), если же предположить, что он сказал правду, выйдет, что он лжет (антитезис). Мы не имеем возможности сейчас

¹⁾ «Под Знаменем Марксизма» № 7—8 за 1927 г.

²⁾ А. Маковельский, Досократизм, ч. II, стр. 52.

³⁾ Там же, стр. 55.

остановиться на разборе этого интересного парадокса. Он отчетливо показывает беспомощность формальной логики перед диалектическими трудностями в соотношении всеобщего, частного и единичного, — как момента конкретного понятия.

До сих пор мы приводили примеры парадоксов касающихся точного естествознания — времени, пространства, величины и движения. Но сходные и также «удвоенные» парадоксы можно в неограниченном количестве привести из всякой другой области действительности.

Гегель совершенно справедливо упрекает Канта за то, что он ограничился только четырьмя антиномиями.

«Главное, что здесь необходимо заметить, это то, что существуют не четыре только антиномии, заимствованные из мира, но что они находятся во всех предметах, какого бы рода они ни были, во всех представлениях, понятиях и идеях. Признать это начало и узнать это свойство в вещах, это составляет существенный предмет философского исследования; это само свойство образует диалектический момент логической мысли» (Малл, логика, пер. Чицова, стр. 90).

Вот пример из области нашего познания:

Диалектический материализм утверждает, что абсолютное и относительное в нашем познании не противостоят и не сливаются односторонне друг с другом. Только для метафизика-абсолютиста — истина дана в вечном неизменном раз навсегда данном застывшем виде. Только для метафизика-релятивиста истина — это нечто бесконечно неуловимое и подвижное, абсолютно субъективное и изменчивое. Абсолютное и относительное в нашем познании увязывается в единство. И метафизик-абсолютист, выхватываящий из этого единства одну сторону абсолютности, и релятивист, выхватывающий сторону относительности, — каждый из них впадает в неразрешимый формально-логический противоречия.

Так же, как и в сфере точного естествознания, мы имеем здесь дело с «удвоенным» парадоксом познания, правильное раскрытие и разрешение которого может дать только диалектический материализм.

* * *

Есть разные способы группировки парадоксов Зенона в зависимости от основных исходных положений. Парадоксы против движения, напр., группируются в зависимости от того: рассматриваем ли мы движение в определенных границах или без них, участвуют ли в движении одно тело или несколько и т. д.¹⁾ Но как бы мы ни группировали эти парадоксы — мы можем провести принципиальное отличие между апориями «Ахиллес» и «дихотомия», с одной стороны; и апориями «стрела» и «стадий» (Но не то отличие — какое проводит В. Фридман — см. дальше.) Эти последние апории вскрывают непосредственно противоречия, присущие движению, — движение сводится к покою («стрела») или доказывается относительность и покоя и движения («стадий»). Другое дело апории «Ахиллес» и «дихотомия» — они вскрывают противоречия в движении не прямо, а косвенно — основываясь на тех противоречиях, какие присущи всякому количеству, величине времени, пространства и движения. Парадокс «Ахиллес» говорит нам, что Ахиллес никогда не может догнать черепаху, потому, что бесконечное количество пространственных, хотя и неопределенно малых по величине, отрезков может быть пройдено только в бесконечное время. Мы спрашиваем — сколько времени потребуется Ахиллесу, чтобы догнать черепаху, и мы отвечаем, — потребуется бесконечное время. То же самое и в «дихотомии»: 1) Конечный пункт никогда не будет

¹⁾ А. Маковельский, Досократики, ч. II, 1915 г., стр. 68.

достигнут потому, что движение не может закончиться. 2) Конечный пункт никогда не будет достигнут, потому что движение не может начаться. В этом отношении между этими двумя парадоксами и апориями Зенона против множественности вещей существует глубокое принципиальное сходство. Парадоксы «Ахиллес» и «дихотомия» выполняют роль мостика, который перебрасывается Зеноном от аргументов против множественности вещей, против величины, числа и количества к аргументам, направленным против движения. Одни противоречия (в количестве) служат причиной других противоречий (в движении).

Вот почему, хотя эти все парадоксы и направлены против движения и рассматриваются обыкновенно в литературе только, как парадоксы движения, но по своей сущности, по своим исходным пунктам их можно объединить в одну группу вместе с первой и второй апорией против множественности вещей.

Сравнивая ближе эти четыре апории, мы замечаем, что полностью сходны только антитезисы. Только антитезисы первой и второй апории против множественности вещей покоятся на том же основании, из которого исходит апория «Ахиллес» и «дихотомия».

Антитезис первой апории против множественности вещей в изложении А. Маковельского гласит:

«Каждая из множества существующих вещей имеет определенную величину и расстояние от другой вещи. То же самое придется сказать и о всякой другой вещи, лежащей перед предыдущей. Какую бы вещь мы ни брали, она не будет последней, так как в понятии вещи не включена необходимость отстояния от другой вещи. В каком бы направлении мы ни двигались, указанное свойство вещей будет повторяться до бесконечности, и, таким образом, никогда мы не сможем дойти до предела (курсив мой.— Г. Д.), за которым более не было бы вещей (это невозможно в силу неотъемлемого свойства вещей, логически неразрывно связанного с их множественностью). Итак, вещей бесконечное число (ибо нет последней вещи), а вследствие того, что каждая из них отстоит от другой на некотором расстоянии, они должны занимать бесконечное пространство»¹⁾.

Антитезис второй антиномии:—«Если вещей много, то их должно быть бесконечное число. В самом деле, допустим существование только двух вещей. Между двумя вещами необходимо должна лежать какая-либо третья вещь, их разделяющая, между последней и первыми опять новые вещи и так далее, до бесконечности. В противном случае, две смежные вещи слились бы в единство, образовали бы одну вещь (а не две). Таким образом, и так далее до бесконечности. В противном случае, две смежные вещи слились бы в единство, образовали бы одну вещь (а не две). Таким образом двух не существует без трех, трех без пяти, пяти без девяти и так далее до бесконечности (так как число разделяющих вещей оказывается равным бесконечному ряду 1, 2, 4, 8, 16 и т. д.»²⁾.

И основные отправные пункты, и ход доказательств, и выводы, к которым приходят антитезисы этих апорий, по существу совпадают с апориями «Ахиллес» и «дихотомия». Все они основаны на предположении непрерывности числа, пространства, времени и материи. Все они аргументируют бесконечной делимостью, незавершенностью, незаконченностью бесконечного математического ряда. И все они, предполагая в начале конечное, конечный отрезок, конечное число вещей, приходят к выводу, что конечное переходит в бесконечное.

Это совпадение парадоксов невольно наводит на мысль, что параллельно апориям «Ахиллес» и «дихотомия» должны существовать апории - bis.

¹⁾ Там же, стр. 52.

²⁾ Там же, стр. 55.

основанные на предположении дискретности. Если мы не имеем сейчас в наследстве Зенона этих вторых «удвоенных» апорий, то это произошло по той весьма возможной причине, что до нас не дошли все аргументы великого элейца. Древние приписывали ему до 45 парадоксов — против множественности вещей и движения, — до нас же дошли всего только девять. И из них только две апории (против множественности вещей) выражены в полном «удвоенном» виде.

Но это отсутствие «удвоенных» парадоксов в наследстве Зенона несколько не покрывает значения и силы аргументации в оставшихся парадоксах. Одного тезиса или антитезиса в отдельности вполне достаточно, чтобы раскрыть противоречия, какие получаются, когда мы разлагаем одностороннее конкретное единство на его составные части. Иными словами тезис и антитезис парадокса представляют, в сущности, самостоятельные хотя и противоположные по исходным пунктам, выводам и ходу доказательств парадоксы.

* * *

Вот этого-то всего не видит и не понимает В. Фридман.

Он не видит, что парадокс «Ахиллес» должен быть обязательным «удвоенным» парадоксом совершенно независимо от того, сводятся ли к нему рассуждения самого В. Фридмана или нет. Он не видит, что «Ахиллесу», этому самостоятельному парадоксу, противостоит другой, тоже самостоятельный, но противоположный по своей исходной посылке, по ходу рассуждений, по выводам, парадокс. Более того — он берет за основу своих рассуждений этот парадокс-bis и, не замечая его парадоксальности, формально-логичности, противоречивости, выдает его за новую оригинальную попытку «разрешения многовекового спора»¹⁾.

Он предполагает, что каждый отрезок пространства, времени и движения («продвижения» — как он выражается) состоит из множества отдельных единиц — атомов, конечных в своей численности. Так же, как можно пересчитать число страниц в книжке, число жителей в государстве, число атомов и молекул в грамм-молекуле вещества, — можно пересчитать также число единиц времени, пространства и движения, какое потребно Ахиллесу, при заданной скорости, чтобы догнать черепаху.

¹⁾ Эту «удвоенную» апорию Зенона он почему-то называет мои «великим изобретением», приписывая ей даже мое имя («Дамитриевская апория» — см. «Ответ В. Фридмана» в этом номере журнала), к чему я в своих «Замечаниях на книгу В. Фридмана» не подал ни малейшего повода. Наоборот, я там же указал, что первый, кто формулировал «удвоенные» парадоксы, был именно другой, как сам Зенон. В этом отношении я не хочу конкурировать с нашим автором. Стоит только посмотреть его книжку (он ее почему-то называет также «монографией»), чтобы убедиться, какое преувеличенно высокое мнение о самом себе наш автор имеет. Как ни распространен этот недостаток самовлюбленности между людьми вообще, между литераторами и научными деятелями, а особенности, но обыкновенно считается не тактичным и неприличным выявлять эту оценку самому. Свои мнения о себе — храни при себе и жди, когда тебя похвалят другие. Но не так поступил В. Фридман. В начале своей книжки он заявляет, что хочет показать... «применения метода диалектического материализма к разрешению спорных вопросов философии...» (стр. 7), он «обращает внимание читателей, что его собственные попытки разрешения софизмов «не лишены некоторого интереса» (стр. 148), что его критика взглядов некоторых философов и математиков на софизмы «вполне оригинальна во многих частях» («Ответ на мои Замечания»). И в целом его разрешение софизмов Зенона представляет собою последнее слово современной науки (165, 167) (?!). Мне кажется даже, что вся вторая половина книжки нашего автора приведена ни не без умысла. В самом деле, мы знаем, что все, кто ни брался за разрешение апорий Зенона и Аристотеля: и английские эмпирики, и Гегель, и кантианцы, и Джемс, и Бергсон, и современные материалисты, и русские философы идеалисты, и пр., и пр. и пр. — все должны были отступить со-

Таковы предположения нашего автора, и в этом суть его ошибок и путаницы. Это и было мной указано в моих «Замечаниях».

Но бывает же иногда и так, что высоко-ученому спецу (а таковым себя величает В. Фридман в своем «Ответе») раз'яснить элементарнейший вопрос труднее, чем обыкновенному среднему человеку со средним человеческим рассудком и без претензий на гениальность. В. Фридман не только не хочет, но, повидимому, не может понять своей собственной путаницы. Более того, его «Ответ» отчетливо обнаруживает стремление замести следы и запутать еще более вопрос. Он, видите ли, вовсе и не думал, оказывается, утверждать атомность пространства?! Что касается времени и движения — это, верно, они состоят из атомов, они имеют предел в своей делимости. Но совсем другое пространственное протяжение.

«Да, я считаю несомненным, то, что существует предел делимости времени и движения (или, как я часто говорю в своей книге, продвижения), но я категорически отрицаю существование предела делимости расстояния. Правда, в немногих местах моей книги я применяю термин «атом расстояния», но ведь из всего контекста, из всего смысла моего изложения ясно и в этих немногих местах, что речь идет об атомах расстояния, проходимого при движении тела, т.е. об атомах продвижения» (См. «Ответ» В. Фридмана). Видите ли, как он теперь категоричен. Если бы нас занимала сейчас процедура очной ставки — мы могли бы простым сопоставлением цитат из его книжки с этим безапелляционным утверждением доказать совершенно обратное. Но это в конце концов уж не такое интересное занятие, с нас достаточно признания В. Фридмана, что он «готов принять упрек в том, что... «не должен был в некоторых местах» своей книги «упоминать об атомах расстояния», без немедленного добавления: «проходимого движущимся телом» (см. «Ответ»).

Эта новая уловка, новый выверт вовсе не спасает нашего автора от путаницы, тупика и противоречий, что мы сейчас и раз'ясним, если не самому В. Фридману, то тем, которые читали или собирались читать его книжку.

Мы не имеем возможности, как известно, измерять время непосредственно только сравнением одних отрезков времени с другими. Время мы измеряем по отношению к движению, сравнивая проходимые пространства и предполагая, что в равномерном движении равные пространства проходят в равные времена (звездные сутки, маятник, стрелки часов).

«Для измерения времени мы пользуемся часами. Что представлял собою час? Под часами мы разумеем что-либо, что характеризует явление,

зором от сей неприступной крепости. С другой же стороны, оказывается, что эти софизмы имели самое пагубное влияние на всю историю человечества, на все развитие человеческой культуры. Они тормозили развитие древне-греческой математики, «отрывая ее от жизни», лишая ее динамичности» (стр. 5), «отрывая математику от широких масс» (стр. 75). «Кроме того, эти софизмы долгое время служили тем оружием, которое должно было, вмешавшись в вековой спор между идеализмом и материализмом, решить дело в пользу идеализма» (стр. 6). До сих пор идеализм при поддержке этих софизмов «продолжает распускать свое влияние до самого последнего времени» (стр. 5). «Многовековая порча мозгов, начало которой положила палочка, вызвавшая софизмами Зенона а древне-греческих математиках, до сих пор делает свое дело» (стр. 76). «...А в итоге, до самого последнего времени, даже наши школьники чувствуют отголоски этой идеалистической порчи математики, произведенной (во многом) из-за софизмов Зенона» (стр. 5). Сопоставляя эти два факта — многовековую порчу мозгов и полное бессилие всех философов и математиков разрешить эти софизмы, мы, конечно, должны проникнуться глубочайшим уважением к гениальной попытке нашего автора, который, наконец, вполне удовлетворительно и правильно решает «этот многовековой вопрос» (стр. 148). Вот эта-то, мягко выражаясь, несколько преувеличенная самооценка и самовлюбленность помешала В. Фридману внимательно задуматься, те возражения, какие мною были ему сделаны.

повторяющееся периодически с одними и теми же фазами и притом таким образом, что мы должны—в силу принципа достаточного основания—предположить, что все, происходящее во время данного периода, будет одинаково с тем, что происходит во время какого-нибудь периода (мы, стало быть, высказываем постулат, согласно которому два тождественных явления имеют одинаковую продолжительность. Совершенные часы, по смыслу этого определения, играют при измерении времени роль, аналогичную роли абсолютно твердого тела при измерении длин). Если часы представляются нам под видом механизма, вооруженного стрелками, то отметить положение стрелок—это значит отсчитывать число прошедших периодов. Согласно определению, измерить промежуток времени, в течение которого происходит событие, это значит сосчитать число периодов, указанных часами, от момента возникновения события до конца его¹⁾).

Какой же смысл, при этих условиях, имеет предположение о дискретности времени?

Любой отрезок времени, при этом предположении, состоит из конечного числа неделимых отрезков—атомов времени. Возьмем какой-нибудь пространственный отрезок СД, соответствующий в процессе движения атому времени (для прохождения которого требуется атом времени). Предположить, что движущееся материальное тело, в последовательном порядке, проходит все точки—все значения отрезка Д,—мы не можем, это противоречит нашей утверждению о дискретной природе времени. Время мы измеряем, ведь, сравнивая проходимые пространства, и если стрелка часов проходит непрерывно через все без исключения точки отрезка СД—мы бы сказали, что и время также имеет непрерывное строение. Стало быть, материальное тело (стрелка часов) не проходит через все точки пространственного отрезка СД, а сразу перескакивает от С к Д или, что то же, одновременно оно находится во всех точках этого отрезка. Чтобы перейти от точки С к точке Д—материальному телу, следовательно, понадобится нуль времени. Но то же самое можно сказать и про всякий другой равный отрезок, предшествующий СД, про отрезки ВС и АВ и т. д. и т. д. Материальное тело, достигшее в своем движении точки А—тем самым, одновременно и сразу, достигает и точек В, С и Д и т. д. Словом, для прохождения какого-нибудь пространственного отрезка материальному телу понадобится нуль времени, потому что сумма нулей, как известно, равна нулю.

В результате всего этого предположение дискретности времени в апории «Ахиллес и черепаха» неизбежно нас приводит ко второму удвоенному парадоксу со всеми противоречиями, ему присущими. Выводу первой зеновской апории—Ахиллес никогда не догонит черепаху—противостоит вывод апории-bis—Ахиллес всегда догонит черепаху, даже тогда, когда он еще не двигается с места?!

В. Фридман, ослепленный своим великим открытием атомов времени, «разрешающим многовековые споры», не хочет последовательно доводить своих рассуждений до логического конца—он утешается жалкими софистическими аналогиями, уподобляя прерывистый ход течения времени с прыжковым ходом московских часов (с прыгающими стрелками). Стоит привести эту аналогию, чтобы нагляднее продемонстрировать путаницу нашего великого изобретателя.

«Для того, чтобы читателю было несколько яснее, в чем тут дело, мы приведем один пример. В Москве и в ряде других городов имеются (на улицах) трамвайные часы, приводимые в движение электрическим током. Если мы внимательно проследим за этими часами, то заметим, что их минутная

¹⁾ Л. Эйштейн, Принцип относительности и его следствия, «Новые идеи в физике» сб. 3, 1914 г., стр. 77.

стрелка в течение почти целой минуты стоит неподвижно, а затем резким скачком перемещается на промежуток в одно деление, означающее минуту. Значит, устройство механизма часов здесь такое, что минутная стрелка их или совсем не движется (часы в это время стоят, время ¹⁾ не течет), или делает скачок на одно деление, являющийся минимальным продвижением стрелки, как бы атомом ее продвижения; пока происходит этот скачок, время течет. Следовательно, время, показываемое этими часами, состоит как бы из небольших атомов времени, разделенных «пустотой времени», при чем протяжение пустоты гораздо больше протяжения атома, как это бывает в случае атомов материи. Конечно, можно возразить, что, ведь, эта раздробленность времени на атомы времени вызывается в данном случае лишь особенностями устройства механизма рассматриваемых часов. Однако это возражение бьет мимо цели, так как 1) все эти часы устроены так, что их колеса повертываются маленькими скачками и 2) когда в современной науке говорят об атомах времени, то имеют, конечно, в виду атомы гораздо меньшего протяжения, чем минута (на рассматриваемых часах); имеют в виду минимальный предел делимости времени. Здесь получается нечто очень похожее на работу нашего сердца, мышцы которого после каждой работы сокращения сердца отдыхают вдвое дольше, чем работают, так, что в течение, напр., суток сердце работает лишь 8 часов! Если бы мы о течении времени судили по работе сердца, то атомы времени были бы по протяженности вдвое меньше промежутков пустоты.

Отсюда, между прочим, вытекает, что не существует так называемых мгновений (моментов) времени (точек времени): ведь, когда мы говорим о мгновении, то имеется в виду как бы полная остановка течения времени, не имеющая, однако, протяжения. В течение мгновения не происходит (не успевает происходить) никаких изменений. При квантовом подходе к течению времени получается замена мгновений (точек) времени как бы отрезками времени небольшого протяжения, в течение которых нет изменения (продвижения), ибо атому времени как бы соответствует атом расстояния» (В. Фридман, Возможно ли движение? стр. 164).

Прежде всего, что это за перерывы, «полные остановки течения времени, не имеющие протяжения», о которых говорит В. Фридман? Остановка стрелок московских часов—это относительные остановки в сравнении с другими движущимися предметами, процессами и пр. Время течет, как мы узнаем, на основании этих процессов (звездных суток, качания маятника) и тогда, когда стрелки московских часов находятся в неподвижности.

Ну, а перерывы и остановки времени у В. Фридмана? Что под ними нужно понимать? Нельзя же предположить, что, как и на московских часах—в течение этих остановок,—то же совершаются различные процессы и движения. Так не может быть просто потому, что о ходе времени, как я уже говорил, мы судим по материальному движению, предполагая, что равные пространства проходятся в равные времена. Всякое же движение совершается во времени.

Остается, стало быть, предположить, что эти остановки суть остановки всякого движения, перерывы сразу всех мировых процессов в целом, без исключения. К такому же заключению невольно вынужден прийти и сам В. Фридман, когда он говорит, что в течение этих остановок «нет изменения (продвижения)».

В таком случае я хочу задать нашему автору следующий ехидный вопрос: откуда же он узнал, что время течет перерывами и что вселенная в своей мировой пульсации работает с остановками? Подобно работе нашего сердца?! Такое знание не может быть получено естественным

¹⁾ Показываемое этими часами.

путем, и здесь, очевидно, не обошлось дело без вмешательства сверхъестественной силы (советую В. Фридману, как антирелигиознику, над этим задуматься).

Мне вспоминается сейчас сказочка—про страну, где все движения и процессы остановились, где люди и животные застыли в том самом виде, в каком их застало проклятие злой волшебницы. Но стоило только этой стране освободиться от чар—все снова пришло в движение, как будто бы и не было никакого перерыва. Хотя эта сказочка предназначена для маленьких детей, но она поучительна и для В. Фридмана.

Ну, хорошо, пусть будет так, как и в этой сказочке—все мировое движение и процессы время от времени застывают в неподвижности. Но откуда же мы об этом могли бы узнать и какое это вообще имело бы значение для мирового движения и нашей жизни? Если все застывает в неподвижность, если мир, время от времени, застывает в своем развитии, то мы, я и другие люди, и сам В. Фридман, ничего об этом не могли бы узнать естественным путем. Так же, как в сказочке, в мире продолжался бы процесс движения и развития, как будто бы и не было никаких перерывов. Я хочу сказать этим, что остановки времени у В. Фридмана нелепы—они не имеют никакого реального значения и их количественное значение, для счета времени, равно нулю (время не течет). Но и то, что происходит между перерывами фридрихсовского времени—тоже равно нулю, тоже не имеет реального значения. Стрелки часов, я уж это показал, не могут проходить все точки, все значения какого-нибудь пространственного отрезка (время имело бы в этом случае непрерывный характер). Стрелки должны прыгать сразу единично от одной точки к другой. Словом, как ни кинь, все клин. Как ни верти, мы все-таки приходим к сумме нулей или ко второму удвоенному парадоксу «Ахиллес и черепаха».

Здесь же обнаруживается вся искусственность и путаность сравнения течения времени с ходом московских часов (с прыгающими стрелками), которое проводит В. Фридман. Это сравнение было бы правильным и убедительным только при следующих двух, нелепейших предположениях: или вместе с остановками прыгающих стрелок московских часов останавливались бы также и все другие часы мира, замрзнул бы в неподвижности все мировые процессы,—нелепость чего мы только что обнаружили. Или, что так же нелепо, как и на московских часах—подлинное время шло бы и тогда, когда бы оно не шло и застывало на остановках. Мне думается, что в эти московских часах с прыгающими стрелками и скрыта вся философия книги В. Фридмана. Не продумав как следует, наш автор, противно известной французской поговорке, сравнение захотел сделать доказательством. Он вообразил, что ход подлинного времени всецело можно уподобить ходу московских часов с прыгающими стрелками?!

* * *

Вряд ли стоило так подробно заниматься распутыванием всего того, что удосужилось выдумать В. Фридману. Я это делаю только из тех соображений, что В. Фридман, судя по его книжке «Возможно ли движение», представляет собой типичную фигуру некоторой части наших естествоиспытателей, которые, может быть, настроены весьма благоприятно к диалектическому материализму, но на деле, под видом его, преподносят всякую эклектичную мешанину.

Если субъективным основанием путаницы В. Фридмана было несколько преувеличенное (умеренно выражаясь) мнение о своей собственной силе (см. мою сноску), если поводом к возникновению путаницы послужило совершенно неудовлетворительное сравнение хода московских часов с прыга-

щими стрелками с ходом действительного времени,—то основой путаницы являются метафизические взгляды автора на реальные процессы и чуждое марксизму представление о соотношении мышления и бытия.

В своих замечаниях я указал уже на этот характер взглядов В. Фридмана, я отметил, что его воззрения по существу совпадают с воззрениями В. Джемса и Бергсона.

В. Фридману очень не понравилось это мое сопоставление—он пишет в «Ответе»: «Теперь об основном обвинении, бросаемом мне Г. Дмитриевым, т.е. о том, будто моя попытка разрешить софизмы Зенона не диалектична, метафизична, будто я сижу на одной скамье с идеалистом Бергсоном и др. Я утверждаю, что Г. Дмитриев уже по одному тому не имел никакого права делать такого рискованного заявления, что он ограничился лишь рассмотрением одного парадокса об Ахиллесе и черепахе. Между тем, я в своей книге говорю достаточно подробно не только об этом парадоксе, но и о многих других (стрела, дихотомия, шум, сорит и т. д.). Почему же Г. Дмитриев не разобрал того, как я подхожу к этим другим парадоксам? И это тем более надо было сделать, что ведь нельзя отрывать моего подхода к парадоксу об Ахиллесе и черепахе от моего же подхода к другим парадоксам; все это составляет у меня одно согласованное целое» (В. Фридман, «Ответ»).

Сознаюсь, что я действительно ограничился рассмотрением только одного парадокса—«Ахиллес и черепаха». И думаю, что в этом меня никто упрекать не имеет права. Я писал не рецензию, как я это предупредил с самого начала в прошлый раз, а несколько замечаний специально об интересующем меня парадоксе «Ахиллес и черепаха» (это же явствует из заголовка моей статьи). А затем, сам же В. Фридман всем остальным софизмам Зенона по сравнению с «Ахиллесом» уделяет совсем непропорционально мало места в своей книжке. И, наконец, самое существенное, соглашаясь с В. Фридманом, что «нельзя отрывать» его подход к парадоксу об Ахиллесе и черепахе от его подхода к другим парадоксам, я именно поэтому и остановился на разборе одного этого парадокса.

Согласие нашего автора с Джемсом и Бергсоном не ограничивается только единичным совпадением во взглядах по частному, хотя и существенному, вопросу о характере строения времени, пространства и движения, не ограничивается только тем, что названные идеалистические философы явились для В. Фридмана тем источником, откуда он позаимствовал свое великое открытие, «разрешающее многовековые споры». Если бы дело обстояло только так—это еще полбеды... Но суть в том, что свое согласие с Джемсом и Бергсоном В. Фридман распространяет и дальше за пределы вопроса о природе пространства, времени и движения. Он так же, как эти буржуазные философы, опираивает силу нашего мышления в познании действительности.

В прошлый раз я уже указал, приводя соответственные цитаты, что В. Фридман противопоставляет математическое движение, к которому безупречно применимы софизмы Зенона, движению реальному, происходящему в действительности, я говорил, что с точки зрения нашего автора получается в результате, что действительная материя движется в дискретном пространстве и времени, а воображаемая мыслимая материя, та, с которой имеет дело математика,—в непрерывном.

Сейчас, в своем ответе, В. Фридман делает вид оскорбленной невинности и задает мне следующие вопросы:

«Я спрашиваю, во-первых, Г. Дмитриева: что это за вещь воображаемая, мыслимая «материя математиков» и где я о такой вещи в своей книге говорю. Уж не математические ли точки образуют эту «материю»? Во-вторых, когда и где я говорю о том, будто «математическая материя» (по терминологии Г. Дмитриева) движется хотя бы в дискретном пространстве? Ведь как раз

наоборот: я именно доказываю, что математические точки (моя терминология) не могут двигаться. В-третьих...» («Ответ» В. Фридмана).

На третий вопрос я уже ответил, и его приводить не буду, что касается двух первых, отвечу на них с полной готовностью.

Каждая наука (за исключением одной лишь философии) изучает известную часть, отрасль, область материальной действительности, под своим специальным, частным углом зрения устанавливая свои частные специальные закономерности. То же самое мы должны сказать и про математику, если ее не считать чистым созданием мысли, как это делают идеалисты и как за ними повторяет В. Фридман, утверждая, что отвлеченная математическая теория «свободна от внешнего мира» (В. Фридман, *Возможно ли движение?* стр. 120). Предмет математики—действительная материя,—но взятая с некоторой специальной абстрактной стороны. Предмет математики—число, количество, а также точки, линии, поверхности, пространственные формы, если и геометрию мы причислим тоже к математическим наукам. Математическое движение—абстракция от реального движения и как таковая—оно в некоторой своей части находится в противоречии с реальным движением, но в основном—они находятся в соответствии. Критерий истины в математике не имманентен этой науке, как это утверждают идеалисты и как это делает В. Фридман, пытаясь установить (в согласии, напр., с идеалистом математиком Богомоловым) особый признак реальности математического понятия (см. стр. 119—«Возможно ли движение?»). Так же, как и во всякой другой науке—истина математики, реальность математического понятия—отображает по-своему, по-математическому—реальные действительные процессы и предметы.

Таков мой ответ на вопросы В. Фридмана.

Но из этого выделения математики, как науки, «свободной от внешнего мира» и имеющей свой имманентный критерий истины и реальности, естественно следует противопоставление нашего мышления—действительному материальному бытию. На эти-то противоречия и указывают, по мнению В. Фридмана, софизмы Зенона «Ахиллес» и «дихотомия», отличающиеся в этом отношении от всех других софизмов элейца.

«Парадокс «стрела» занимает совершенно особое место; в то время, как парадокс «Ахиллес» и «дихотомия» говорят о противоречии между нашим мышлением о движении и реально происходящим в природе движением (курсив мой.—Г. Д.), парадокс «стрела» указывает на внутреннее противоречие в самом движении» («Ответ» В. Фридмана).

«Софизмы Зенона правильны, если взять ту предпосылку, что они относятся к математическим непротяженным точкам и времени», «но при конкретных условиях реальной действительности в материальном мире они неприменимы и их вывод неправильный» (В. Фридман, *Возможно ли движение?* стр. 178).

Так, стало быть, и запишем—одни парадоксы вскрывают противоречие самой действительности («стрела»), а другие характеризуют противоречие нашего мышления и к действительности не применимы («Ахиллес», «дихотомия»).

Действительность в своей временной характеристике дискретна—наше же мышление считает ее непрерывной. В действительности деление, конечно, и ограничено, в мышлении оно беспрельдно и продолжается без конца. В действительности существует движение. Наше же мышление при попытке мыслить движение наталкивается на неразрешимые противоречия (апокриф Зенона). Вот почему в результате наше мышление, следовательно, дефективно, оно суть опорощенное мышление.

Но ведь точь в точь то же самое утверждают Бергсон и Джемс.

ПАМЯТИ А. А. БОГДАНОВА.

* * *

Ст. Кривцов.

I.

В большевизме не может не обратить внимание его одна основная черта: соединение «пресловутой» твердокаменности с необычайной гибкостью, с чрезвычайным умением маневрирования, умением даже под огнем неприятеля перестраивать свои ряды. С первого взгляда эта задача кажется в роде квадратуры круга: соединить несоединимое в роде соединения огня и воды. Задача эта чисто диалектическая и разрешение ее показывает нам реально в жизни органическое единство двух противоположностей, при чем задача эта крайне трудна и решение ее дается нелегко. И мы поэтому видим, что обычно у того или другого товарища преобладает одна из сторон этого единства, почему и получается искривление. На эту сторону большевизма, на это сочетание гибкости с принципиальной твердокаменностью неоднократно обращал внимание в переломные моменты истории нашей партии В. И. Ленин.

Об этом диалектическом единстве мы не могли не вспомнить, когда задумались над политической судьбой умершего недавно геройской смертью мученика науки Александра Александровича Богданова-Малиновского. Как это случилось, что один из основателей



А. А. Богданов.

большевизма, признанный его вождем совместно с В. И. Лениным в 1904—1907 гг., отошел от своей же партии и умер беспартийным? Мало того, его имя связывалось в нашей революции с рядом политических выступлений противобольшевистского характера. И вот для ответа на этот вопрос по-моему и следует указать, что Богданов всегда был насыщен принципиальной непримиримостью (подчас неправильною, как в ряде своих теоретических построений), но ему органически чужда была гибкость, умение маневрировать. Как и многим, ему за этой гибкостью чудилось страшлище оппортунизма, соглашательства и т. д. и т. п. Вот почему он с такой настойчивостью держался за старые лозунги, уже отброшенные историей: это мы наглядно увидим, когда рассмотрим более детально его взгляды на революцию 1917 г. Эта-то односторонность Богданова, очень нужная при умелом общем политическом руководстве со стороны такого политика-диалектика как Ленин, и способствовала разрыву Богданова с большевизмом, когда он после расхождения по тактическим вопросам с Лениным пытался вести самостоятельную политическую линию.

Политическую деятельность А. А. Богданов начал еще на студенческой скамье Московского университета в начале 90-х гг., но начал не среди уже зародившихся тогда марксистских и с.-д. кружков, а в народовольческих организациях. Основным, что его сделало революционным марксистом, а значит и социал-демократом, было глубочайшее впечатление, какое, по его словам, на него произвела работа Ленина-Тулина «Экономическое содержание народничества и критика его в книге Струве». Кроме того, личное общение в работе пропагандиста среди тульских рабочих воочию показало ему неприемлемость народнической экономики для рабочих. Дело в том, что первоначально Богданов читал им лекции по политэкономии, руководствуясь Карышевым («Экономические беседы»), теоретические воззрения которого были, разумеется, чужды рабочим. Под влиянием высказываний самих рабочих Богданов стал стихийно вырабатываться в марксиста. Работа Ленина закрепила этот стихийный процесс, показав несоциалистичность тогдашнего народничества, к которому политически тогда принадлежал Богданов. «Календарь» Маркса увенчал этот процесс, в результате которого явился известный «Курс экономической науки», первое издание которого вызвало очень одобрительный отзыв В. И. Ленина.

В этом процессе обращения Богданова из народовольца в марксиста-социал-демократа следует отметить, по нашему мнению, два момента, в значительной степени оказавшие влияние на его дальнейшее развитие. Это, во-первых, то, что марксизм он воспринял не прямо, а косвенно — путем отрицательного отношения к Карышеву, рабочим, почему А. А. Богданову пришлось на свой страх вырабатывать приемлемую для рабочих политэкономию (отсюда уже в первой его работе мы имеем ряд отхождений от Маркса, особенно в части исторической, касающейся развития первичной экономики). Из этого удачного самостоятельного творчества естественно было получить представление о силе своего самостоятельного научного творчества, представление о том, что можно «самому доходить» (выражение Клюевского). И, во-вторых, так как фактически учителями в марксизме Богданова были (как мы видели выше) тульские рабочие, то отсюда из личного опыта Богданов вынес на всю свою жизнь твердо закрепленное представление о том, что рабочие самостоятельно могут заниматься научным и прочим идеологическим творчеством. Это представление в будущем легло в основу его учения о пролетарской культуре. Следует отметить здесь же, что это представление в корне противоречило учению Ленина о стихийности и сознательности (недаром же Богданов посвятил несколько язвительных строк о неспособности рабочего класса, по Ленину, к самостоятельному идеологическому творчеству, см. Богданов, «Вера и наука», стр. 193—194).

Отметим еще сильное впечатление, произведенное на Богданова критикой социал-демократа, побывавшего уже в ссылке, организационным планом Ленина, развитым им в 1902 г. в «Что делать?». Этот план привлек Богданова на сторону Ленина организатора и предопределил его, как будущего большевика.

Напомним читателю, что рассмотрение теоретических взглядов Богданова не входит в нашу задачу. Нам достаточно отметить, что по существу Богданов никогда ортодоксом не был, что он всегда пытался идти самостоятельным путем и что эта его «кажущаяся» самостоятельность являлась теоретическим источником его политических ошибок.

II.

После II съезда Богданов примкнул к большевикам и работал секретарем в России. Организационное первоначальное неоформление большевизма после съезда вследствие недостатка в руководящих силах ставит остро перед ру-

скими практиками—сторонниками большинства—задачу создания центра для координирования сил. Недаром же они все были сторонниками ленинского «Что делать?». Вот почему появляется известное обращение «22» и создается БКБ (Бюро Комитетов Большинство)—центр, параллельный ЦК, из которого ушел Ленин и где путем кооптации искусственно создано меньшевистское большинство. Этот центр, одним из руководящих членов которого является Богданов, ставит своей задачей восстановление центральных учреждений партии путем созыва III съезда. Мы не станем входить в перипетии сложной борьбы за съезд большевиков с меньшевиками и примиренцами (во главе которых первоначально стоял Красин), отметим только, что Богданов тут проявляет громадный организационный талант, умело подбирая (задача, поставленная еще «Что делать?») работников в России и правильно их распределяя. Громадный литературный талант А. А. Богданова с таким блеском сказался в ряде большевистских памфлетов того времени, как-то: Галерка (М. С. Ольминский) и Рядовой (А. А. Богданов) «Наши недоразумения», где А. А. принадлежит статьи «Наконец-то» (статья из № 70 «Искры»), с напечатанием которой происходила любопытнейшая история, так как меньшевики требовали от автора доказательства его принадлежности к партии, о чем говорит дальнейшая ст. «К сведению т.т., которые пожелали бы сотрудничать в «Искре». Очень интересна ст. «Роза Люксембург против Карла Маркса»—известно, что в 1904—1905 гг. Р. Люксембург стояла на меньшевистской позиции по организационному вопросу; также еще ст. по организационному вопросу: «Один из выводов», «Либералы и социалисты» и Рядовой—«Либеральные программы»—последние две работы посвящены русскому либерализму и его органу «Освобождение».

Несмотря на блестящий литературный талант, столь нужный для «Впереда» вскоре после его организации, Богданов уезжает в Россию и ведет деятельную борьбу за созыв съезда, на котором принимает деятельное участие в качестве докладчика по технической стороне вооруженного восстания, политический доклад на эту тему делает ученик и ближайший друг Богданова Луначарский. Выбранный в члены ЦК Богданов уезжает в Россию и все время революции работает в ней. Следует отметить, что тактические моменты, а тем паче наметки общей генеральной политической линии Богданов не пытается делать—его внимание отдано исключительно организационному оформлению ленинской концепции русской крестьянской буржуазной революции. Этот «технический» подход (если разрешено будет употребить такой термин) подготовки революции приводит Богданова в качестве члена ЦК в России к недооценке роли Петербургского Совета Рабочих Депутатов, как зародыша будущего Временного Революционного Правительства революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. До приезда Ленина был даже ведь поднят вопрос о необходимости организационного оформления связи Совета с партией, путем признания себя частью партии, при чем часть большевиков в случае провала этого предложения грозила уйти из Совета. В этом можно, пожалуй, видеть зародыш будущего «ультивизма». Только приезд Ленина заставил бросить эту узко-техническую точку зрения. Этот же момент сказался и в недооценке роли профсоюзного движения: казалось принципиально недопустимым отходить от первой и основной задачи технической подготовки и проведения вооруженного восстания. При ближайшем участии Богданова и Красина создается «Военно-техническая группа» или «Боевая техническая группа» при ЦК, ставшая своей задачей работу среди войск и техническую подготовку вооруженного восстания—транспорт и склады оружия, динамитные лаборатории и т. д.

Интересно еще отметить, как пример негибкости многих большевиков того времени (мы бы назвали метафизичность их мышления—в смысле Энгельса), неприязненное их отношение к организационной перестройке пар-

тин в связи с новыми условиями, проявившийся своеобразный организационный фетишизм.

А. А. Богданов принимал деятельное участие в ряде революционных событий «дней свободы». Арестованный в связи с Кронштадтским восстанием в ноябре 1905 г., Богданов избежал военно-полевого суда только потому, что был в штатском костюме, иначе он как военный врач был бы ему предан. В тюрьме Богдановым была написана III часть «Эмпириомонизма», которая, как известно, вызвала у Ленина «объяснение в любви» в трех тетрадках вследствие полного неприятия Лениным философии Богданова и, в частности, теории классов, развитой в этой части. Но эти теоретические расхождения не помешали в это время дружной политической их совместной работе, определенной совместной дружеской жизнью на одной даче в Куоккала в Финляндии. На IV (Объединительном) съезде Богданов был введен в число 3 большевиков в меньшевистский ЦК. Он рассказывал про непонятное ему красноречие меньшевиков-цекстов на заседаниях этого ЦК. Имея абсолютное большинство, меньшевики, тем не менее, играли в парламентаризм и проносили длиннейшие речи, упиваясь собственным красноречием. Вошел Богданов в состав ЦК уже по большинству большевистского на V (лондонском) съезде. На IV съезде он вошел также в руководящий центр большевистской фракции—БЦ—большевистский центр, каким в то время являлась редакция «Пролетария», начавшего выходить в России осенью 1906 г.

III.

Разногласия уже политического характера начались между Богдановым и Лениным на почве оценки текущего момента летом 1907 г. после разгрома II Государственной Думы и государственного переворота 16 (3) июня с изменением избирательного права. Ленин стоял на той точке зрения, что революция кончилась, что поэтому приходится вступить в определенное соглашение со Столыпиным (выражение его в речи на VII съезде партии об этом периоде) и принять участие в выборах в III Гос. Думу и дальше воспользоваться думской трибуной для с.-д. агитации и пропаганды. Богданов и те большевики, которые первоначально в массе шли за ним, стояли на иной точке зрения, а именно, что революция еще не окончилась, что наступила только временная замятка, почему не следит в такой хлев, каким является Столыпинская Дума, а тем паче принимать участие, хотя бы и демонстративно, в ее работах. Наоборот, вооруженное восстание все еще стоит в порядке дня именно сегодня, и все задачи партии сводятся к технической его подготовке. Ленину на всероссийской партконференции удалось провести резолюцию об участии в выборах, но фактически на местах проходила тактика бойкота или, вернее, массового абсентеизма избирателей-рабочих. Отсюда случайный, серый состав фракции, отсюда ряд ее неправильных шагов. Отсюда дальнейшая реакция на это со стороны бывших бойкотистов—одни, в частности сам Богданов, требуют предъявления ультимативного требования о признании фракцией партдисциплины и безусловного ее подчинения директивам ЦК, другие (Станислав Вольский)—отозвания за ненужностью рабочих представителей из Гос. Думы. Одним словом, за первоначальной ошибкой следует не ее исправление, а, наоборот, ее углубление. Группа бывших бойкотистов во главе с Богдановым, считая себя «левыми большевиками»—подлинными хранителями большевистской традиции, противопоставляют себя как организованное целое, как фракцию (группа «Вперед» с целой пропагандой платформой) большевикам, шедшим за Лениным. Раскол при такой постановке дела был неминуем, и расширенная редакция «Пролетария» конституировалась в 1909 г. в особой резолюции «откол т. Максимова» (партийный поддоним А. А. Богданова).

С этого момента А. А. Богданов уже не входит в ряды большевиков. Когда к концу 1908 г. уже и для бойкотистов стало ясно, что революция 1905 г. закончилась, они в особой платформе выявили причины этой неудачи и наметили задачи ближайшего будущего. А. А. Богданов пытался первоначально стоять на той точке зрения, что неудача революции произошла вследствие того, что нашей политической революции не предшествовала идеологическая революция на манер того движения просветителей, которое предшествовало Великой Французской революции. Революция не удалась вследствие недостаточной идеологической зрелости пролетариата. Отсюда ближайшая задача, по Богданову, всемерно помогать этой идеологической революции внутри рабочего класса. При чем особенно отмечался тот пункт, что эта идеологическая революция должна быть совершена самими рабочими,—так появилась идея самостоятельной пролетарской культуры. Как же можно этому способствовать? Двумя путями: первый—создание рабочей энциклопедии на манер энциклопедии XVIII ст. Дидро и Даламбера; эта рабочая энциклопедия должна создать новую пролетарскую науку, под которой молчаливо подразумевалась философская система самого Богданова. Второй путь—выработка путем партийной школы самостоятельных идеологов из среды самого пролетариата. Для этого были созданы две школы—1909 г. на Капри и в 1910 г. в Болонье. Но ежели сам Богданов вполне искренно мечтал об этих школах, как источниках будущей культурной революции, то иного мнения были остальные участники группы «Вперед». Они рассматривали себя как политическую, а не только культурническую, или культуртворческую фракцию, как мечтал Богданов. Поэтому, когда Богданов увидел, куда гнут впередовцы, заявившие в органе бельгийской рабочей партии «Народ» в 1911 г., что в их задачи входит следующее: созвать съезд, сбросить правый ЦК во главе с Лениным и вместо будней третьейинициативы действительности создавать яркие лозунги и «продолжать и развивать нашу боевую подготовку», при чем школы уже рассматривались как орудие будущего партийного переворота. И на местах мы действительно наблюдали тогда дезорганизаторскую деятельность впередовцев. А. Богданов вышел тогда из состава группы (после выхода сборника «Вперед») и не принимал никакого участия в последующих политических машинах группы: блок с Троцким, участие в августовском блоке и т. д. и т. п. Любопытно отметить, что после Февральской революции впередовцы обратились к Богданову с просьбой возглавить их группу, но он посоветовал им совершенно не оформляться отдельно, а войти в большевистскую партию.

Итак, А. Богданов считает причиной неудачи революции 1905 г. то, что в сознании пролетариата еще не произошла социалистическая революция, что только после такой культурной революции возможна удачная политическая революция. И мы видим, как А. А. Богданов старается поставить эту проблему в центре внимания пролетариата. Его утопические романы «Красная Звезда», «Инженер Мэнни», его работа программно характера—«Культурные задачи нашего времени»,—все посвящены этой задаче. По его же заданиям, Луначарский поставил в программу Венского конгресса II Интернационала, который предполагался осенью 1914 г., но не состоялся вследствие войны, вопрос о культурных задачах рабочего класса. Но организационно с момента своего выхода из группы «Вперед» Богданов был одиночкой, так как постепенно, по мере развертывавшихся событий в России, его покидали его сторонники: их убеждала жизнь в правоте Ленина.

Была попытка Богданова принимать участие в ряде большевистских изданий, но он вынужден был отказаться от участия в них.

IV.

Революция 1917 г. застала его в Москве, где он жил как военный врач (мобилизованный), вернувшись по амнистии 1913 г. в Россию. Первоначально Богданов пытается сотрудничать в московском большевистском органе «Социал-Демократ» (ст. «Борьба за мир»), но с мовой установкой большевизма, связанной с приездом Ленина, он никак согласиться не мог, и работал в культурно-просветительных органах Московских Советов Рабочих и Солдатских Депутатов (первоначально они существовали, как известно, в Москве раздельно). Принимал он также участие в газете Горького «Новая Жизнь», органе интернационалистов.

Как же он оценил Февральскую революцию? Существует ряд интересных статей А. Богданова того времени, трактующих одинаковые темы со статьями Ленина того же периода. Было бы интересно детально сопоставить их, но это не входит в нашу задачу. Сейчас же мы коротенько остановимся на выяснении основных оценок революции 1917 г. Существует интереснейшая брошюра А. А. Богданова: «Задачи рабочих в революции», М. 1917 г. (без указания издательства), и в ней примечательная статья в виде тезисов с последующим комментарием под заглавием: «Откуда революция и каковы теперь задачи рабочих» (стр. 15—22).

«1. Нынешняя революция есть продолжение незаконченной и отброшенной назад революции 1905 г.» (стр. 15). Как видим, это та концепция «старых большевиков», против которой так яростно воевал В. И. Основное, что бросается здесь—это то, что революция 1917 г. рассматривается как механическое продолжение революции 1905 г., при чем совершенно не учитывается тот громадной важности факт, который дал даже Февральской революции ее специфическую окраску—мировую и русский империализм. Задачи революции. О ней говорит тезис 3. Идущая революция есть демократическая; она может и должна завершиться демократической республикой (17). Сопоставьте этот тезис с апрельским тезисом Ленина, что говорить теперь у нас о демократической республике, а не о республике Советов, было бы громадным шагом назад. Отсюда совершенно естественно у Богданова вытекает тезис 11 об отношении к Временному правительству: «Отношение рабочего класса к Временному правительству должно всецело зависеть от того, как само Врем. прав. относится к революции: поддержка, пока оно на деле выполняет демократическую программу; внимательное наблюдение и контроль над этим выполнением; настойчивое и жесткое, когда правительство уклоняется от демократической программы; прямая и решительная борьба с ним, если бы оно изменило своим обязательствам и пошло против революции» (21). Как это не похоже на четкий лозунг Ленина: «Никакого доверия Временному правительству». Во второй брошюре того же времени (июль 1917 г.): «Уроки первых шагов революции», М. 1917 г. (также без указания издательства), мы находим ст. на тему: «Рабочий класс и Врем. правительство», где встречаем указание на то, что уже теперь основная задача рабочего класса «созидательная», об устройстве, начиная с самых основ, того государственного порядка, при котором придется в дальнейшем жить и бороться рабочему классу» (3). Постылу Б. считает ошибкой неучастие большевиков во Временном правительстве первого состава (6); ст. кончается указанием на то, что «революционная демократия должна взять власть в свои руки. При этом представители рабочих придется принять на себя заботу, чтобы новое, уже демократическое, правительство не сбивалось с революционного пути, а шло по нему до конца» (9). Как видим, и летом 1917 г. речь идет не о рабочем правительстве, не о республике Советов, а только об участии рабочих в демократическом правительстве. Отсюда мы поймем, что Богданов считает лозунг

«вся власть советам» неудачным, ибо они (советы) не хотят брать власть в свои руки (14—15), 3—5 июля было всего только «бестолковое и разрозненное восстание» (15), при чем не дается никакого анализа, что же было это за восстание, не вскрывается его классовый смысл. Ст. «По пути к Интернационалу» говорит об односторонности многих высказываний (читай: большевиков): дескать, обличают Антанту, а не обличают центральные державы (18). Участие шейдемановцев в предполагавшейся Стокгольмской конференции считается возможным (19). Достаточно приведенных выписок, чтобы показать, что даже Февральскую революцию Богданов воспринял неправильно. Ни в одной его статье вы не найдете указания на следующую революцию в России—социалистическую. Поэтому он рассматривал нашу ноябрьскую революцию, только как революцию ликвидационную, при чем ее социальный характер был по Б. буржуазный, так как основной движущей и определяющей силой было крестьянство (армия), по отсталости которой и вынужден был равняться пролетариат.

Даже больше—Богданов считал, что и Запад не готов к социалистической революции. Я помню его спор с Мартовым после ноябрьской революции 1918 г. в Германии, которую Мартов считал уже социалистической, а Богданов только типично-ликвидационной. После войны ему мыслится мирный сверхимпериализм, при чем во главе власти должен стать новый класс—класс технической интеллигенции. Нечего теперь и говорить, что это была утопия. По Богданову в это время должна была совершиться социалистическая революция сознания пролетариата и тем его подготовить к экономической социалистической революции.

В.

Выйти на политическое поприще в революции 1917 г. Богданову не удалось: для этого был один путь—итти в партию. Когда об этом приходилось заговаривать (наиболее близок к нам А. А. Богданов был летом 1920 г.) он отшучивался, говорил: «Ну, хорошо, я вступаю, а меня сейчас же мобилизуют в уезд». Это были отговорки, так как еще в это время ему предлагались партией руководящие посты, а вовсе не посылка в уезд. Полагаю, что здесь А. А. Богданов болезненно до конца дней своих переживал свое исключение в 1909 г. из рядов большевиков.

С тем большим рвением он бросился на культурную работу. Начиная с весны 1917 г. он читал много лекций и по политэкономии, и по вопросам культурного строительства во всевозможных учреждениях, вплоть до Свердловки, куда он был приглашен по настоятельному требованию В. И. Ленина. Эта культурная его работа увенчивалась его руководящей ролью в Пролеткульте первого состава. На этой работе пишушему эти строки довелось узнать как сильные, так и слабые стороны А. А. Богданова. Для него по существу Пролеткульт был не самоцелью, а средством для развития «четвертой формы рабочего движения—его культурного и идеологического творчества». По Богданову, мы имели следующие равноправные формы рабочего движения: политическое (партия), экономическое (профсоюзы), хозяйственное (кооперация) и культурно-идеологическое (Пролеткульт). На такую постановку вопроса мы согласиться не могли, ибо мы всегда рассматривали Пролеткульт, как форму организационного обобщения культурного творчества рабочего класса, которое видели и в партии, и в Красной армии, и в Чека и т. д., и т. п., при чем мы, партийцы, полагали, что обладающему диалектическим материализмом Маркса-Ленина (марксизм-ленинизм) пролетариату нет нужды в какой-то особой пролетарской идеологии пролетарской философии, так как всем этим и является для нас марксизм-ленинизм. Так же чужда была нам идея независимого Пролеткульта, мы стояли

всегда за то, чтобы пролеткульт был культурным органом партии, работающим по ее заданиям и под ее непосредственным руководством. Борьба по этому пункту была неминуема, и она естественно привела к уходу Богданова из Пролеткульта осенью 1921 г. К этому присоединилось еще то, что именем Богданова безответственно воспользовались две подпольные организации—«коллективисты», а позже «Рабочая правда». Этими моментами Богданову естественно был закрыт доступ в рабочую среду.

Тем с большим рвением он бросился в научную работу и, на служении ей погиб смертью мученика науки, когда на самом себе произвел опасный эксперимент. Богданов по своему уму, по своим знаниям был совершенно исключительным явлением, но даже эти его творческие способности не спасли его, раз он стал на неправильный путь. Его сотоварищ по большевистской работе 1904 г. Галерка (М. С. Ольминский) в одном из своих памфлетов издевался над самомнением незаменимости, которое было у меньшевистских литераторов. Точно так же незаменимым оказался и отход от нас А. А. Богданова. Его политическая трагедия должна показать нам опасность всякой односторонности, опасность взять одну сторону и развить ее до предельности. Отсутствие гибкости, отсутствие чуткого действительности, а окраска ее в цвет предвзятой идеи, вот что явилось причиной политического самоубийства Богданова.

Последней его работой была работа по омоложению изношенного человеческого организма. Еще в своих романах этой идее обновления организма естественными силами он посвятил не мало художественных страниц. По существу героями его утопий были большевики, в ряде черт его герои нетрудно узнать даже оригиналы, с которых они написаны. И вот восстановление этой породы людей, специфической, резко бросающейся в глаза породы русских большевиков, и посвятил последние свои труды один из основателей русского большевизма. Надо помнить, что именно изношенность нашей старой гвардии, ее преждевременный уход в ничто ужасали А. А. Богданова, который как-то независимо от своей воли невольно восхищался тем делом, которое творит и у нас в СССР, и во всем мире русский большевик. Сохранить и продлить жизненные силы тому поколению, которое выстояло и провело три революции и был по существу посвящен институт во переливанию крови, ныне по законному праву носящий имя А. А. Богданова.

Русский пролетариат в лице своей партии, ныне поставивший в порядок дня культурную революцию, никогда не забудет имя А. А. Богданова, как одного из основателей своей партии и как теоретика, впервые поставившего (пусть несвоевременно и неправильно) проблему культурной революции.

ПАМЯТИ А. Я. ТРОИЦКОГО.

Человек единой цели.

И. Луппол.

Слово «воспоминания» вполне уместно и понятно в отношении того, что имело место несколько десятков лет назад. Будет ли объектом воспоминаний какое-либо социально-политическое событие, крупный общественный деятель, оригинальный мыслитель или просто близкий друг,—непосредственные впечатления уже изгладились, острота переживаний от прямого участия в событиях или созерцания их, или, наконец, от личных бесед и общения с другом притупилась, и стала возможной столь излюбленная, хотя часто и пресловутая, объективность воспоминаний. К тому же сам «воспоминатель» обычно рисуется уже как весьма почтенная, хотя бы по возрасту, особа.

Если крупное общественное событие совершилось вчера, то о нем сегодня вспоминают разве только в житейском смысле слова. Время для подлинных воспоминаний еще не пришло, и не потому, что не созданы еще предпосылки для «исторической объективности» (ибо объективным можно быть не только в отношении «вчера» или «сегодня», но и в отношении «завтра»), но потому, что это вчерашнее событие по существу еще не закончилось и так или иначе продолжается и сегодня. Но если уходит крупный человек, самобытный мыслитель, большой деятель, близкий друг, то перестают действовать все привычные ассоциации, связанные со словом «воспоминания», ибо,—как ни тяжело сознание,—этот человек, мыслитель, деятель, друг уже не живет, не мыслит, не действует, не радует. О нем, к великой скорби, можно только вспоминать. Как бы он ни был молод и как бы ни были не стары оставленные им товарищи,—он уже объект лучших воспоминаний, а они невольные авторы их.

Все, кто хоть сколько-нибудь близко знали Александра Яковлевича Троицкого, согласятся, что неизмеримо радостнее было бы находиться с ним в постоянном близком общении, чем писать о нем, как об, увы, объекте воспоминаний.

Александр Яковлевич—это сама жизнь, революционная, полная, ценная, самобытная, многообещающая, бьющая ключом истинного оптимизма,



А. Я. Троицкий.

и вдруг — «нет великого Патрокла, жив презрительный Терсит». Человек, который говорил, что все впереди, что сперва два-три десятка лет непосредственной, повседневной практической работы, борьбы, а потом он, черноземный и кракхистый, сядет за письменный стол, этот человек ушел и вместо жизни, полной воспоминаний, оставил у товарищей о себе воспоминания, полные жизни.

Но, как бы ни были жизненны эти воспоминания, неизмеримо тяжело излагать их на бумаге, ибо для того, чтобы не сделать их безжизненными, нужно быть конгениальным Александру Яковлевичу, а это невозможно. Невозможно потому, что из всех окружающих он выделялся именно своей самобытностью, неповторимостью как по складу ума, по стилю выражения своей мысли, так и по всей внутренней культуре.

Любая передача его мыслей, его речи не будет аутентичной, так как никогда не может быть уверенности, что он, глубокий и чуткий знаток и ценитель русского языка, выразился бы именно так, а не иначе; всякое же изложение, несомненно, не способно передать его стиля и построения, чему он сам, как в изустной речи, так и в письменных работах, придавал немалое значение. Тот, кто слышал его живую речь, было ли это деловым докладом, политическим выступлением или философскими прениями, соглашась, что глубокая положительная мысль, теоретический, казалось бы, сухой, аргумент, полемический удар облекались им в такую законченную, целостную форму, нередко проникнутую тонкой иронией, в такую художественную в подлинном русском стиле оболочку, что слушать его было наслаждением. Вовсе не будет преувеличением сказать, что, если бы нужно было составить своего рода хрестоматию по современным ораторским формам, то ряд речей Александра Яковлевича по праву занял бы место в этой хрестоматии. Такова, напр., была его речь весной 1926 г. на философском диспуте в институте научной философии. К сожалению, эта речь не была застенографирована.

Стиль Александра Яковлевича выражался и в его научных докладах и печатных работах: статьях, полемиках, даже в рецензиях. Обычно форма разработки научных тем — отсутствие всякой формы. Стилистов среди ученых крайне мало. В этом, между прочим, секрет того, что научную литературу на любом языке иностранцу читать гораздо легче, чем литературу художественную. Александр Яковлевич в этом отношении выгодно отличался не только от сверстников, но и от более старшего поколения. Достаточно прочитав его статьи, чтобы убедиться в этом. Несомненно, он работал над формой, но эта работа была, так сказать, естественной, не вычуженной, а подлинно природной.

Он писал и говорил легким, доступным языком, — в этом сказана прекрасная педагогика, — однако никогда не опускался до упрощенства, вульгаризации предмета. Вместе с тем, как в его речи, так и в печатных работах, было всегда много тонкой иронии и неожиданных экскурсов и намеков, которые могли быть поняты только тем, кто знал предмет и был достаточно в курсе литературы. Его полемика никогда не была грубой, но своей легкой, остроумной иронией он поражал острее и более метко, чем другие; часто ему даже незачем было называть имени того, с кем он полемизирует, ибо для окружающих, да и для самого противника, если только последний способен был понимать, все было ясно. Его характеристики были метки и остры и весьма удачно били в цель.

Одну свою рецензию он начал таким образом: «Историки русского философского «невегласия» в лето от Р. Х. 1922-е записали в своих летописях, что с того момента, как большевики вlepили в штукатуру старого Московского университета в кудряшках эпиграмму: «Дело науки — слушать

людям», обидчивая философия оставила пределы рабоче-мужичьей страны». Эта ироническая фраза не была беспредметной; острием своим она метила в Г. Шпета, который в своем «Очерке развития русской философии», после желчных слов по адресу интеллигенции, либеральной и социалистической, писал: «И вот, в русском самосознании переплелись Гоголь и Белинский, Толстой и Ткачев, Розанов и Чернышевский, Писарев и наши дни, когда в шутку старое Московского университета вклеена в кудряшках эпиграмма: «Дело науки—служить людям»».

В другом месте, в статье: «Зазорно ли большевику заниматься философией», характеризую одного из наших «философов», он писал: «Очень недовольный таким положением вещей он (Минин.—И. Л.), будучи окончательно выведен из равновесия тем обстоятельством, что Плеханов и Ленин «трубят об этой самой философии», решил, чтобы зло пресечь, покончить с философией раз и навсегда, спустив ее в пучину морскую. В анналах истории после этого стало значиться, что в лето 1922, апреля 22 дня, в 2 часа 25 мин. пополудни, тов. Мининым «без остатка вышвырнута за борт философия».

Несведущим эта точная дата могла показаться надуманным остроумием, вернее потугой на остроумие, так как она ничем в контексте не оправдана. Однако дело принимает совершенно иной оборот, если вспомнить, что Минин свою претенциозную и теоретически абсолютно неверную статью в № 5—6 «Под Знаменем Марксизма» за 1922 г. закончил именно такой нелепой и никчемной датой: 26/IV, 1922 г., 02 ч. 25 м. Поэтому повторение даты А. Я. Троицким в его контексте не только звучало иронически, но и высмеивало собственную тов. Минина неадекватность.

Употребление Мининим выражения: «философию за борт!» позволило А. Я. Троицкому играть дальше на «морских» образах. «Очевидно,—писал он,—падение было столь значительно, что воды океана выступили из берегов и заняли часть прилегающей к нашему герою суши и—будем надеяться, на прериях—окружили его мокрой, если так позволительно выразиться, стихией. Тем и закончился ратный подвиг нового Минина, спасавшего «мозговые форты» большевиков от «газовой атаки философии». «Новый подвиг ратного Минина», это словечко звучало чрезвычайно метко и надолго укрепились в наших философских кругах.

Ограничимся еще только одним примером. Александр Яковлевич всегда утверждал, что философия отнюдь не менее понятна, чем другие отрасли знания, что представление, согласно которому философия есть нечто темное, малопонятное, является предвзвешенным, правда, широко распространенным и объясняемым языком философов профессионалов. «У Ленина же,—писал Александр Яковлевич,—язык существовал для того, чтобы его понимали... Поэтому и его философские высказывания просты и понятны всем; поэтому-то они и браковались авгурами увертливо дипломатической философии». Последний эпитет настолько меток, что для наших философских кругов является вполне прозрачным, в особенности, если взять следующую же выписку А. Я.: «Сейчас у нас времена совсем иные. От мнений, не лестных для Ленина, отказались сами авторы их (если в этом опять нет «тонкой» философии), а люди более непосредственные открывают ленинизм даже в медицине».

Остроумие и меткие характеристики Александра Яковлевича находились у него в теснейшей связи со всеми другими элементами его стиля, а этот последний не был чем-то внешним в отношении всего склада и содержания его ума: и вырабатывались они у Александра Яковлевича совместно, и оформлялись одновременно, и питались одним и тем же материалом.

Материал этот был многочислен и разнообразен. Александр Яковлевич читал очень много, и интересы его простирались на самые различные

области знания. Едва ли я ошибусь, если скажу, что его первой «любимой» была психология. Из всего круга товарищей он, собственно говоря, один обнаруживал специальный интерес к психологии и был в этой области большим эрудитом. Занятия психологией по преимуществу относились еще к университетским его годам.

Помню, что на первом курсе Института красной профессуры он «пошел на выучку» к французскому материализму XVIII века, пошел серьезно, вдумчиво, с глубокими симпатиями к объекту изучения. В те годы ряд французских материалистов еще не был переведен на русский язык, и Александр Яковлевич прорабатывал авторов в подлинниках. Этой задаче он подчинил и изучение французского языка, вернее, совершенствование в нем, так как известный лексический запас и определенные знания у него уже были к моменту поступления в Институт красной профессуры.

Из всех французских материалистов XVIII в. он решительнее всего остановился на Гельвеции, в отношении которого он был, несомненно, наиболее конгенialным. В первом же полугодии Александр Яковлевич издал в философском семинарии А. М. Деборина тему «Этические взгляды Гельвеция». Гельвеций прочно завладел вниманием Александра Яковлевича, и написать монографию об этом материалисте стало его заветным желанием. К сожалению, монография эта так и осталась ненаписанной. Причины этого понятны. Они лежат, во-первых, в чрезмерной, совершенно исключительной нагрузке Александра Яковлевича, — в его организационной и педагогической работе в Институте красной профессуры, в Институте В. И. Ленина, в вузах, а в самое последнее время в АПО ЦК ВКП; во-вторых, — что не менее существенно, — они кроются в его методах научной работы. Он не мог оставаться спокойным, не мог приступить к процессу писания, если знал, что им не проработана хотя бы самая малая часть литературы, относящейся к предмету. Поэтому материал его все возрастал и возрастал, а он оказывался все более и более ненасытным.

Во втором полугодии 1921/22 г. Александр Яковлевич в том же семинарии взял тему «Учение Канта о пространстве и времени». Эту тему он разработал не по традиционному; он представил материал в аспекте обоснования Кантом математики. На материале этой темы обнаружилось знание Александра Яковлевича в области точных и естественных наук. Для некоторых участников семинария это было полной неожиданностью, так как ю того имя Александра Яковлевича сочетали обычно с проблемами психоэтики и этики.

Дальнейшим видимым для других этапом Александра Яковлевича в том же направлении был его доклад о «количестве» у Гегеля. Эта тема также была разработана им на широкой математической и естественнонаучной базе.

Однако было бы неправильно думать, что в занятиях Александра Яковлевича имелся некий «натурфилософский», как теперь выражаются, некоторые злопыхатели с потугой на ехидное остроумие, — уклон. Александр Яковлевич обладал солидными знаниями в области естественных наук, но он не стремился свести марксистскую философию к современным достижениям естествознания. Естественные науки для него, философа по преимуществу, были тем, чем они и должны быть — базой и материалом диалектического материализма. Вместе с тем, он не забывал и о базе и материале иного порядка, он не забывал и наук общественных.

Начиная с 1923 года его стали привлекать к себе все больше и больше общие проблемы философии, как науки. Чем должна быть, чем является философия диалектического материализма? Каково ее содержание, какова ее структура, как науки? — вот те основные вопросы, которые занимали его

Само собою разумеется, что вокруг этих основных проблем сосредоточился круг других вопросов—каково отношение философии к революции и каково должно быть, следовательно, отношение к философии революционеров? Дать ответ на эти последние вопросы Александру Яковлевичу казалось тем более необходимым, что к этому времени уже определились у нас и ликвидаторы марксистской философии, и ее «ревизоры», и ее «дипломатически увертливые» жрецы и жрицы.

Александр Яковлевич задумал написать о проблеме философии большую работу. Именно к этой теме в самые последние годы он приспособлял всю свою научную работу. Широко задумав план, он стал прорабатывать материал как из области буржуазной философии, так и марксизма. В частности, его интересовал вопрос, какие практические выводы следуют из той или иной философской концепции. В связи с этим он чрезвычайно внимательно, можно сказать, скрупулезно перечитывал как основные, так и второстепенные марксистские работы, русские и иностранные. Вновь и вновь перечитывал он под углом зрения своей темы Ленина и Плеханова, перечитывал их, так сказать, параллельно, т.-е. проводя сравнительный анализ их произведений по отдельным годам. Результат этой тщательной работы должен был войти составной частью в его книгу.

Равным образом под углом зрения своей темы прорабатывал он и ревизионистов как в области философии, так и в области общеполитической. Не ускользали от его внимания и все книги, написанные не марксистами, по вопросам философии марксизма. Он хотел собрать исчерпывающий материал.

Александр Яковлевич предполагал фиксировать отдельные части своей большой работы в виде докладов в институте научной философии и в виде отдельных статей. Судьба судила иначе: он не успел прочитать ни одного доклада, а ряд статей успел только начать.

Путеводной нитью в его построениях должна была быть славная нить Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина. Ни на йоту не отступая от их учения, Александр Яковлевич поставил себе задачу в систематическом виде разрешить проблему философии марксизма, показать, что последняя есть теория революционного действия пролетариата. Эта мысль владела им издавна, этой мысли должны были подчиниться и все частные философские науки.

Помню его формулировки еще в 1922 году, когда наступили первые бои на нашем психологическом фронте. Выступление К. Корнилова и П. Блонского против Г. Челпанова и «челпановцев» Александр Яковлевич приветствовал как глубоко положительное явление. Только, говорил он, психологию нужно формулировать не как науку о поведении, а как теорию индивидуального действия; это нужно ставить в связь с революцией в области этики, как якобы некоей нормативной науки; этика же должна быть теорией массового действия. Так приближался Александр Яковлевич к своей позднейшей формулировке задач философии.

Начало первой статьи из цикла задуманной им работы относится к весне 1924 года. Поводом к ее написанию, глубоко печальным поводом, послужила смерть В. И. Ленина. Именно тогда Александр Яковлевич как бы забеспокоился и с необыкновенной усидчивостью стал перечитывать сочинения Ленина.

Эпиграфом к своей первой статье он взял слова Энгельса: «Наша теория не догма, а руководство к действию» и слова Ленина: «Для нас теория—обоснование предпринимаемых действий для уверенности в них». Заглавием своей статье он дал такое: «Философия на службе революции». Это заглавие и было лейтмотивом всей концепции Александра Яковлевича.

В первой же статье Александр Яковлевич поднял знамя против «философобов». Опирился цитатами из Ленина, как материалом, который, «наряду с доказательностью, обладал бы и авторитетностью, способствующей устранению предубежденности», Александр Яковлевич со всей решительностью отстаивал права теоретического мышления. «Для выработки,— писал между прочим, Александр Яковлевич,— тактики русских большевиков нужен был совершенно иной тип революционера, сочетавшего в органическом единстве теорию и практику революции, т.-е. революционера, который свою практику строит на базе теоретических достижений, а свою теорию проверяет и отшлифовывает в горниле практики революционной борьбы¹⁾».

Подчеркнув, что именно таким революционером и был Ленин, Александр Яковлевич переходил к выяснению того, что философия и есть важнейший и основной участок революционной теории. «Научить бороться, действовать, быть наукой действия— вот задача философии в понимании Ленина». После этого Александр Яковлевич должен был перейти к обоснованию партийности философии. Но еще до этого он хотел показать, «как же обстоит дело с «отменой» философии в марксизме». Это казалось ему тем более необходимым, что прямые «ликвидаторские» тенденции в 1924 году были еще достаточно сильны.

Хотя эта первая статья и заканчивалась словами «продолжение следует», но окончания не последовало. Как уже было сказано, работа Александра Яковлевича осталась незаконченной. «Продолжение» же, однако, последовало.

Этим продолжением явилась статья в «Большевике» с ярким названием: «Зазорно ли большевику заниматься философией?»²⁾. Мы не собираемся давать здесь изложение этой статьи,—она у всех еще в памяти,—но мы хотим отметить, что и в этой статье Александр Яковлевич подводит читателя к своему основному выводу: философия есть теория революционного действия пролетариата.

Начав с прямых ликвидаторов философии марксизма («ратный подым нового Минина»), Александр Яковлевич присоединяет к нему тех, кто, не выступая непосредственно за уничтожение философии, ликвидирует ее обходным путем, растворяя ее содержание в «последних и наиболее общих выводах современной науки» или сводя ее к современному естествознанию. Критикуя эти неправильные представления, Александр Яковлевич берет себе в руководители сперва Энгельса, а затем Ленина. Он следит за всей аргументацией Энгельса как в «Диалектике природы», так и в «Анти-Дюринге», он разъясняет живым, красочным языком, как следует понимать высказывания Энгельса об «отмене» философии.

В конце концов вопрос о существовании философии, как науки, решается в зависимости от того, имеется ли определенный объект у этой науки. «Философия нашего времени, наша философия— одна из наук, и вопрос о ее возможности, значении и т. д. решается вопросом о наличии самостоятельного объекта этой науки, объекта, не совпадающего с объектом какой-либо другой области познания». Александр Яковлевич основывается в данном случае на положении Энгельса: «От всей прежней философии остается в качестве самостоятельной науки только учение о мышлении и его законах, формальная логика и диалектика».

Прежде, чем двинуться дальше, Александр Яковлевич переходит к Ленину и в кратких чертах представляет читателю путь философского развития Ленина. Показав отношение Ленина к философии, Александр Яков-

¹⁾ «Под Знаменем Марксизма» 1924 г., № 4—5, стр. 16.

²⁾ Впоследствии издана Госуд. издат. под названием—«Без ведома и согласия Александра Яковлевича»—«Философия и марксизм».

вич переходит к формулировке задач философии, которые, по его мнению, определяются ее предметом. Он против того, чтобы философия вторгалась в чужие отрасли знания, подменяла собою другие научные дисциплины, отнимала у них их объекты. Равным образом он против концепции, согласно которой философия имеет своим предметом предметы других наук, но изучает их каким-то особым «философским» методом. Он считает, что философия имеет свой адекватный объект. Таким объектом является «область чистой мысли», область теоретической мысли. «Многим,—пишет он,—может показаться, да и на самом деле кажется, что наличие такого предмета у философии не делает ее положение слаще». В самом деле, не есть ли это позиция старой одновременно и идеалистической, и метафизической философии? И не решается ли в таком случае задача философии другими, более точными науками, не исчерпывается ли ее содержание измерением и изучением мозга?

Нет, задача философии этим не разрешается, так как «смотреть на мышление так, это значит—рассматривать его как божественный подарок». В действительности же мышление человека от начала и до конца исторично; у него нет границ или, вернее, у него те же границы, что и у истории». Александр Яковлевич основывается на Энгельсе: «Теоретическое мышление каждой эпохи, это исторический продукт... следовательно, наука о мышлении... есть историческая наука, наука об историческом развитии человеческого мышления».

Чем же определяется процесс изменения мышления? «Жизнь смеется над ограниченностью метафизической рассудочности, заставляя нас каждым шагом нашей деятельности, каждым нашим действием разбивать скорлупки логических форм и прорываться в живую, не знающую неподвижных граней действительность. В действии человек все снова и снова прорывает границы своего мышления, все снова и снова отодвигает их». Так намечается, правда, в самой общей форме, связь, единство, взаимозависимость мышления и действия.

Несомненно, действительную сторону мышления развивал классический немецкий идеализм, но развивал односторонне, уродливо. «Правильную же оценку значения действия, практики мог дать и дал только диалектический материализм, плюсами идеалистической философии уничтоживший минусы метафизического материализма». Диалектический материализм,—философия марксизма,—положил конец разобщенному существованию мышления и действия, теории и практики.

Единство теории и практики Александр Яковлевич формулирует в таких выражениях: «Критика оружием—действие—прорывает для мысли грань настоящего и открывает перед нею необятные дали будущего—это истина; но истина также и то, что эта «критика оружием» возможна лишь при наличии орудия самой критики, т.е. мысли. Действие, практика движет мысль, но мысль, теория руководит действием».

Отсюда Александр Яковлевич переходит к действиям пролетариата, направленным по адресу капиталистического общества и соответственно к теории этих действий. Вывод его ясен: большевику не только не «зазорно» заниматься философией, но «в философии лежит ключ к пониманию тактики партии, и вредное дело для партии продлевают те, кто направляет ищущих этот ключ в сторону от философии».

Таковыми мыслями заканчивается его вторая статья. Имея в виду, с одной стороны, указание на «вредное дело для партии», а, с другой, указание в конце напечатанного отрывка его первой статьи, мы можем догадываться, что в дальнейшем Александр Яковлевич хотел перейти к выведе-

В первой же статье Александр Яковлевич поднял знамя против «философобов». Опираясь цитатами из Ленина, как материалом, который, «на ряду с доказательностью, обладал бы и авторитетностью, способствующей устранению предубежденности», Александр Яковлевич со всей решительностью отстаивал права теоретического мышления. «Для выработки,—писал между прочим, Александр Яковлевич,—тактики русских большевиков нужен был совершенно иной тип революционера, сочетавшего в органическом единстве теорию и практику революции, т. е. революционера, который свою практику строит на базе теоретических достижений, а свою теорию проверяет и отшлифовывает в горниле практики революционной борьбы¹⁾».

Подчеркнув, что именно таким революционером и был Ленин, Александр Яковлевич переходил к выяснению того, что философия и есть важнейший и основной участок революционной теории. «Научить бороться, действовать, быть наукой действия—вот задача философии в понимании Ленина». После этого Александр Яковлевич должен был перейти к обоснованию партийности философии. Но еще до этого он хотел показать, «как же обстоит дело с «отменой» философии в марксизме». Это казалось ему тем более необходимым, что прямые «ликвидаторские» тенденции в 1924 году были еще достаточно сильны.

Хотя эта первая статья и заканчивалась словами «продолжение следует», но окончания не последовало. Как уже было сказано, работа Александра Яковлевича осталась незаконченной. «Продолжение» же, однако, последовало.

Этим продолжением явилась статья в «Большевике» с ярким названием: «Засорно ли большевику заниматься философией?»²⁾. Мы не сомневаемся давать здесь изложение этой статьи,—она у всех еще в памяти,—но мы хотим отметить, что и в этой статье Александр Яковлевич подводит читателя к своему основному выводу: философия есть теория революционного действия пролетариата.

Начав с прямых ликвидаторов философии марксизма («ратный позист нового Минина»), Александр Яковлевич присоединяет к нему тех, кто, не выступая непосредственно за уничтожение философии, ликвидирует ее обходным путем, растворяя ее содержание в «последних и наиболее общих выводах современной науки» или сводя ее к современному естествознанию. Критикуя эти неправильные представления, Александр Яковлевич берет себе в руководители сперва Энгельса, а затем Ленина. Он следит за всей аргументацией Энгельса как в «Диалектике природы», так и в «Анти-Дюринге», он разъясняет живым, красочным языком, как следует понимать высказывания Энгельса об «отмене» философии.

В конце концов вопрос о существовании философии, как науки, решается в зависимости от того, имеется ли определенный объект у этой науки. «Философия нашего времени», наша философия—одна из наук, и вопрос о ее возможности, значении и т. д. решается вопросом о наличии самостоятельного объекта этой науки, объекта, не совпадающего с объектом какой-либо другой области познания». Александр Яковлевич основывается в данном случае на положении Энгельса: «От всей прежней философии остается в качестве самостоятельной науки только учение о мышлении и его законах, формальная логика и диалектика».

Прежде, чем двинуться дальше, Александр Яковлевич переходит к Ленину и в кратких чертах представляет читателю путь философского развития Ленина. Показав отношение Ленина к философии, Александр Яковле-

¹⁾ «Под Знаменем Марксизма» 1924 г., № 4—5, стр. 16.

²⁾ Последствия издана Госуд. издат. под названием—без ведома и согласия Александра Яковлевича—«Философия и марксизм».

вич переходит к формулировке задач философии, которые, по его мнению, определяются ее предметом. Он против того, чтобы философия вторгалась в чужие отрасли знания, подменяла собою другие научные дисциплины, отнимала у них их объекты. Равным образом он против концепции, согласно которой философия имеет своим предметом предметы других наук, но изучает их каким-то особым «философским» методом. Он считает, что философия имеет свой адекватный объект. Таким объектом является «область чистой мысли», область теоретической мысли. «Многим,—пишет он,—может показаться, да и на самом деле кажется, что наличие такого предмета у философии не делает ее положение слаще». В самом деле, не есть ли это позиция старой одновременно и идеалистической, и метафизической философии? И не решается ли в таком случае задача философии другими, более точными науками, не исчерпывается ли ее содержание измерением и изучением мозга?

Нет, задача философии этим не разрешается, так как «смотреть на мышление так, это значит—рассматривать его как божественный подарок». В действительности же мышление человека от начала и до конца исторично; у него нет границ или, вернее, у него те же границы, что и у истории». Александр Яковлевич основывается на Энгельсе: «Теоретическое мышление каждой эпохи, это исторический продукт... следовательно, наука о мышлении... есть историческая наука, наука об историческом развитии человеческого мышления».

Чем же определяется процесс изменения мышления? «Жизнь смеется над ограниченностью метафизической рассудочности, заставляя нас каждым шагом нашей деятельности, каждым нашим действием разбивать скорлупки логических форм и прорываться в живую, не знающую неподвижных граней действительность. В действии человек все снова и снова прорывает границы своего мышления, все снова и снова отодвигает их». Так намечается, правда, в самой общей форме, связь, единство, взаимозависимость мышления и действия.

Несомненно, действительную сторону мышления развивал классический немецкий идеализм, но развивал односторонне, уродливо. «Правильную же оценку значения действия, практики мог дать и дал только диалектический материализм, плюсами идеалистической философии уничтоживший минусы метафизического материализма». Диалектический материализм,—философия марксизма,—положил конец разобщенному существованию мышления и действия, теории и практики.

Единство теории и практики Александр Яковлевич формулирует в таких выражениях: «Критика оружием—действие—прорывает для мысли грань настоящего и открывает перед нею необъятные дали будущего—это истина; но истина также и то, что эта «критика оружием» возможна лишь при наличии орудия самой критики, т.-е. мысли. Действие, практика движет мысль, но мысль, теория руководит действием».

Отсюда Александр Яковлевич переходит к действиям пролетариата, направленным по адресу капиталистического общества и соответственно к теории этих действий. Вывод его ясен: большевику не только не «засорно» заниматься философией, но «в философии лежит ключ к пониманию тактики партии, и вредное дело для партии проделывают те, кто направляет ищущих этот ключ в сторону от философии».

Таковыми мыслями заканчивается его вторая статья. Имея в виду, с одной стороны, указание на «вредное дело для партии», а, с другой, указание в конце напечатанного отрывка его первой статьи, мы можем догадываться, что в дальнейшем Александр Яковлевич хотел перейти к выясне-

нию так называемой партийности в философии. К глубокому сожалению, эти дальнейшие строки остались ненаписанными...

Основной теме начатой книги Александром Яковлевым были посвящены все его работы, чтение, педагогическая, практическая деятельность, изучение иностранных языков, не говоря уже, само собой разумеется, о его активной политической деятельности в рядах истинных ленинцев. Есть основание предполагать, что и Гельвеций интересовал его именно в этом контексте, как предистория с одной стороны диалектического материализма, а с другой—научного коммунизма. Для того, чтобы понять это, достаточно вспомнить общую оценку французского материализма XVIII века, данную Марксом в известной главе из «Святого семейства», а также прочесть заключительные строки доклада Александра Яковлевича об этике Гельвеция: «Этика—пустая наука, если она не сливается с политикой и законодательством»—точный и ясный ответ Гельвеция. Этика пустая тараращина, если она не является руководством в классовой борьбе, так звучит этот ответ нашего мыслителя, если модернизировать его язык... Нет... не только объяснял Гельвеций: взгляните в эти логически стройные рассуждения его книги,—вы в них почувствуете страстный призыв революционера...»

Этим единым и страстным призывом была вся практическая деятельность Александра Яковлевича, равно как и вся его теоретическая работа.

— *Timeo hominem unius libri*—боюсь человека одной (единой, единственной) книги,—не раз говорил я ему полусуто в дружеской беседе, подчеркивая его монолитность и единую направленность цели, а он в ответ только улыбался своими добрыми, бесконечно милыми глазами.

Именно в силу его необычайной цельности и прямолинейности научных устремлений с ним было чрезвычайно легко и приятно работать. Был ли это школьный урок французского или английского языков, было ли это упорное совместное чтение Спинозы, по-латыни, какое-либо заседание, деловая комиссия, обсуждение каких-либо мероприятий с глазу на глаз—самый факт совместной работы с Александром Яковлевым до пределов облегчал работу и делал ее неизмеримо приятной. На семинарских занятиях, на философских диспутах, на ответственных партийных собраниях, наконец, в тяжелые моменты жизненных испытаний одно присутствие Александра Яковлевича, его поддержка, в которой всегда можно было быть уверенным при прямом к нему отношении, все это бодрило и радовало бесконечно. Поэтому-то так тяжела мысль о том, что больше никогда его не увидишь.



Памяти А. Я. Троицкого.

В. Асмус.

Предлагаемые здесь заметки об Александре Яковлевиче Троицком ни в коем случае не следует рассматривать как характеристику его личности. Право такой характеристики принадлежит тем, кто знал его дольше, теснее и лучше, чем пишущий эти строки. Все же, думается, кое-что в моих воспоминаниях может представить интерес общий...

Знакомство мое с Александром Яковлевичем состоялось недавно¹⁾ и было кратковременно. Навещая А. Я. во время первой его болезни, я беседовал с ним на разные темы, в том числе—и на философские.

Условия болезни ограничивали сферу нашего общения. Естественно, ограничивали они и диапазон моих наблюдений. Прикованный к постели, оторванный от любимой работы, А. Я. открывался мне не столько, как великодушный педагог, организатор и деятельный член педагогических, исследовательских и литературных коллективов, каким он был, сколько как философ, мыслитель, теоретик.

Об одной этой стороне его многообразной, всячески даровитой личности можно было бы написать множество страниц. Александр Яковлевич был полновесный философ, с теоретическим умом большого калибра, редкой ясности и широты, замечательно точной и глубокой хватки. Непосредственность восприятий, здоровая свежесть чувств и впечатлений, любовь к крепкому запаху земли и жизни счастливо сочетались в нем с острой и живой наблюдательностью, с постоянным философским анализом, с серьезным и глубоко идущим изучением простой и, вместе с тем, такой сложной, трудной диалектики жизни. Он в высшей мере обладал тем—редко встречающимся—талантом, который дает людям право почитаться философами и который состоит в трудном умении по-особому рассматривать всем известные, обыденные факты. Попадая в поле зрения таких людей, факты эти, не теряя ничего в своей конкретности, мгновенно связываются тысячами нитей со множеством других фактов, которые кажутся очень далекими и даже ничего общего не имеющих с явлением, прямо наблюдаемым, но которые, на самом деле, представляют различные формы в проявлении одной и той же закономерности.

Но не отвлеченная сила диалектического анализа—как бы ни была она замечательна—другая, еще более редкостная и ценная черта была жизненным центром всей работы А. Я. и главным источником его обаяния. Вся многосторонняя, глубокая и серьезная теоретическая работа, которую он вел, была подчинена одной основной, ни на мгновение не упускавшейся им из виду цели—служению пролетарской революции. А. Я. Троицкий был философ-большевик, философ-коммунист, философ-ленинец. В его представлении философия должна была стать не самовитым любознательством, но теоретическим оружием революции, Октябрем теоретической мысли, Октябрем культуры, деятельным, преобразующим и руководящим началом культурной революции.

¹⁾ Автор настоящих заметок только с осени 1927 г. работает в Москве. С этого же времени начинается его знакомство с А. Я.

Подчиняя философское мышление величайшей практической задаче — революционному изменению мира, А. Я. был, однако, как нельзя более, даже от узкого и неадекватного практицизма, который теоретические задачи сводит к обслуживанию непосредственных интересов текущего дня. Он был твердо убежден, что революционная перестройка мира сможет быть доведена до победы только в том случае, если теоретические перспективы этой перестройки будут безмерно широки, если в основе ее будут лежать не положительные приобретения трехтысячелетней диалектики философской мысли. Отсюда — парадоксальная на первый взгляд, по сути же дела — диалектическая, ничего парадоксального не заключающая черта А. Я.: этот философ-ленинец был в то же время настоящим академическим ученым; превосходный красный профессор, он был вместе с тем взыскательнейшим эрудитом, убежденнейшим сторонником основательного исторического изучения философии.

Круг его собственных изучений был чрезвычайно обширен. Повидимому, у него был широчайший план постепенного исторического изучения и пересмотра — в свете марксизма — всей новой философии. Выполнение этого плана он начинал с философии XVII века. Его внимание привлекали гиганты этого века: Декарт, Гоббс, Спиноза, Лейбниц. О них он говорил особенно охотно, воодушевляясь значительностью темы.

При большом объеме размаха работы А. Я. стремился ко всей возможной основательности. Вопрос о литературной фиксации проработанного стоял у него на последнем плане. Внутри своей темы он продвигался медленно, осторожно, тщательно накапливая материал, рассчитывая каждый шаг, избегая всякой поспешности и необоснованности в выводах или заключениях. Он превосходно ориентировался в специальной литературе, быстро определял «удельный вес» каждой книги и — в меру этого веса — отмерял время, потребное на ее проработку. Но, дорожа своим — и без того безжалостно расхищаемым временем, — А. Я. все же не оставлял без внимания ни одной книжки, которая имела хоть какое-нибудь отношение к вопросу, над которым он работал.

В библиографических поисках он был неутомим. В свой рабочий кабинет он с равным усердием нес и многотомное академическое издание Декарта, и комплекты старых журналов, и какую-нибудь тощую — душой и телом — диссертацию немецкого приват-доцента. Он великолепно понимал громадное значение специальной журнальной литературы, и его библиографические изыскания в этой области были особенно настойчивы и плодотворны. В библиотеке И. К. П. философский отдел, который он же и комплектовал, обычно он первый разрезал и прочитывал иностранные экономические, исторические и философские журналы. Постоянный набежчик во все крупные научные библиотеки Москвы, А. Я. в особо затруднительных случаях прибегал и к помощи друзей, которые могли ему достать ту или иную редкую книгу. Крайне деликатный, он стеснялся обременять своих друзей книжными поручениями и с какой-то особенной трогательной благодарностью и радостью брал в руки каждый приносимый ему друзьями том.

В эти дни, когда вопросы культурной революции встают во весь громадный рост, потеря А. Я. Троицкого положительно не заменима. Как никто другой, он был создан для культурного строительства, для культурной революции. Навыки научного работника высокой культуры были ему настолько свойственны, что, казалось, он с ними родился. Он был живым свидетельством тех неисчерпаемых культурных сил, какие таит в себе революционный пролетариат, строитель будущей жизни. Он показал — на небольшом отрезке своей короткой и трудной жизни, — каким превосходным, широким и тонким культурным деятелем, культурным революционером может быть и должен быть марксист-ленинец.

Высокие требования, взыскательность, постоянная неудовлетворенность сообщали его научной работе отпечаток удивительной жизненности, культурной высоты и силы. Бесперывно совершенствуясь, он, как всякий умный человек, знал, что растет, и радовался каждому своему новому успеху. Но радость эта не была личной и своекорыстной радостью спортсмена, который видит, что он первым идет к финишу. Это была, если так можно выразиться, социальная, классовая радость. Свои личные успехи А. Я. рассматривал как знак того роста, который неудержимо совершается в руководящей культурной прослойке пролетариата.

Социальный тонус всего мироощущения сообщал Александру Яковлевичу редкую жизнелюбность, твердость, оптимизм. Александр Яковлевич был крепко своей крепкой связью с победоносным классом, в первых рядах которого он боролся и работал. Но эта же связь давала ему тяжелое право резкой критики, суровой оценки всего того, что, по его мнению, стояло, как препятствие, на пути культурного развития пролетариата. Весь увлеченный великим делом культурного строительства, А. Я. был однако очень трезв в оценке действительных достижений. Он очень остро ощущал многочисленные недостатки нашего бескультурья, нашей хозяйственной, технической и культурной нищеты и безалаберности. С добродушным негодованием показывал он мне книжку журнала «Большевик», где в его же собственной статье все сноски и цитаты, предназначенные для «подвала», были внесены наборщиком в основной текст. Корректурa не исправила ошибки, и статья появилась в невозможном для чтения виде. Такие явления, — а он их подбирал одно к одному жарящее количество — глубоко огорчали Александра Яковлевича. Но и здесь в самых огорчениях его не было и тени личной обиды или личного недовольства. В приведенном случае его огорчало не то, что безнадежно изуродовали статью Троицкого, а то, что еще возможны у нас такие технические промахи и недочеты.

Пристально изучая ошибки и пробелы нашего культурного и философского роста, А. Я. чрезвычайно внимательно прислушивался к их критике, с какой бы стороны она ни исходила. В частности, его крайне интересовала критика иностранной и эмигрантской печати.

Особенно интересовала его критика нашей философии. Здесь он изучал каждое слово, каждую оценку, каждый оттенок выражения. Все это он обдумывал, быстро расчленил материал, отбрасывая случайное от существенного, отличая явно тенденциозную или демагогическую придирку от крупицы деловой критики. Источником его внимания к зарубежной критике было, конечно, не высокое мнение об ее качествах: в эмигрантской критике А. Я. видел прежде всего кривое зеркало нашего развития. Производя нужные поправки на кривизну обратных и превратных оценок и изображений, он получал еще одну меру для оценки нашего действительного роста.

Накануне болезни он готовился выступить в печати с ответом-отповедью на статью Wernier'a о советском марксизме, появившуюся в «Gesellschaft». Не меньший интерес возбудила в нем статья эмигранта Прокофьева «О советской философии», напечатанная в «Современных Записках».

Заканчивая свои беглые заметки, не могу не упомянуть еще об одной замечательной стороне мирозерцания А. Я. Эта черта — особый интерес к русской социологической и философской мысли. Конечно, в Плеханове и Ленинe он видел прежде всего теоретических учителей мирового марксизма, интернационального движения рабочего класса. Но, вместе с тем, они были для А. Я. и крупнейшими представителями русской теоретической мысли. Александр Яковлевич любил русский пролетариат — не потому, что это — русский пролетариат, а потому, что это великий пролетариат, с великими подвигами, делами и еще более великими будущими задачами.

И еще он любил его потому, что жизненно был крепко с ним связан, хорошо его знал, сам был его отпрыском и его культурным работником.

Доверие Александра Яковлевича к творческим силам русского пролетариата было безгранично. В оценках личной работы, личной судьбы А. Я. был не лишен некоторого пессимизма. Скрамнейший, он явно недооценивал свои способности, свое значение, отчасти относил эту оценку к судьбе всего своего поколения. «Ну, что я?—сказал он как-то.—Над собой я уже давно поставил крест: философствующий публицист—типичное явление русской культуры—на большее не рассчитываю...» Но в то же время в общем масштабе вопросов культурного развития нашей революции А. Я. был величайший оптимист, заражавший и вдохновлявший своих товарищей по работе. Радостно, уверенно глядел он не только в культурное будущее рабочего класса, но и в его философское будущее. «Я полагаю,—часто говорил А. Я.,—что для русской философии—в настоящем смысле слова—время пришло только теперь...» А как-то, среди беседы о предполагавшемся им ответе на критику Вегнер'а и Прокофьева, вдруг сказал с каким-то милым озорством и задором: «Вот погодите, оправлюсь—напишу им ответ, разбешу всех их окончательно: скажу прямо, что будущая мировая философия будет у нас, в Советии, и будет говорить на языке русском»...

Так и не написал он своего ответа!



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

Ученик Маркс и учитель Рюле.

Otto Rühle: Karl Marx. Leben und Werk. Геллергау близ Дрездена 1928 г.).

„Du gleichst dem Geist
den du begreifst, nicht mir“¹⁾.

Гете «Фауст».

Я должен был сделать величайшее насилие над собой, чтобы дочитать до конца эту убогую стряпню. Она еще гораздо ниже, чем книга Спарго о Марксе. Спарго мерил Маркса на аршин американского филистера. При этом зрелище нельзя было подчас удержаться от искреннего смеха. В американском филистере еще сохранилось кое-что от свежести не тронутого культурой человека. Рюле же подходит к Марксу с карликовой меркой саксонского филистера. Тут уже нет ничего веселого—сплошная скука, плесень и тошнотворная пошлость. Спарго хоть сам потрудился над собиранием материалов для своей книги; правда, собранные им данные крайне неудовлетворительны, а для их надлежащей обработки у него нет ни владения методом, ни фактических знаний. Но Рюле даже вовсе и не старается; он черпает сведения из вторых и третьих рук. Чтобы работать так, как работает Рюле, требуется либо полнейшее невежество, либо величайшее легкомыслие, либо то и другое вместе. Он не дает себе даже труда внимательно прочесть Меринга. Например: у Меринга сказано, что «после сестры Софии Карл был их (родителей) старшим ребенком» (Биография Маркса, стр. 3). Карл Маркс был, следовательно, вторым ребенком в семье. У Рюле он превращается в старшего ребенка, и на этой ошибке воздвигается целая пирамида невероятнейшего издора.

Со стороны сообщаемого ею материала книга не заслуживает, таким образом, ровно никакого внимания. Кто ищет хотя-бы только точной передачи давно известных фактов, пусть лучше не берет ее в руки. Случай с первоизданием Маркса показателен для всей книги.

Что касается обработки материала, то нельзя себе вообразить ничего более убогого в идейном и стилистическом отношении. Пустой, напыщенный язык, которым написана книга, живо напоминает красноречие купеческой рекламы. Тавтология, повторение одного и того же разными словами—излюбленный прием Рюле. Можно прямо захлебнуться в потоках его словизвержения.

Приведу несколько мест на пробу.

Вот как описывает Рюле «историческую ситуацию» восхождения капитализма: «Деньги победили чернозем, постулаты свободы восторжествовали

¹⁾ «Ты подобен духу, которого ты постигаешь, но не мне».

над традициями скованности. Молодое утро взошло над Западной Европой (стр. 7).

Теперь читатель вполне ясно представляет себе «историческую ситуацию».

На той же странице мы с удивлением читаем: «Ее (буржуазии) жалкие подвиги не отступала ни перед какими трудностями, ее отвага бросала в бой с высочайшими проблемами. Ее честолюбие ставило себе самые крайние цели. Опьяненная успехом, буржуазия брала свою судьбу в собственные руки». Весь смысл этой тирады целиком заключен уже в первой фразе и не дает ровно ничего.

Об утопических социалистах Рюле пишет: «Но их социализм был вавром грез и пожеланий, продуктом умозрений и построений, порождения мысли и воли, делом гуманности и филантропии, созданием их доброго сердца, их честного образа мысли, их благородного рвения, их незапятнанной совести». Содержание этих фраз равно нулю.

Или вот, например, как описывает Рюле занятия студента Маркса в Берлине: «Он читал, делал выдержки, переводил, изучал языки, блуждал по одиноким тропинкам, прислушивался к отдаленным затерянными ключам, порывался к недоступным горным вершинам». Теперь мы знаем, чем и как занимался Маркс. И такой скучной, пустой болтовней полна вся книга.

«Das Chaos der Confusion» (стр. 116, 117), т.е. попросту—замешательство замешательства, один из лучших перлов в этой коллекции.

То, как Рюле изображает движущие силы духовного развития Маркса, превосходит все, что было до сих пор известно в области обывательских сплетен. Так проникательно, как господин учитель Рюле, еще никто не постиг ученика Маркса.

Ученик Маркс хочет во всем быть первым. Его классные работы должны быть самыми лучшими. Поэтому он старается преодолеть Гегеля, этого «ганга в царстве мысли». «Какой триумф ожидает того, кто выполнит эту задачу!»

Как приходит Маркс к коммунизму?

Известная полемика с «аугсбургской газетой» по поводу коммунизма «поставила его в мучительное положение: он должен был открыто признать, что теории французского социализма и коммунизма ему совершенно не знакомы... В полемике с «Augsburger Allgemeine Zeitung» Маркс провалился. Он, главный редактор большой современной газеты, не имел собственного мнения и ничего не мог сказать о таком важном отделе в арсенале политической мысли, как идеи французского социализма. Само по себе это не так уж страшно,—утешает учитель Рюле сокрушенного ученика Маркса,—ибо, ведь, ни один человек не знает всего. (Как мудро сказано!) Но для Маркса это было жестоким ударом. С этого момента он потерял вкус к своей деятельности, его болезненное честолюбие, прикрывавшее—в соединении с повелительными диктаторскими жестами—гложащее чувство недостаточности, было глубоко уязвлено. Он поспешил ретироваться, почти что бежал, позавыв о своих блестящих публицистических достижениях и думая только о своих неудачах» (стр. 53).

Ученик Маркс не сумел просклонять слово *mensa*, он чудовищно ослепился, он будет теперь стараться стать первым в классе по латинскому языку. Он будет знать коммунизм не только лучше аугсбуржцев, но и лучше всех остальных своих одноклассников—виноват, лучше всех прежних социалистов и коммунистов.

Так это представляется проникательному педагогическому оку Рюле. Из страха, как бы его не перешеголяли другие, Маркс пускается на самые низкие уловки: «Он считал нужным осмеивать каждое чужое мнение, потому

что его приводила в трепет мысль, что это мнение найдет сторонников, а он останется с пустыми руками... (стр. 186). Он не мог терпеть ни одного соперника, потому что его все время терзал страх, как бы вдруг не оказалось, что не он, а его соперник—самый умный из умных, самый способный из способных, самый революционный из всех революционеров».

Такими опасными соперниками были Лассаль и потом Бакунин, и отсюда—смертельная борьба Маркса против них.

Борьба в Международной Ассоциации Рабочих сводится таким образом, в изложении Рюле, к простой склоке.

Политически Рюле стоит теперь на почве социал-демократии. В 1919—1920 гг. он, тогдашний левый коммунист, метал громы и молнии против революционного использования парламента коммунистической партией. Теперь Рюле убедился, что в своем учении о Парижской Коммуне Маркс утверждает, что «...эта борьба (политическая) может вестись в буржуазных национальных государствах только на платформе буржуазной политики, в парламенте, доступ в который должен быть завоеван в боях за избирательное право» (стр. 354).

В «Гражданской войне во Франции» не содержится, как известно, ни намека на это якобы марксово учение о Коммуне, а гворится, наоборот, об «открытой, наконец», государственной форме пролетарской диктатуры.

Откуда же черпает Рюле эту премудрость? Из сферы подсознательного.

В заключительной главе книги, посвященной «оценке», психоаналитическая педагогическая мудрость Рюле преподнесена в виде сжатого резюме (на пустых фразах, при помощи которых Рюле пытается кое-как склеотить связь между историческим материализмом и психоаналитикой, не стоит останавливаться). По адлеровской схеме дело представляется в следующем виде.

Основной фактор в развитии Маркса—чувство неполноценности, возникающее из трех источников:

- 1) Плохое состояние здоровья—конститутивная слабость или органический дефект.
- 2) Еврейское происхождение, ощущаемое Марксом, как социальное пятно.
- 3) Положение старшего ребенка в семье.

Это чувство неполноценности становится движущим импульсом для неомерного развития чувства собственного я.

Важную роль в жизни Маркса играла болезнь печени, которой он страдал. Он втайне боится заболеть раком. Он страдает слабостью пищеварительного аппарата, «расстройством всего кишечника, ...он—человек с нарушенным обменом веществ». «Ясно само собой», что серьезное повреждение столь важной для жизни функции должно было психически переживаться Марксом в форме резко выраженного чувства неуверенности и недостаточности. «Тут без сомнения следует искать глубочайший источник его чувства неполноценности».

Римские утробогататели (гаруспиции) предвещали по внутренностям жертвенных животных будущее. Наш современный утробогататель толкует по состоянию кишечника прошлое. В «глубине» такому подходу никак не откажешь.

Во-вторых: как еврей, Маркс начинает свое поприще в неблагоприятных условиях, «чрезвычайно затрудняющих его шансы на успех в жизни». Он, правда, крещен, но его «принадлежность к еврейской расе не могла быть смыта водой крещения».

И, наконец, в-третьих, Маркс—старший ребенок в семье, единственный сын, надежда семьи.

Студенческая жизнь Маркса в Бонне не оправдывает возлагавшихся на него ожиданий, он приходит в замешательство, поддается чувствам страха и сомнения, не посещает лекций, уклоняется от экзаменов, не может решиться на выбор профессии, — «все типичные формы проявления глубокого уныния».

Совершенно превратную характеристику веселого студенческого года, проведенного Марксом в Бонне, Рюле списывает у ничего не понимающего Спарго.

Из всего сказанного вытекает: «В течение всей своей жизни Маркс остается молодым студентом, который боится недостаточностью своих успехов обмануть возлагавшиеся на него надежды и поэтому ставит себе самые разнообразные цели, берется за самые трудные задачи. Призывающий, прищипывающий голос за его спиной (этот голос за спиной великолепен! — А. Т.) не устает преследовать его. Ты должен доказать, на что ты способен! Должен подняться на вершину! Сделать самую блестящую карьеру! Совершить необычайное! Быть первым!» (стр. 446).

Так ученик Маркс становится первым в классе по коммунизму.

Расстройство пищеварения порождает у Маркса «душевный запор». Он всегда плохо настроен, угрюм, сварлив, ипохондричен, ест мало, нерегулярно и без аппетита.

И таков же он в работе. То он совсем не в состоянии работать, то работает сверх силы, — к регулярному труду он неспособен.

«Как в молодые свои годы Маркс не занимался регулярно никакой хлебной специальностью, так и позднее он был неспособен к регулярной умственной работе, которая давала бы ему пропитание (!!). У него не было ни профессии, ни должности, ни постоянных занятий, ни заработка. Все в его жизни было импровизировано, зависело от настроения и игры случая. Вместо того, чтобы в свои студенческие годы посещать лекции и подготовиться к какой-нибудь профессии, он набивает себе духовный желудок философским и литературным винегретом. У него нет дисциплинированности, любви к порядку, умения согласовать поступления и расходы».

Каков его кишечник, таков и распорядок его духовной жизни. И таково же его домашнее хозяйство.

Месяцами он не пишет ни строчки, а потом вдруг зарывается в колоссальную работу. Работа доставляет ему так же мало радости, как принятие пищи. Он любитель «духовных лакомств». Он «упивается» античными классиками, в то время как его семья сидит без копейки в ожидании его гонора. «Он поглощает изысканные яства драгоценных литературных произведений» или «занимается с упоением сноба высшей математикой».

У него нет ни гроша в кармане, его последняя сорочка заложена, но он носит монокль с видом лорда. Он — одиночка, отшельник, отшельник.

— Люди, у которых всегда не в порядке кишечник, не могут держать в порядке и свое хозяйство. Они «не умеют устроить свой дом, плохо зарабатывают и плохо распоряжаются заработком». Их экономический инстинкт равен нулю или сильно недоразвит. «Они страдают нарушением экономического обмена веществ» (У Маркса мы, очевидно, имеем дело с экономическим поносом).

И поэтому мы видим Маркса в вечной денежной нужде, в уродливо-беспомощном состоянии. Его бюджет нельзя исцелить никакими средствами; это — хроническая форма банкротства. Помощь Энгельса пропадает, как в бездонной бочке.

Все эти причины порождают у Маркса необычайно напряженное чувство неполноценности. Отсюда — необычайный размах его «компенсирующих средств». Маркс находит и доставляет пролетариату средство для преодоления его чувства классовой неполноценности. В этом его исторический подвиг. Тут он гений.

Но теперь классовая борьба требует и «высоко-квалифицированного, общественного человека».

Как в комедии Аристофана, филистер возносится в заключение на Олимп, с торжеством оставляя где-то там внизу промотавшегося гения—Маркса.

Но довольно мы уже копались в этом жалком филистерском навозе!.. Подробно опровергать этот вздор, значило бы попусту тратить время. Все это от начала до конца выдумка филистера. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто вспомнить факты. Рюле сам вынужден признать фантастичность, голословность своих построений. Ибо как понять иначе его слова, что «пробелы наблюдения часто приходится заполнять при помощи построения. Схема помогает восполнить недостаток материала и заменяет собою эмпирию (попросту говоря—факты—А. Т.). Во всяком случае, мы достигли уже гораздо более глубокого понимания, чем то было бы возможно на путях старой психологии» (стр. 442). Рабочий, который еще нуждается в каких-нибудь указаниях, найдет все нужное в книге Меринга о Марксе, а если он ищет общего понимания природы творческого гения, каким был Маркс,—его способа работы, его сущности, его мученичества в буржуазном обществе,—то он может еще прочесть, например, «Легенду о Лессинге» того же Меринга.

Отбросив адлеровскую схему, мы видим, что основной чертой натуры Маркса было не притянутое за волосы чувство неполноценности, а, наоборот,—ярко выраженное чувство собственной силы, присущее творческому гению, который в своей жизни, в своих научных занятиях, в своей работе идет и должен идти другими путями, чем благонамеренная посредственность. О веселой итти его духа свидетельствуют яснее всего его ранние писания. Маркс был общительным, жизнерадостным человеком, в роде Лессинга. Его натура была во многом родственна натуре Лейбница. Он сам прокладывает себе свой путь; за что бы он ни брался, он за все берется, как творческий ум. Подобно Лессингу и Лейбницу, он не мог довольствоваться академическим кормом.

Еще несколько слов об отношении Маркса к гуманитарному образованию и к математике. Греческую и римскую древность, произведения классической литературы Маркс усердно изучал в течение всей своей жизни. В этом не было решительно ничего общего с мертвой гуманитарной традицией. Каждому исторически мыслящему уму античный мир дает громадное расширение исторического кругозора. Для исследователя, который впервые ввел буржуазное общество и капиталистический строй в исторический поток явлений, античность должна была быть незаменимым средством при установлении правильной исторической перспективы для оценки современного буржуазного мира. Отсюда и дальнейший живой интерес Маркса к первоначальной истории и этнологическим изысканиям. Для преемников Маркса, для исследователя в области исторического материализма должно быть поэтому лозунгом—использовать не только материал, накопленный классической филологией, но и те необъятные материалы, которые добыты исследованием египетской, вавилонской и т. д. древности. Нужно стремиться не к меньшему, а к большему.

Интерес Маркса к математике был, разумеется, не спортивным, как воображает наивный Рюле, а находился в непосредственной связи с его научной работой. С одной стороны, он был связан с его экономическими исследованиями, которых Маркс не мог бы выполнить без математических знаний. Но прежде всего Маркс изучал математику, как материалистический диалектик. Отсюда его интерес к основам дифференциального исчисления. Марксу было важно вскрыть законы диалектики в этой специфически диалектической части математики. Этот интерес тем более актуален, что математика на

первый взгляд как будто всецело находится во власти формальной логики и противится всякой диалектике. Все работы Маркса в области математики вращаются вокруг этого решающего пункта.

Как это обыкновенно бывает с громко морализирующим филистером, сам Рюле прегрешает против элементарнейшего литературного приличия. В главе о «Капитале» он просто списывает соответствующие рассуждения Рози Люксембург о втором и третьем томах «Капитала», включенные в книгу Меринга о Марксе, ни словом не упоминая об источнике своей мудрости и явно стараясь замести следы при помощи характерных для него «улучшений».

Приведу несколько примеров.

Роза Люксембург: «Перед нами горы всевозможных товаров, только что выпущенных с фабрики и еще увлажненных потом рабочих. Рюле: товары, «еще горячие и влажные от пропитанного потом усердия рабочих».

«Пропитанное потом усердие» — выражение, украденное у Розы и заодно «приукрашенное» — напоминает нам сэра Джона Фальстафа.

Дальше. Роза: «В области товарообмена, где протекает вторая глава из жизни капиталиста, перед ним возникает ряд затруднений. У себя на фабрике он был господином, там царил строжайшая организация, дисциплина и планомерность. На товарном рынке царит, наоборот, полнейшая анархия, так называемая свободная конкуренция». Рюле: «На рынке капиталист отдан в фетишистскую власть товара в совсем другом смысле, чем на фабрике (слово «фетишистская» поставлено здесь только ради «украшения» — А. Т.). Если в области производства царит дисциплина стройного порядка, то рынок являет собой законченный образ хаотической анархии («хаотическая анархия» великолепно!»).

Там, где Рюле пытается сделать самостоятельно хоть малейший шаг, он неминуемо впадает в капиталистическую апблогетику и вульгарную экзонию.

Капиталист, — читаем мы у Рюле, — «должен схватывать чутьем потребности рынка, правильно определять покупательную способность потребителя, учитывать размеры товарного спроса!» Благоговейно изумляющийся филистер!

Книга Рюле прямо создана для того, чтобы стать основным руководством всех филистеров по Марксу и марксизму.

А. Тальгейер.

Проф. А. Вебер. Депозитные и спекулятивные банки. Пер. с немецкого Б. Я. Жуховецкого. Под редакцией и с предисловием А. Е. Акселя рода. Гиз. 1928 г. Стр. 306.

— Книга профессора Мюнхенского университета «*Depositen- und Spekulationsbanken*», вышедшая в первом издании еще в 1902 году, принадлежит к разряду капитальных трудов по конкретной экономике.

Работа Вебера посвящена сравнительному анализу немецкой и английской банковских систем, следовательно, финансовой организации современного капитализма в ее передовых и характерных типах. Книга состоит из пяти, неравных по своему значению и объему, отделов. Сравнительно слабо разработан первый отдел, посвященный «эмиссионным банкам в Англии и Германии», и последний отдел, в котором автор делает обобщения и практические выводы. Центр тяжести всей работы во 2-м и 3-м и отчасти в 4-м отделе. Во 2-м отделе Вебер подробно рассматривает организацию английских и немецких депозитных и спекулятивных банков, анализируя отдельно их историю (1 глава), концентрационное движение (2 глава), тенденцию внутренней и внешней экспансии крупных банков (3 глава) и, наконец, изменение

роли частных банкиров под влиянием концентрации и экспансии банков (4 глава).

В третьем отделе тщательно изучаются различные формы деятельности депозитных и спекулятивных банков, при чем весь материал разбит на 2 подотдела: один—посвященный так наз. «регулярным» и второй—«иррегулярным» (эмиссионным и грондерским) банковским операциям. В первом подотделе дана также заслуживающая внимания попытка чисто-теоретического анализа сущности и форм кредита в современном капитализме. Наконец, в четвертом отделе мы находим оценку рентабельности и ликвидности английских и немецких банков.

Не имея возможности рассматривать все вопросы, затрагиваемые в книге Вебера, и в частности многочисленные и подчас спорные аналогии и противопоставления отдельных сторон деятельности немецкой и английской банковских систем, мы ограничимся анализом основных проблем кредитной организации в системе финансового капитализма. Такими вопросами мы считаем: 1) концентрационное движение и экспансию банков, поскольку таковые связаны с общими тенденциями финансового капитала; 2) сущность и формы банковского кредита в системе современного капитализма; 3) эмиссионную деятельность банков, как организационную форму финансового капитала.

1) Вебер различает, с одной стороны, концентрацию банковского капитала, под которой он понимает процесс «амальгамирования» (вынужденный или добровольный) отдельных банков и вытеснения этими банковскими объединениями мелких самостоятельных банков и банкиров; с другой стороны, экспансию концентрированного банковского капитала внутри страны и за границей. Автор, на основе богатого материала, показывает, что как до, так и после войны оба процесса, тесно связанные друг с другом, развивались быстрым темпом, что и привело в конце концов к гегемонии нескольких банков над всей кредитной системой как в Англии, так и в Германии (в послесловии к русскому изданию Вебер указывает, что знаменитые «Big five», т.-е. «пять больших», в Англии располагали в 1925 г. 85% всех депозитов). Спрашивается, в какой связи концентрационное движение банковского капитала находится с таким же движением в области промышленности?

С точки зрения Вебера сначала возникают «исполнинские хозяйственные предприятия, большие городские центры, наконец, современный торговый оборот, охватывающий весь мир», а затем уже развиваются «кредитные организации, имеющие под собой твердую почву и стягивающие капиталы из всех уголков страны в немногие главные центры, в которых эти гигантские суммы и должны находить свое применение» (стр. 57).

Однако трудно себе представить, каким образом могли возникнуть и развиваться «исполнинские хозяйственные организации» без того, чтобы эти последние не обладали соответствующей организацией, которая и осуществляла бы «стягивание капитала из всех уголков страны в немногие главные центры». Совершенно ясно, что современные промышленные гиганты возникли именно при наличии кредита, как всеобщей формы мобилизации общественного накопления в немногих руках.

Поэтому на «спорный вопрос о том, является ли банковская концентрация следствием или же причиной промышленной концентрации» с нашей точки зрения может быть только один ответ: и то, и другое суть лишь отдельные стороны единого процесса, подчиненного общей закону капиталистического развития. Этот закон был сформулирован Марксом, и вся дальнейшая эволюция капиталистической экономики дает полное его подтверждение. Веберу, как и другим его коллегам по специальности, недостает генерализирующей концепции всей капиталистической системы, как процесса общественного воспроизводства. С точки же зрения

этого последнего, денежный капитал и банки, которые организуют его движение, являются ничем иным, как формой промышленного капитала, и поэтому совершенно недопустимо вообще отрывать «производство» от «банков» и противопоставлять концентрационный процесс в производстве концентрационному процессу в области банковского дела.

Между тем Вебер все время рисует концентрационный процесс и экспансию в банковском деле, как замкнутый в себе процесс, не смотря на то, что в одном месте он прямо заявляет, что «основная причина концентрации банковского дела лежит в общем развитии народного хозяйства». Если бы автор действительно связал развитие банков с «общим развитием народного хозяйства», то он ни в коем случае не мог бы прийти к тому выводу, что «концентрационное движение и картелирование в промышленности, в особенности в так наз. тяжелой индустрии, несомненно создали промышленность независимой от банков» (стр. 58). Это слова ответа «Dresdner Bank'a» за 1908 год, к которым Вебер не считал нужным ничего добавить также и в третьем немецком издании своей книги, вышедшем в 1922 году. Однако как это ни странно, но для подтверждения этого весьма серьезного вывода Вебер не приводит никаких доказательств, кроме ссылки на заявление Кирдорфа в «Verein für Socialpolitik» в 1905 году (!), и поверхностные рассуждения Шумахера, в которых затруднения в связи с проведением принципа разделения труда в банковском деле служат аргументом... против концентрации банков!

Если и правильно положение, что отдельные капиталистические объединения эмансипировались от влияния отдельных банковских групп, то это ни в коем случае ничего не говорит против характеристики современного капитализма, как эпохи финансового капитала. Поскольку и банки, и промышленность организованы в единой форме акционерных обществ, постольку и те и другие одинаково находятся во власти финансового капитала. Поэтому, с нашей точки зрения, можно говорить лишь об ослаблении одних и усилении других финансовых группировок, но отнюдь не об эмансипации промышленного капитала от банковского (т.-е. денежного) капитала вообще.

Концентрация и экспансия банков являются необходимой формой промышленной концентрации и централизации. Вебер сам отмечает, что «представители банковских интересов иногда считают главным преимуществом филиалов и депозитных касс... возможность при их посредстве с большой легкостью размещать среди публики ценные бумаги, в особенности вновь выпускаемые» (стр. 85). К этому весьма характерному и совершенно бесспорному взгляду самих финансистов, которые командуют и банками и промышленностью, Вебер вносит ничего не значащую оговорку о том, что «клиенты банка могут посылать свои заказы по почте и телеграфу! Но разве суть дела в этом чисто-техническом моменте? Важно то, что экспансия концентрированного банковского капитала имеет главным своим движущим мотивом внедрение промышленных акций и облигаций в гущи населения, т.-е. вовлечение всей массы общественного накопления в единое русло финансового капитала и использование кредитной формы капиталонакопления в интересах крупного капитала.

И именно то, что особенно характерно и необходимо для капитализма на данной стадии его эволюции, Вебер считает отрицательным моментом банковской организации! Вслед за своей оговоркой по поводу распространенного мнения «представителей банковских интересов», Вебер говорит: «Но верно то, что в век депозитных касс клиент, который, пожалуй, даже совсем не желает приобрести ценные бумаги, может быть обработан так, что окажется втянутым в биржевые операции. Ты

самым мы коснулись другой отрицательной стороны системы филиалов...» (стр. 85).

«Обработку» мелких клиентов Вебер считает отрицательным следствием филиальной системы банков именно потому, что при этой системе все средства текут мимо мелких и средних капиталистов прямо в руки крупных и крупнейших финансовых капиталистов; «если уже концентрация в банковом деле, — говорит он, — приводит к тому, что средние предприятия лишь с большим трудом получают кредит, в котором именно они нуждаются особенно сильно, то экспансия банков, путем учреждения депозитных касс, еще более усиливает этот момент» и конечно... «эта отрицательная сторона развития филиалов крупных банков становится особенно опасной...» (стр. 86).

Итак, совершенно ясно, что «особенную опасность» Вебер видит именно в том, что является ничем иным, как объективным и имманентным законом капиталистического развития. Он с горечью отмечает, что банковская система все менее уделяет внимания «средним предприятиям» и этим, следовательно, все более парализует их конкурентоспособность в неравной (даже и без банков) борьбе с крупным капиталом. Это нам вполне объясняет также и то, почему у Вебера нет ясности и в оценке связи между промышленной и банковской концентрацией; Вебер не понимает социального смысла всех тех методов организации и политики, которые он наблюдает в современной банковской системе. «Поричать» концентрацию и экспансию банков, поскольку и то и другое служит крупному финансовому капиталу, и является необходимой формой упрочения и расширения его господства, — это значит не понять всего хода исторического развития и пытаться задержать капиталистическую эволюцию. Тот материал, которым оперирует Вебер, достаточно красноречиво говорит против его собственных взглядов, за которыми скрывается идеология мелких капиталистов.

То, что особенно поражает Вебера и кажется ему неразрешимым противоречием, с нашей точки зрения является вполне объяснимым. Мы говорим о том на первый взгляд нелепом явлении, что банки расширяют свою филиальную сеть, несмотря на то, «что банки с большим количеством филиалов работают значительно дороже, нежели банки с небольшим числом отделений или совсем без отделений» (стр. 87). Так, напр., процент текущих расходов к валовой прибыли у Darmstädter Bank равен 47,9%, у Deutsche Bank 42,6% и у других банков с разветвленной сетью от 30—40%; в то же время у Berliner Handelsgesellschaft, который не имел до 1911 г. филиалов, это отношение выражается в 19,5%. То же и в Англии: Barclays Bank с густой сетью филиалов показывает с 1908 по 1911 г. 53% расходов к валовой прибыли, а «Manchester and Liverpool Banking Co» только 38% и т. д.

Что же на самом деле заставляет банки развивать свою филиальную сеть, так как более мелкие филиалы если не убыточные, то во всяком случае менее рентабельны? Конечно, только интересы крупного финансового капитала, который не может ограничиться влиянием на центральную фондовую биржу, но для укрепления своих позиций и расширения своей мощи должен пустить сеть своих щупальцев во все уголки страны.

Банки вынуждены делать то, что, быть может, невыгодно для них самих, но необходимо для финансового капитала и патронируемой им промышленности. И эту необходимость они осуществляют только потому, что они целиком на службе у финансового капитала.

Этот процесс прекрасно охарактеризован Лениным в следующих словах: «По мере развития банкового дела и концентрации его в немногих учреждениях, банки превращаются из скромной роли посредников во властных монополистов, распоряжающихся почти всем денежным капиталом всей совокупности капиталистов и мелких хозяев, а также—большую часть средств производства и источников сырья в данной стране и в целом ряде стран. Это превращение многочисленных скромных посредников в горстку монополистов составляет одна из основных процессов превращения капитализма в капиталистический империализм» («Империализм как новейший этап капитализма», 1922 г., стр. 16—17).

Особо следует отметить внешнюю экспансию банков, которая, по Веберу, осуществляется в трех формах: 1) коммандитных товариществах, 2) филиалах, 3) «дочерних обществах» (стр. 88). Конечно, Вебер не дает себе труда понять социальный смысл и этого вида экспансии банков: он рассматривает эти формы только с точки зрения чисто-коммерческой целесообразности выбора той или другой формы, но он ничего не говорит о том, что эта экспансия банков за границей есть не что иное, как одна из форм империализма.

Впрочем, признавая «целесообразной» заграничную экспансию немцы банков, Вебер тем самым, умалчивая об империализме, фактически поддерживает германский империализм.

Чтобы покончить с первым вопросом, отметим, что, констатируя процесс вытеснения частных банкиров крупными банками как в Англии, так и в Германии, Вебер утешается тем, что все же «в отношении некоторых банковских функций деятельность частных банкиров никогда не может быть заменена работой служащих крупного банка» (стр. 101). Вебер также надеется, что «в некоторых случаях частные банкиры сумеют доказать свое право на существование еще тем, что они будут предоставлять кредит предпринимателям средней руки, которые, с одной стороны, лишены поддержки сберегательных и кооперативных касс, а с другой стороны — поддержки крупных банков» (стр. 102; разрядка наша.—З. А.). Против «некоторых случаев» возражать, конечно, не приходится, ибо отдельные «случаи» не нарушают общего правила: вся кредитная система капитализма имеет тенденцию все дальше, тем полнее обслуживать интересы крупного капитала и вытеснять мелкие банковские предприятия, и тем самым лишать последней опоры средних и мелких капиталистов. Качественно кредитная система уже вполне приспособлена к организационной структуре финансового капитала: остается лишь более полно и широко связать производными отношениями всю кредитную систему с крупно-концентрированным капиталом, и в этом заключается истинное значение концентрационных процессов в банковом деле.

2) Вебер, главным образом, «практик», большой знаток своего дела и не имеет больших склонностей к так наз. «чистой теории». Поэтому на его абстрактно-теоретических рассуждениях мы позволим себе остановиться в нескольких словах.

Прежде всего отметим, что Вебер считает «шаблонным и не соответствующим фактическому положению вещей» обычное деление банковских операций на «регулярные» и «иррегулярные». Он с полным основанием указывает, что нередко «иррегулярная операция», как, например, покупка первоклассных фондов, может быть по своей солидности более

«регулярной» операций, чем, например, предоставление кредита сомнительному должнику в порядке «регулярной операции». Однако, несмотря на это, Вебер все же принимает это деление, хотя и «*cum grano salis*» и даже кладет его в основу своей классификации.

Что касается «иррегулярных операций», то здесь для Вебера дело ясно — речь идет о привлечении денежных капиталов для промышленных объединений. Более сложно обстоит дело с «регулярными операциями». Анализ этих последних Вебер дает и по пассиву, и по активу. Первые Вебер классифицирует на 3 группы: 1) депозиты-сбережения, 2) «временные вложения (*Zwischeneinlagen*)» и 3) кассовые депозиты (в числе последних: а) кассовые резервы коммерсантов и б) «депозиты домашних хозяйств» (стр. 110).

Это деление в ряду прочих классификаций в общем приемлемо, но здесь упущена четвертая, и к тому же исключительно важная группа, а именно, депозиты, создаваемые самими банками. Вебер, правда, указывает, что при наличии того обстоятельства, когда «в Лондоне в настоящее время всего 1—1¼ % оборота покрывается банковыми, в то время, как чековый оборот составляет 98 %» (стр. 113), вполне возможно, что циркуляция чеков может возникать из предварительного предоставления кредита. Однако он категорически отмечает, что «чеки, как и вообще платежные расчеты с помощью банковских перечислений, способствуют созданию чисто формальной, лишенной покупательской силы, т. е. действуют инфляционистски» (стр. 110).

Ясно, что здесь большое недоразумение. Дело в том, что «создание депозитов» это не только возможность, но действительность для капитализма. Между тем, Вебер огульно осуждает то, что необходимо и является реальным, повседневно-наблюдаемым фактом. Между тем инфляция сравнительно более редкое явление, и отсюда ясно, что вовсе не всегда и не всякое «создание депозитов» должно приводить к инфляции. Вебер здесь прочно держится за старую кредитную догму, которая противоречит действительности и в связи с этим его критические возражения против Гана бесцветны и неубедительны.

Далее недостатком его анализа пассивов мы считаем также и то, что различные категории последних не приведены в органическую связь с активными банковскими операциями, и поэтому вся классификация висит в воздухе и не вносит ничего нового.

Что касается «кредитного посредничества» банков, то здесь Вебер построил свою, довольно громоздкую схему, которую, однако, очень скупо снабдил теоретическими комментариями. Здесь мы прежде всего узнаем о том, что к числу «кредитно-посреднических операций» принадлежат как чисто-валютные операции, так и ссудные. Это мотивируется тем, что «как при разменной, так и при учетной операции мы имеем дело с установлением связи между рынками» (стр. 118). Однако это все же не дает никакого основания для смешения воедино таких принципиально совершенно разнородных операций, как торговля за свой счет определенным товаром — валютой и чисто кредитными операциями, когда банк, по выражению Маркса, «торгует кредитом».

Более удачно Вебер проводит разграничение между основными формами активных операций. Последние он сводит к трем видам: 1) «превращение капитала, носящего форму требований, в денежный капитал» (стр. 132). Сюда относится, конечно, прежде всего учет векселей. Вебер совершенно правильно здесь говорит именно о смене формы капитала, но не о предоставлении капитала в ссуду, что вполне соответствует и марксовым взглядам (Маркс отмечал большое раз-

личие «между займом и учетом» и с этой точки зрения критиковал некоторых теоретиков своего времени).

2) «Предоставление капиталов в форме требований» — здесь дан и вполне удачный перевод, отчего совершенно исказился смысл. Вебер называет этот вид кредита *Bewilligung von Vorderungskapital* (*Depositen- und Spekulationsbanken*), München 1922, S. 185), что отнюдь нельзя перевести как «предоставление капиталов». Это не что иное, как акцептный кредит, при котором как раз и не создается ни какого нового капитала, но лишь облегчается возможность циркулирования наличных «требований на капитал», т.е. обязательств. 3) Именно в отличие от этой формы Вебер говорит о *Leihweise Ueberlassung von geldkapital* (ibid., S. 195), т.е. о «предоставлении в ссуду капитала в денежной форме» (в переводе выпало слово «в ссуду»). Здесь речь идет о действительной ссуде капитала в отличие от чисто денежной ссуды в первом случае и выдаче простых гарантий (акцептный кредит) во втором случае.

Однако Вебер к этому третьему виду кредита причисляет также ломбардный кредит и подтоварный, хотя это никак не вяжется со всей его классификацией, ибо при этих видах кредита точно так же, как и при учете векселей, мы имеем дело также с превращением форм капитала, а не с ссудой капитала (ср. анализ этого вопроса у Энгельса в примечаниях к разграничению ссуды денег и ссуды капитала Марксом в III томе, 1 части); что же касается его схемы «кредитного рынка», то вряд ли можно ее признать содействующей выяснению кредитных процессов и упрощающей их познание. В своей теоретической части Вебер в общем не дал анализа сущности банковского кредита в его «органической» связи с экономическим процессом в целом и лишь как эмпирик правильно уловил различие между основными формами активных операций.

3) Вебер, как и следовало ожидать от немецкого ученого, выступает горячим защитником кредитной организации своей страны, отличительной чертой которой является так наз. «соединение труда», т.е. объединение «регулярных» и «нерегулярных операций», в едином «деловитном и спекулятивном банке». Конечно, эта система имеет большие преимущества в сравнении с английской системой «разделения труда»; однако мы не можем здесь касаться особенностей обеих систем. Но нельзя, конечно, не признать, что Вебер в общем, несмотря на свой патристизм, дает довольно объективный анализ организационных форм кредитной системы в Англии и Германии.

Правда, некоторые «открытия» Вебера после глубокого анализа сущности кредита и акционерной формы в «Капитале» кажутся довольно наивными. Так, напр., Вебер выдвигает в качестве своего собственного доказательства «экономической целесообразности этой (т.е. акционерных обществ. — З. А) организационной формы» то, что «акционирование дает возможность отделить функцию предпринимателя от функции капиталиста» и «облегчает деление и мобилизацию имущества» (стр. 183).

Вебер, конечно, не может не признать «целесообразности» (?) акционерных обществ и с ужасом приводит следующие слова Иеринга из «*Zweck im Recht*»: «Вред, причиненный частной собственностью, акционированием, превосходит весь тот урон, который могли бы причинить пожар, изводение, недород, землетрясение, война и вражеское нашествие, если бы все эти бедствия составляли заговор с целью разрушить благосостояние нации» (стр. 183). Вебер — ученый XX века, и поэтому он не верит во все эти кошмары, нарисованные Иерингом. Он говорит по этому поводу: «Теперь, когда воспоминания о былых тяжелых годах грондерства побле-

кли, трудно верить, что этот уничтожающий взгляд был высказан действительно всерьез» (стр. 184).

Ну, конечно, теперь бессмысленно «уничтожать» красивыми фразами акционерные общества, т.е. финансовый капитал. Вот почему Вебер говорит о «целесообразности» акционерных обществ и хочет лишь как-нибудь ослабить присущие им методы эксплуатации и экспроприации мелких капиталистов и так наз. «средних классов» вообще: поэтому он порицает не акционерные общества как таковые, но лишь их практику, как, напр., махинации с учредительством и т. п., не понимая, что все это неотделимо от системы финансового капитала в целом. В своей наивности Вебер доходит до того, что считает причинами кризисов перепроизводства тот «профессиональный ажиотаж» (Шеффле), который время от времени практикуется банками. Он, видимо, считает, что если отдернуть некоторых слишком увлекающихся спекулянтов, то не будет происходить и «увеличение продукции, далеко превышающее объем потребительского спроса населения» и приводящее к «кризисам перепроизводства со всеми сопровождающими их печальными явлениями» (стр. 184)!

В результате отметим, пожалуй, несколько преувеличенную оценку работы Вебера, данную А. Е. Аксельродом в предисловии к русскому изданию книги: вряд ли нашим практическим работникам может много дать книга Вебера с точки зрения возможности «заимствования» многих методов и приемов работы кредитных учреждений «капиталистической формации» для их практического приложения в наших условиях. Ведь Вебер исследует организационные формы приспособления кредитного аппарата к капиталистической системе и, конечно, в наших условиях для решения «организационного вопроса» очень опасно пользоваться аналогиями с капиталистической системой. Зато для теоретиков или для тех же практиков, интересующихся изучением современной капиталистической системы, книга Вебера даст богатейший и полезнейший материал для работы.

Перевод Жуховецкого, несмотря на отдельные погрешности, в целом вполне точен и литературен.

3. Атлас.

Роза Люксембург. Избранные сочинения. Том I, «Против реформизма», часть I. под редакцией и с введением Пауля Фрелиха. «Московский Рабочий». Стр. 256.

Русский читатель знает Розу Люксембург больше, как экономиста, или в связи с той критикой, которую вел с ней Ленин по национальному вопросу. Значительно хуже изучена Р. Л. как вождь левого крыла западной с.-д., как первый предвестник большевизма на Западе. Этой стороне ее деятельности посвящены 3 тома из собрания сочинений, выходящего на немецком языке под редакцией П. Фрелиха. Два из них (III и IV) увидели уже свет. Рецензируемый том представляет первую часть III тома немецкого издания. Для русского издания это означает I том «избранных сочинений». Мы тут же спешим сказать: «избранные сочинения» должны обязательно превратиться в «собрание сочинений». Если мы предприняли собрание сочинений К. Каутского, то не меньше имеется оснований требовать хотя бы такого же внимания и к Р. Л., которая, кроме своих великих политических заслуг, является самым крупным теоретиком марксизма на Западе.

Вышедшая книга обнимает главную работу Розы Л. против Бернштейна «Реформа и революция», выступления ее на партийтагах в Штутгарте, Ганновере и Майнце, статьи против ревизионистов, написанные в 1893—1903 гг. и 6 статей против Зомбарта и катедер-социалистов, написанных в разное время с 1899 по 1914 год. Все эти работы, кроме «Реформы и революции», появляются на русском языке впервые. Книга снабжена большим введением (41 стр.) и примечаниями П. Фрелиха и кратким предисловием русских редакторов Г. Малецкого и Ш. Дволайцкого. Вся редакционная работа выполнена весьма добросовестно и со знанием дела. Обращает также внимание очень литературно сделанный перевод, удачно воспроизводящий трудный и богатый язык Р. Л.

Здесь не место распространяться на тему о роли Р. Л. как борца с реформизмом и об ошибках самой Розы в этой борьбе. Достаточно отметить, что автор эрот по глубине критики, по боевому темпераменту, по богатству, яркости, энергии слога не имеет себе равных на Западе. «Снова социал-демократия услышала речь, какой ей не приходилось слышать со времени знаменитых боевых статей Маркса и Энгельса». В этом суждении Фрелих (стр. 11) нет никакого преувеличения. Статьи и речи Розы Люксембург, произнесенные четверть века тому назад, способны и сейчас встряхнуть и разбудить к революционной жизни наиболее отсталого рабочего социал-демократа. Но для нас они важны сегодня не только своей громадной вербальной силой, не только непревзойденной «чистотой звука и моральным превосходством».

Тщательное изучение всех работ Р. Л. — необходимая предпосылка для восстановления подлинной истории германской с.-д., истории борьбы течений и формирования левого крыла, зачатки которого наметились уже в дискуссии 1898—1899 гг. Роза Л. требует резкого организационного и тактического отмежевания от бернштейнианцев. «Я не придаю особенного практического значения общим теоретическим дебатам об оппортунизме. Для нас важна борьба с ее конкретными проявлениями...» (197). «Преодолеть нынешнее оппортунистическое течение—значит его отбросить» (110). Она также более ясно и правильно, чем Каутский, высказывается по целому ряду теоретических и практических вопросов. Она более решительна в оценке ревизионизма в целом. «Теория Бернштейна была первой, но вместе с тем и последней попыткой подвести под оппортунизм теоретическое обоснование» (107). «Ни намек на свежую мысль! Ни одной мысли, которая не была бы опровергнута марксизмом, растоптана, высмеяна, обращена в ничто! Достаточно было оппортунизму заговорить, чтобы обнаружилось, что сказать ему нечего. И в этом и заключается истинное значение книги Бернштейна для истории партии» (109).

Она понимает связь между отдельными попытками ревизионистов провать фронт марксизма. «Государственный социализм Фольмара, баварское голосование бюджета, южно-германский аграрный социализм, политика компенсации Гейне, точка зрения Шиппеля в вопросах о пошлых и милиции,—вот вехи в развитии практики оппортунизма» (106). Она разбирает буржуазный и мелкобуржуазный характер всего движения.

Эта резкая расправа с реформизмом — необходимая предпосылка для дальнейшего развития левого крыла с.-д. и для будущей борьбы с центризмом.

Критика катедер-социалистов с Зомбартом во главе есть прямое продолжение борьбы с Бернштейном, так же, как и обратно. «Давно уже спящие и истлевшие от долгого и бесплодного бормотания, сами себя похоронившие и забытые катедер-социалисты внезапно ожили в теориях Бернштейна и его приверженцев, ожили «суб'ективисты», ожил неуловимый, подобный киро-

ному мотыльку, штаммлеровский «социальный идеал» («Конечная цель для меня ничто, движение — погоня за идеалом — все») (216 — 217).

Статьи Розы против буржуазных налетчиков на марксизм искрятся непревзойденным сарказмом, колючей иронией насмешки. Особенно достается Зомбарту, этому галантному «другу рабочих», этому салонному социалисту, преподносящему немецкому пролетариату под покровом «марксизма» и вкрадчивых, медоточивых речей самые обычные истины буржуазной науки и буржуазной политики вплоть до империализма.

Но все эти маленькие полемические шедевры мало поддаются передаче. Их надо самому прочесть. Задача нашей критики воспользоваться выходом в свет этого первого тома сочинений (будем надеяться, «собрания сочинений») Розы Люксембург, чтобы повести кампанию среди широких партийных масс за ее изучение, помня слова Ленина, что «ее биография и полное собрание сочинений будут полезнейшим уроком для воспитания многих поколений коммунистов всего мира».

И. Альтер.

Эдуард Бернштейн. Детство и юность. 1850—1872. Перевод А. М. Гинзбурга, с предисловием А. Тальгеймера. «Московский Рабочий».

Бернштейн, несомненно, является в данный момент одной из наиболее крупных личностей в немецкой социал-демократии, отнюдь не в том смысле, что он проявил или проявляет какую-нибудь особенную глубину или остроту мысли, и также не потому, что он на путях практической политики сумел обнаружить какие-нибудь особенные таланты, скажем, в деле спасения буржуазного строя, как это сделали Шейдеман или Эберт. Нет, не этим выделяется Бернштейн. Его сила заключается в том, что он наиболее чутко уловил, отразил и оформил одну из тенденций немецкого рабочего движения. При всем внешне-цветущем состоянии, в котором, казалось, находилась германская социал-демократия, она, тем не менее, несла в себе элементы своего собственного разложения. Параллельно ее гигантскому росту в ней происходил медленно, но неуклонно процесс просачивания и накопления элементов оппортунизма, носителями которого являлась подавляющая часть партийного и профсоюзного аппарата в центре и на периферии («вожди») и питательной средой для которого были, во-первых, отсталые полупремесленные слои пролетариата и, во-вторых, так называемая, рабочая аристократия. Бернштейн придал этому оппортунизму теоретически законченную форму и известную внутреннюю последовательность. Историческая функция Бернштейна заключалась в том, что он явился проводником мелко-буржуазного влияния в рабочий класс. Пользуясь, временно сложившейся, благоприятной для развития оппортунизма исторической конъюнктурой, спекуляция (сознательно или бессознательно—это объективно в высокой степени безразлично) на худших сторонах рабочего движения, использованная временные узкие групповые интересы пролетариата против его широко-классовых интересов, Бернштейн обволакивал сознание пролетариата неправильными теоретически и вреднейшими практически антиреволюционными идеями.

Внешне Бернштейн как будто терпел поражения и на партийтагах, и на международных конгрессах, но фактически он побеждал, ибо в конечном счете он только теоретически осознал ту оппортунистическую практику, которая вызревала в партии и находила поддержку в определенных слоях рабочего класса. В конечном счете Бернштейн только идейно формулировал реальные процессы, протекавшие в объективной действительности. Таким образом, мнимые поражения бернштейнства маскировали его победоносное шествие в практике социал-демократии. Только война и революция

вскрыли, насколько далеко зашли эти гнилостные процессы. Только после того, как в орбиту политической жизни были втянуты в качестве активно действующих факторов новые обширные слои пролетариата и только после того, как в результате этого образовалась коммунистическая партия, только тогда выяснилось, что действительным победителем из многолетней борьбы вышел Бернштейн, а не Каутский. Бернштейн победил не только потому, что германская социал-демократия пошла по тому пути, который был намечен, но и потому, что ему удалось идейно разложить своего противника и заставить его фактически капитулировать перед собой. Именно поэтому Бернштейн является сейчас наиболее значительной фигурой в социал-демократии.

И вот этот-то человек, ставший теперь идейным гегемоном социал-демократии, выступил со своими воспоминаниями, которые пока охватывают наиболее ранние периоды его жизни.

Благодаря этому обстоятельству эта часть его мемуаров имеет больше психологически-бытовое, чем политическое значение. Однако уже здесь можно найти много типического для характеристики будущего идейного вдохновителя немецкого оппортунизма.

Говорят, что записки Бернштейна отличаются большой искренностью. И действительно, Бернштейн с какой-то, я бы сказал, простодушной откровенностью рассказывает о себе, иногда он с грубоватой шутливостью вспоминает самого себя («золотушный сморчок»!). Он старается раскрыть возможно полнее свой внутренний мир, не утаив ничего, и сама по себе эта черта, может быть, делает Бернштейна лично привлекательным, но фигура, которая вырастает перед нами в результате такой откровенности, представляет собою довольно-таки убогое зрелище. Искреннее стремление автора возможно точнее отобразить себя в зеркале своих воспоминаний приводит его в прямое противоречие с тем, что он хотел бы изобразить в своем лице.

Политическая ценность воспоминаний Бернштейна, помимо его психологически-бытового значения, заключается в том, что они дают нам возможность выяснить социальный и идеологический генезис будущего творца ревизионизма. Основное впечатление, которое вы выносите при чтении мемуаров Бернштейна—это, что они писаны не революционером, и это тем более поражает, что вы имеете дело как никак с соратником Энгельса, Бебеля и Либкнехта, человеком, который пережил эпоху закона против социал-истов и сам был выслан тогда из Германии. Но, несмотря на все это, вы постепенно приходите к тому выводу, что как субъект, так и объект этой книги в одинаковой степени чужды какому бы то ни было революционному духу. Наоборот, со страниц книги на вас веет каким-то рафинированным безнадежным мещанством. Уже та среда, в которой рос и воспитывался Бернштейн, была злостно-мещанской, хотя отец Бернштейна был по своему социальному положению пролетарием (паровозным машинистом). Впрочем, при тогдашнем уровне развития рабочего движения нельзя было ожидать чего-нибудь иного, но трудно примириться с тем, что сам-то Бернштейн не сознает глубоко мещанского характера той среды, в которой он вырос, по крайней мере в его книге это не нашло отражения¹⁾. Можно считать

¹⁾ Если хотите убедиться в этом, вспомните об отношении Бернштейна к «благоедаяниям» его хозяина Гутентага, который присылал ему бутербродов и угощал его обедом в тех случаях, когда он оставался на сверхурочной работе, которая, кстати сказать, особо не оплачивалась. Бернштейн с удивлением вспоминает о нравственном влиянии, которое имело на него обращение его хозяина с ним (стр. 132). В то же время он старался себе подыскать и приятелей с «социальным характером». На стр. 166 он указывает, что порвал приятельские отношения с плантационным, но беспокойным и циничным Жаном Кабанисом и подружился с Карлом Кеппеном, про которого он пишет, что «Карл обладал в высшей степени социальным характером».

установленным, что это мелкобуржуазное окружение предопределило как психологический склад, так и логическую структуру Бернштейна-ревизиониста. И, если для этого нужно лишнее доказательство, то самый характер воспоминаний Бернштейна показывает, что эта мешанская закваска осталась в нем до конца его жизни. Впрочем, надо сказать, что среда была не-обходимым, но не единственным фактором, определившим «становление» Бернштейна.

Духовный облик молодого Бернштейна вырисовывается перед нами с достаточной полнотой благодаря удивительной его искренности, переходящей иногда в исповедание перед читателем. Здесь сказывается та особенность мыслительного аппарата Бернштейна, которая так ярко отражается на его теоретических работах: он обладает прямолинейной логикой, в его мышлении нет совершенно диалектических изгибов, диалектической гибкости. Вот замечательный образец этого метода мышления. Маленький Бернштейн носил все свои принадлежности в сумке (вместо ранца), что связывало ему руки и мешало его движениям. И вот этим обстоятельством Бернштейн объясняет свою сдержанность характера и «немалую долю боязливости, которая лишь благодаря также не малой доле легкомыслия не перешла в подлинную угодливость» (стр. 92).

Это слишком уже прямолинейный исторический материализм! Читая позднейшие работы Бернштейна, убеждаешься в том, что такова его обычная логическая манера.

Вообще, Бернштейн, поскольку он сам себя изображает, рисуется перед нами, как довольно бледная личность, лишенная каких бы то ни было больших всепожирающих страстей, достоинств или пороков. Он был незадачлив, скромн, нетребователен, физически слабосилен, в моральном отношении страдал «недостаточностью волеустремления». Но последнее возмещалось с избытком безмерно нескромной фантазией: будучи очень сдержан на практике, он был тем более разнуздан в фантазии. Трудно предположить, чтобы такие задатки обещали в будущем вождя революционного пролетариата. Мы будем ближе к истине, если предположим в таком человеке будущего пророка умеренно мелкобуржуазной, антиреволюционной тенденции в рабочем движении.

Может быть, мало кто знал, что молодой Бернштейн страстно любил театр, усердно посещал его и одно время колебался: не избрать ли ему профессию актера. Для немецкого движения последнее было бы несомненно полезнее. Благодаря своей изумительной памяти Бернштейн приводит ряд мелких подробностей о своих посещениях театров. В частности, очень интересна та часть его книги, где он делится своими воспоминаниями о политической оперетте эпохи национальных войн в Европе и, так называемого, конституционного конфликта. Он доходит до таких деталей, что приводит даже куплеты, которые распевались в популярной тогда оперетте—Пятисот тысяч чертей».

После таких деталей в оперетточном вопросе кажется тем более странным, что на таком кардинальном вопросе своей политической биографии, как вопрос о мотивах, которые толкнули его к вступлению в социал-демократию, Бернштейн останавливается сравнительно мало. Он рассказывает о внешних обстоятельствах, в которых совершилось это вступление, об организации просветительно-выпивочного кружка «Утопия», о знакомстве с известным профессиональным деятелем раннего периода немецкого рабочего движения Фритче, о чтении произведений Лассалля. Бернштейн указывает в связи с этим, что он очень рассердился на Лассалля, который в своих произведениях крепко ругал его дядю, Арона Бернштейна, бывшего в ту пору прогрессистом. Однако все это внешняя сторона дела, внутрен-

него процесса своего духовного перерождения Бернштейн так и не воспринимает перед нами. Возможно, что этот процесс вовсе и не произошел, и поэтому автор его и не заметил. Он пришел в германскую социал-демократию с тем же грузом обывательских, мелкобуржуазных представлений, которые он носил в себе раньше, как социальное наследие своей среды, а революционный социализм оказался только внешним привеском, не сросшимся органически со всем его мировоззрением.

Точный ответ на этот вопрос можно будет дать только после появления продолжения его воспоминаний.

Нунисский.

М. Острогорский. Демократия и политические партии. Том I. Англия. Перевод с французского А. М. Горовиц, под ред. и с предисловием Е. Б. Пашуканиса. Научно-Политической Секцией Госуд. Ученого Совета допущено в качестве учебного пособия для высших учебных заведений. Издат. Ком. Академии. 1927 г. Стр. 281.

Знаменитый французский политический мыслитель Монтескье в середине XVIII века видел в английской конституции «наивысшую ступень свободы, до которой может быть доведен государственный строй». Несмотря на то, что с тех пор прошло почти двести лет, эта характеристика английского политического строя, данная Монтескье, в буржуазной политической и правовой литературе признается неувязчивой и для нашего времени.

Английская парламентская демократия, старейшая из современных демократий, «непрерываемая в своем течении» революциями, разрывавшаяся, как «последовательный логический процесс», являющаяся «последней возможной ступенью развития государства» (Еллинек), — не эта ли демократия должна быть признана «классическим» типом политической демократии вообще?

Тем симптоматичней, что книга М. Острогорского — не марксист, а всего лишь либерального русского филистра — пробивает серьезную брешь в этом псевдо-научном единодушии.

Не ограничиваясь формально-юридическими конструкциями, приоткрывая завесу юридических фетишей «народного суверенитета», «общенародной воли», автор мастерски вскрывает внутренний механизм английской демократии; стремясь остаться на почве фактов и «отдать себе точный отчет во всех данных проблемы в ее последовательном развитии», автор шаг за шагом помимо, а, быть может, даже вопреки своему сознанию и воле, аргументируя обильным материалом, нещадно разоблачает «чистую демократию».

Именно поэтому книга эта, несмотря на то, что она далеко не марксистская в своих выводах и имеет за собой давность в пятнадцать лет (вышла во втором издании на французском языке в 1912 году), сохраняя свою актуальность по сию пору, именно поэтому «получилось произведение, — как говорит в предисловии Е. Пашуканис, — отрывки из которого могут целиком войти в любую марксистскую хрестоматию о государстве и раздел «буржуазная демократия»».

Автор ведет свое исследование в историческом плане. Начиная изучение проблемы с рассмотрения «единства старого английского общества», он затем переходит к его разложению с тем, чтобы в дальнейшем «перейти к попыткам в политическом отношении привести его к бывшему единству».

Оставляя в сторону эту «диалектическую триаду», которая является совершенно искусственной и произвольной в приложении к материалу, следует отметить, что самый материал, особенно в той его части, которая

трактует генезис и роль партийно-политической машины современной Англии, является исключительно ценным и интересным.

Автор усердно и добросовестно вскрывает длинную нескончаемую цепь закулисных интриг, сделок и махинаций, которые должны обеспечить партийным кликам избирательный успех, доставить им, по выражению лорда Биконсфильда, «избирательное пушечное мясо».

В отдаленные времена, до парламентской реформы 1832 г., когда существовали знаменитые английские «гнилые местечки», парламентские мандаты покупались с публичных торгов или у муниципальных олигархических корпораций, владевших избирательными правами; в наше время такие грубые методы осуществления демократии, повидимому, уже не годятся. Нужны более «культурные», более тонкие способы формирования «народного представительства».

В очень ярких красках автор рисует «пейзаж поля избирательных фракций», где политическими доспехами служит решительно все, что способно возбудить энтузиазм: пиво и библия, политическое красноречие и пресса, партийный пастор и пикники с участием акробатов, профессоров магии и чревоушителей, рекламная шумиха и «вербовка» на дому, секретные партийные фонды и поцелуи изящных лэди.

Избиратель, о котором забывают, в тот самый момент, когда он, опуская свой избирательный бюллетень в урну, до выборов представляет объект такой нежной заботы со стороны партийных организаций.

Если к этому добавить, что действующая в Англии избирательная система, система мажоритарная с округами, избирающими одного депутата, на практике, приводит «к предоставлению большинству голосующих представительства, превышающего их численное выражение, в то время, как меньшинство получает количество мест, меньшее, чем то, на которое оно имеет право», то станет ясно, насколько иллюзорной является эта столь прославленная «классическая» английская демократия, насколько, выражаясь деликатными словами М. Острогорского, «разговоры о «мандатах» и о «народной воле»—чистая условность». Автор вынужден признать, что «если охватить во всей полноте... приемы, употребляемые с целью провести в парламент партийных кандидатов, то впечатление получится не в пользу избирательного режима (sic!)... Все пускаемые в ход средства—это как бы общий заговор с расчетом на легковерность избирателя; партии соперничают в способах застичнуть его врасплох, добиться его доверия измышлениями..., оскорбительными инсинуациями словом и изображением, возбуждением алчности и страха, или пошлым демонстрированием туго набитого кошелька, если не простой элементарной коррупцией. Захваченных избирателей ведут на выборы, как стадо, и победу одерживают не те партии, у которых больше возвышенных принципов или больше благотворных законов на своем активе, но те, у которых в распоряжении большее количество автомобилей».

Подлинными хозяевами английской демократии являются политические партии; несмотря на то, что это не предусмотрено никакими конституционными законами, именно они являются вершителями судеб общественно-политической жизни Англии.

Проследивая историю крупнейших политических партий Англии (консервативной, либеральной и рабочей), автор на обильном материале показывает, как постепенно теряя всякие принципиальные программные различия, эти партии превращаются в организации политиков-профессионалов, имеющих одну задачу—избирательный успех, «оппортунистов по должности», подчиняющих партийную политику избирательным соображениям. Соперничество партий сводится к конкуренции торговых домов,

при чем конкуренции бесчестной, стремящейся «украсть избирательные голоса друг у друга».

Автор далек от того, чтобы вскрыть подлинные предпосылки нивелирования программных различий консерваторов и либералов, кроющиеся в том, что в эпоху финансового капитала самые классовые противоречия между землевладельцами и буржуазией значительно притупляются, но самый факт несомненно подмечен им правильно.

Автор наглядно показывает, как и сами партии, центральные органы и депутаты обладают мизерной самостоятельностью и независимостью; вся полнота власти в партии принадлежит не партийным съездам, не избранным руководящим центральным органам, не парламентским депутатам, а партийным лидерам, их ближайшим друзьям и к ним приставленным партийным чиновникам («кнутам», «дергателям веревок» и др.).

Лидер партии—«это главнокомандующий армией. / Он едва советуется со своим главным штабом..., состоящим из нескольких приближенных, которых он дарит своим доверием. Вся остальная часть армии получает просто приказ выступать. В партии господствует дух почти суеверного послушания и почтения к верховному вождю, и его манера держать себя—соответственная. Назначение депутатов партии состоит исключительно в том, чтоб быть «подпорками» вождя и его приближенных... Дисциплина партии становится с года на год все суровее и всяческое нарушение ее рассматривается, как серьезная измена, которую надо искупить. Смелость мнения «стала для депутата недостатком, а подчинение—привычкой ума».

Сосредоточив в своих руках партийный аппарат, секретные партийные фонды, пополняемые из касс таинственных партийных меценатов, партийную печать, парламентскую фракцию и даже отдельных парламентских депутатов (депутат это— «агент для поручений, получающий приказы от лидеров»), партийные лидеры стали полновластными хозяевами партии: руководство партией, выдвижение кандидатов в парламент, руководство парламентской фракцией, формирование кабинета министров, направление его политики—все это фактически во власти партийных лидеров. В результате даже М. Острогорский—необыкновенно напуганный убедительностью своего собственного материала и трусливо-робкий в выводах—вынужден притти к выводу, что «палата общин... лишилась независимости», что «палата больше не пользуется законодательной властью в конституционной смысле... законодательная инициатива фактически почти отнята у депутатов. Палата не только далека от того, чтобы «пользоваться полной свободой высказывать то, что она считает необходимым»... она даже не является господином своего собственного порядка дня, его устанавливает глава кабинета. Контроль парламента над актами правительства ничтожный... Палата не может провоцировать перемену министерства, если не хочет заплатить за это своею жизнью. Она не принимает прямого участия в собственном падении и почти никакого в приходе к власти, весь кабинет избирается личною главою его»... и т. д., и т. п.

Книга М. Острогорского тем и ценна, что находящийся в ней материал показывает нам буржуазную демократию не с парадно-конституционной стороны, а таковой, как она есть в действительности, как она осуществляется на деле; она ценна тем, что даже таких трусливых филистеров, как Острогорский, она заставляет «притти к окончательному выводу, что английское правительство... не представляет настоящего народного правительства. Это—демократия, управляемая олигархией».

Для советского читателя не представляют никакого интереса ищанские размышления автора о «джентльменах», участии женщин в политике и т. д., равно как и проектируемые им политические реформы, в ро-

пропорционального представительства, референдума и т. д., должествующие исцелить английскую демократию. Автор, разумеется, не понял и не мог понять, что буржуазная демократия содержит в самой себе роковое противоречие между формально-юридическим равенством и экономическим неравенством и что именно в этом факте лежит причина ее действительной немощи. Нечего и говорить, что автор даже не пытался подойти к оценке демократии с точки зрения рабочего класса, для которого весь смысл парламентской демократии резюмируется в нескольких словах К. Маркса: «Угнетенным раз в несколько лет позволяют решать, какой именно из представителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и подавлять их».

При всем том, книгу Острогорского с интересом и пользой прочтут юристы, историки, журналисты, пропагандисты и вузовцы.

Перевод сделан тщательно и с большим знанием материала и языка.

Следует пожелать, чтобы перевод и издание второго тома (Америка) не задержались.

Б. Манелис.

Карл Маркс в личной жизни (по письмам и воспоминаниям). Книга первая. Материалы собраны и переведены с немецкого языка под ред. С. Девдариани (Сана). Изд. «Шрома». Тифлис 1928 г. Тираж 5.000. Стр. 111 + 226. Цена 1 руб. 50 коп.

Переписка между Марксом и Энгельсом, имеющая огромный исторический и литературный интерес, в русской литературе представлена, собственно говоря, единственным сборником избранных писем обоих основоположников научного социализма, выпущенным в 1922 г. (по мысли В. И. Ленин) В. В. Адоратским. Разумеется, этого мало, особенно если учесть, что еще в 1913 г. Бебель и Бернштейн выпустили четырехтомное собрание писем Маркса и Энгельса (*Briefwechsel zwischen Fr. Engels und K. Marx*), которое, если и не является исчерпывающее полным, все же охватывает почти целиком переписку за 40-летний период—с 1844 по 1883 г. Не подлежит сомнению, что Институт Маркса и Энгельса в ближайшие годы, в связи с предпринятым изданием всех работ Маркса и Энгельса, заполнит этот пробел с гораздо большей полнотой, нежели это сделали Бебель и Бернштейн (оба редактора заявили в предисловии, что они сознательно опустили «все несущественные и интимные места, не представляющие интереса для более широкого круга читателей»), но положение дела в настоящее время все же остается неизменным.

Приведенные соображения и заставляют отнестись с большим вниманием к той задаче, которую поставил себе редактор (вероятно, и главный оставитель) рецензируемой книги, С. Девдариани. Положив в основу своей работы четырехтомный сборник писем, затем использовав переписку с Лассалем и другие материалы, он—как сообщает в предисловии—не пропустил «ни одной строчки, которая в той или иной степени может выявить какую-нибудь черту характера этой великой личности». Таким путем из отрывков и даже отдельных строк писем, воспоминаний и отзывов, по мнению редактора, должна получиться «картина жизни Маркса, мало известная, или, скорее неизвестная, даже тем, кто хорошо знаком с его учением».

Нельзя не согласиться с С. Девдариани. Приведенные отрывки из писем, относящихся к периоду 1837—1863 гг., раскрывают перед читателем тяжелую картину отчаянной, можно сказать, героической борьбы за существование. Гениальный Маркс, начиная фактически с 1851 г. и до конца 1860-х гг., не знал почти ни одной минуты полного покоя от непрекращавшихся «при-

ступов» безысходной нужды. И многим моментам «материального просветления» он обязан был своему единственно близкому другу Энгельсу, который на протяжении долгих лет поддерживал семью постоянными денежными переводами. В свое время Бебель уже отметил, что в переписке Маркса с Энгельсом «читатель найдет пример дружбы, быть может, единственной в истории человечества и, в всяком случае, непревзойденной». Подтверждением этого могут служить приведенные в настоящей книге многочисленные отрывки из писем обоих друзей.

Но в этой переписке читателя поражает не одно только проявление дружбы. На протяжении многих страниц, рисующих картину безысходной нищеты, выявляется огромная фигура Маркса, которого никакие обстоятельства не в состоянии были согнуть. Ни голодающая семья, ни смерть детей (даже единственного горячо любимого сына Муша) не поколебали его волю, его непреклонную решимость бороться за свои идеи; в этом смысле Маркс сохранил полное спокойствие, исключительную работоспособность и удивительную целеустремленность. Лишь в одном письме к Энгельсу (от 28 января 1858 г.) мы находим сильные ноты полного отчаяния от падающих на него и его семью ударов. В этом письме он заявляет, что, «если такое положение затянется, я предпочел бы лежать на глубине ста саженей под землей, чем продолжать так прозябать» (107). Но уже на следующий день он пишет Энгельсу о своей экономической работе, об обороте капитала, влиянии его на прибыль и цены, о текущих политических событиях и т. д.

Читая отрывки писем, приведенные в рецензируемой книге, устанавливаешь одну основную черту в этом великом человеке: он был весь создан для той огромной работы, которую он оставил в законченном виде современному обществу: «Я теряю лучшее время на бедотню и бесплодные попытки достать денег»,—пишет Маркс как-то Энгельсу (117). В этих словах, разумеется, нет ни капли преувеличения, и для нас становится ясным одно: будь Маркс поставлен в другие, более сносные условия жизни, он дал бы человечеству во много раз больше того, что он действительно оставил. Но заодно с этим следует удивляться той кипучей энергии, какой этот человек обладал. Он сотрудничал в ряде газет, следил за всеми политическими событиями, вел глубокую теоретическо-исследовательскую работу, занимался математикой, попутно изучал иностранные языки (в этом смысле он был счастливым обладателем исключительных лингвистических способностей), в том числе испанский, итальянский и даже русский, поглощал беллетристику и т. д.

Являясь воплощением безостановочного движения вперед, к намеченной цели, точнее, непрекращающейся борьбы, он, при всей своей тяге к исключительно научной работе, ни на момент не отстранился от кипучей политической деятельности. В одном из писем к Лассалю (22. II. 1858 г.) Маркс высказывает мысль о том, что «если бы я советовался лишь со своими личными желаниями, то я бы хотел, чтобы на поверхности спокойствие сохранилось еще на несколько лет... Но все это—настроения филистерские, которые будут сметены первой же бурей» (III).

В сборнике приведены несколько писем Женни Маркс—жены Маркса. Эта женщина была в полном смысле слова товарищем великого мыслителя. Она принимала на свои плечи все удары, падавшие на Маркса, и всячески старалась облегчить, изменить обстановку работы и существования своего Карла. Но это ей слабо удавалось. В довершение ко всему Женни Маркс в 1861 г. заболела оспой и вышла из болезни совершенно обезображенной с окончательно надломленной душой. Тем не менее, она, подобно Марксу, не сдавалась. «У меня так заморочена голова и так много дела,—пишет она Лассалю в апреле 1861 г. (после болезни),—а сегодня мне еще надо бежать в город, что задаст моим ногам работы часа на два, на три. Как вы видите,

я все еще принадлежу к партии движения, к прогрессивной партии, к партии скороходов, и, вопреки всему, я являюсь дельным партийцем или попутчиком, как вам будет угодно» (190). Действительно, она была вернейшим попутчиком Маркса, а с точки зрения исторического значения всего марковского дела — подлинным партийцем. Достаточно прочесть ее письма к Вейдемейеру (октябрь 1852 г.) по поводу Кельнского процесса коммунистов, чтобы понять ее роль в политической работе Маркса. Вот, что она, между прочим, пишет:

«Все свелось теперь к борьбе между полицией и моим мужем, которому приписывают даже руководство процессом. Простите за несвязное письмо; мне пришлось много помогать и переписывать по этому делу, и у меня болят пальцы. Поэтому я и пишу так путано... У нас теперь создалась целая канцелярия. Двое — трое пишут, другие на побегушках, третьи стараются наскрести денег для того, чтобы переписчики могли существовать и разоблачать неслыханный скандал, выступив против всего официального мира» (48). «Мир принадлежит сильным духа», пишет она в другом месте (188), и этот постулат всегда сообщал ей твердую уверенность в том, что Маркс в конце концов должен выйти из всех окружающих его невзгод победителем.

Большое место в приведенных отрывках отводится литературному сотрудничеству Маркса и Энгельса. Здесь сказалось какое-то исключительное единство мысли у обоих соратников. Маркс был связан с целым рядом изданий, в частности, с американской газетой «Трибуна». Последняя заказывала обычно к определенным срокам ряд самых разнообразных статей политического, экономического и даже военного характера. И часть этих статей (в частности, все статьи на военные темы) писалась Энгельсом, пересылалась затем Марксу, а последний уже отправлял их (почти без правки) за своей подписью в Америку. Насколько велико было единомыслие у авторов, можно судить хотя бы по тому факту, что «Трибуна», не отличая их, пускала статьи временами даже без подписи, в качестве редакционных передовиц ¹⁾. Статьи, как известно, не проходили незамеченными, а некоторые из них имели даже шумный успех, при чем среди читателей было распространено мнение, что военные статьи принадлежат, несомненно, перу видного генерал-стратега, а политические — испытанному дипломату. В то время, как Энгельс заведует военным министерством, говорил Маркс, я заведу министерством иностранных дел. Это была шутка с достаточно серьезными основаниями. Для узколобых европейских политиканов многое из того, что Маркс и Энгельс писали, было определенными руководящими откровениями.

Насколько велика была потребность в такого рода сотрудничестве обоих друзей, насколько оно было естественным, можно судить хотя бы по следующему строку из письма Маркса к Энгельсу от 25 января 1854 г.:

«Одно нью-Йоркское издательство предложило, мне через Дана (один из редакторов американской газеты «Трибуна») писать статьи по истории немецкой философии от Канта до настоящего времени по 12 ф. ст. за лист. Но оно требует: 1) сарказма и занимательности; 2) не должно упоминаться о религиозных настроениях страны. Как это сделать? Если бы мы с тобой были вместе, конечно, нужны были бы книги, — мы бы могли быстро заработать от 50 до 60 ф. ст. Соло я не рискую взяться за эту работу» (63, 64). Такого рода свидетельств исключительного единства мысли в рецензируемой книге достаточно количество, но мы ограничимся приведенным.

¹⁾ Это, конечно, была настоящая узурпация авторского права, от которого редакция газеты не хотела отказаться, несмотря на протесты Маркса. Эти же и объясняет трудность восстановления теперь авторства в отношении ряда статей, безусловно принадлежащего перу Маркса и Энгельса.

Как-то раз Моисей Гесс в одном из писем к одному своему приятелю писал о Марксе следующее: «Ты будешь рад познакомиться здесь с одним молодым человеком, который принадлежит сейчас к числу наших друзей. Д-р Маркс—так его зовут... Он соединяет высшую философскую серьезность с огромной силой остроумия. Представь себе в одном лице Руссо, Вольтера, Лессинга, Гейне, Гегеля... и ты будешь иметь д-ра Маркса». Так вот, этот доктор Маркс, в глубочайшей материальной нищете заложивший крепкое, нерушимое здание научного социализма, временами не мог отправить письмо за отсутствием денег на почтовую марку. «Пришли мне несколько марок, я должен послать тебе массу материала» (41),—пишет Маркс Энгельсу 24 апреля 1852 г.; «наступившие сильные холода и полное отсутствие у нас угля заставляет меня... снова нажать на тебя» (107),—пишет он Энгельсу 24 января 1858 г., и т. д. Сколько сарказма и горечи в его заявлении о том, что вряд ли «при таком отсутствии денег можно было бы когда-нибудь писать «о деньгах». Большинство авторов произведений по этому вопросу находилось в очень мирных отношениях с предметом своего исследования» (132). Такова была неприкрашенная действительность, точнее: житейские будни великого мыслителя и стратега классовой борьбы пролетариата.

Можно ли считать, что отображенная в таком виде жизнь Маркса является вполне завершенной в смысле полноты и отчетливости? Разумеется, нет, и по следующим причинам: во-первых, основной источник настоящего сборника—немецкое издание писем,—как мы уже отметили, грешит неполнотой и как раз в части, касающейся личной жизни Маркса; во-вторых, та работа, которая проделана над составлением рецензируемой книжки, является, несомненно, субъективным опытом. Об этом говорит хотя бы та условность примененного составителем критерия «выборки», в результате которого пропущено, например, письмо Энгельса к Марксу от 22. II. 1845 г. (из Бармена в Брюссель), посвященное личным делам последнего, в связи с его высылкой из пределов Германии, или, скажем, письмо Маркса в редакцию газ. «Реформа» по поводу наглого обращения с ним и с его семьей брюссельской полиции, буквально выбросившей его в срочном порядке из пределов Бельгии.

Таким образом, нужно признать, что пробел, о котором мы говорили в самом начале, еще нельзя считать заполненным. В этом отношении последнее слово, несомненно, будет принадлежать Институту Маркса и Энгельса. Но, даже в таком виде, в каком эту работу проделал составитель рецензируемой книжки, последняя раскрывает читателю картину, которая, по верному замечанию С. Девдариани, обладает притягательной силой, не только для марксистов, но и для кругов, далеких от марксизма». Нужно только пожелать, чтобы вторая книга не замедлила появлением из печати.

К недостаткам чисто редакционного характера нужно отнести полное отсутствие примечаний, что для непосвященного читателя делает книгу промоздкой и в некоторой части даже трудной для чтения. Часты в книге неяркие искажения имен, латинских фраз и иностранных названий. (Например, вместо «Элеонора Маркс-Эвелинг» под портретом младшей дочери Маркса напечатано «Маркс-Эволин», или Виллих почему-то именуется Виллах и т. д.).—Хотя все эти дефекты, разумеется, и сказываются отрицательно на книге, как таковой (они должны быть обязательно устранены при выпуске второй части), но интерес к работе они не могут изменить. Она безусловно заслуживает внимания нашего марксистского актива.

И. Браславский

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ.

Условия приема в Институт Красной Профессуры в 1928/29 учебный год на основные отделения.

§ 1. На все основные отделения принимаются члены ВКП(б), обладающие не менее, чем 5-годовичным партийным стажем, а на историко-партийное—не менее, чем 8-годовичным партстажем.

Примечание. Отступление от требования 5-годовичного партстажа допускается в исключительных случаях только для поступающих на естественное отделение.

§ 2. Товарищи, желающие поступить в Институт Красной Профессуры, должны представить в правление Института (Остоженка, 53), не позднее 1 мая 1928 г.: 1) рекомендацию Центрального Комитета ВКП(б), ЦК нацреспублик, обкомов (обкомов) или губкомов ВКП(б); 2) заявление с указанием адреса; 3) краткую автобиографию; 4) засвидетельствованный партстаж; 5) копию воинского документа; 6) заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья за последние 2-3 года и 7) печатные работы (если последние имеются). В заявлении должна быть указана желательная для данного товарища тема пробной вступительной работы и отделение, на которое товарищ желает поступить.

Примечание. От поступающих на естественное отделение, ставящее своей задачей дать товарищам с законченным естественно-историческим образованием подготовку по истории естествознания, техники и философии, представление письменной работы не требуется, но требуется представление свидетельства об окончании соответствующего вуза или свидетельства о прохождении всей программы вуза за исключением специальной (дипломной) работы.

§ 3. Заявления рассматриваются мандатной комиссией и затем поступают в правление Института. В случае удовлетворительного решения вопроса правление допускает соискателя к представлению письменной работы. Тема работы устанавливается по соглашению с приемочной комиссией института, производящей устный коллоквиум. Предельным сроком представления письменных работ устанавливается 1 июля 1928 г.

§ 4. Все соискатели, пробные письменные работы которых будут признаны удовлетворительными, допускаются к устному коллоквиуму в промежуток между 1 и 15 сентября, после чего правление имеет окончательное суждение о кандидате.

§ 5. Поступающие на все основные отделения института экзаменуются по философии, теоретической экономике и истории, по истории партии и ленинзму; кроме того, поступающие на правовое отделение—по теории права и государства и на литературное—по методологии литературоведения и по истории литературы.

Для поступающих желательно знание одного из иностранных (европейских) языков.

§ 6. От поступающих требуются основательные знания по следующим программам и литературе:

1. Программа по теоретической экономике).

(Для всех отделений).

1. Предмет и метод политической экономии. Основные направления (школы) в области политической экономии.

2. Теория стоимости Маркса. Суб'ективная теория ценности австрийской школы.

3. Теория денег Маркса. Сущность денег, стоимость денег, функции денег.

4. Теория прибавочной стоимости Маркса. Постоянный и переменный капитал. Норма и масса прибавочной стоимости. Рабочий день и фабричное законодательство.

5. Понятие об относительной прибавочной стоимости. Кооперация, разделение труда и мануфактуры. Машины и крупная промышленность.

6. Заработная плата, как цена рабочей силы. Форма заработной платы. Национальные различия заработной платы. Взаимные отношения заработной платы и прибавочной стоимости при различных условиях.

7. Понятие о простом и расширенном воспроизводстве. Превращение прибавочной стоимости в капитал. Обстоятельства, влияющие на размер накопления. Теория рабочего фонда.

8. Всеобщий закон капиталистического накопления. Органический состав капитала, концентрация и централизация капитала. Относительное и абсолютное перенаселение. Резервная армия. Иллюстрация закона в английской практике.

9. Первоначальное накопление, его пути и методы. Исторические тенденции капиталистического накопления.

10. Метаморфозы капитала и их течение. Кругооборот денежного, производственного и товарного капитала. Время оборота. Издержки обращения.

11. Учение об основном и оборотном капитале у Маркса и его предшественников. Рабочий период и время производства. Время обращения.

12. Влияние времени оборота на величину авансированного капитала. Оборот переменного капитала. Обращение прибавочной стоимости.

13. Воспроизводство и обращение совокупного общественного капитала при простым и расширенным воспроизводстве.

14. Превращение прибавочной стоимости в прибыль и нормы прибавочной стоимости и нормы прибыли. Превращение прибыли в среднюю прибыль.

15. Тенденция нормы прибыли к понижению. Марксова теория кризиса.

16. Торговый капитал и торговая прибыль. Оборот торгового капитала. Деяжко-торговый капитал. Из истории торгового капитала (для естественного деления не обязательно).

17. Деньги в обращении промышленного капитала. Кредит. Уровень процента. Роль кредита в капиталистическом обществе. Денежный капитал и действительный капитал.

18. Мобилизация капитала. Акционерные общества. Фондовые биржи. Товарные биржи. Биржевой капитал и банковская прибыль.

19. Капиталистические монополии, их происхождение и развитие. Конкуренция при монополии. Проблема монополийной цены. Кризисы и монополии.

20. Империализм и его характеристика. Проблема ультраимпериализма. Государственная власть и империализм. Империализм и пролетариат.

21. Превращение избыточной прибавочной стоимости в земельную ренту. Дифференциальная рента и ее случаи. Закон убывающего плодородия почвы.

22. Абсолютная рента, ее происхождение. Национализация земли. Различные способы решения аграрного вопроса.

Примечание. Пп. 10, 11 и 12 обязательны только для экономистов

От поступающих на другие отделения по пп. 13 и 18 требуется лишь общее знакомство.

От поступающих на все отделения требуется знание политической экономии в пределах этой программы, экономической политики СССР и истории народного хозяйства в объеме программы социально-экономических вузов, а для поступающих на экономическое отделение, кроме того, знание истории экономических учений, в том же объеме (по книгам Берлина «Очерк развития экономических учений», Туган-Барановского «Очерки по новейшей истории политэкономии и социализма») при основательном знании нижеперечисленной литературы:

1. По теоретической экономии.

1. Маркс—«Ницше философия» (обязательно только для экономистов).
2. Маркс—«К критике политической экономии» (для экономистов обязательно только введение и предисловие).
3. Маркс—«Капитал» (I, II и III тт.) (т. I, а также главы с 28 по 35 и с 41 по 43 из III тома не обязательны для экономистов).
4. Гильфердинг—«Финансовый капитал» (только для экономистов).
5. Ленин—«Империализм».
6. Ленин—тт. III и IX (только для экономистов и историков).
7. Бухарин—«Империализм и мировое хозяйство» (для экономистов не обязательно).
8. Бухарин—«Политическая экономия ренты» (для экономистов только введение и I глава).
9. Один из марксистских учебников по политэкономии (для экономистов).
10. Для экономистов обязательно является знакомство с курсом политэкономии какого-либо буржуазного экономиста (Туган-Барановского, Железнова и др.).

II. По экономполитике.

1. Айхенвальд—«Советская экономика».
2. Доклады, резолюции и постановления партийных съездов и конференций (начиная с 1917 г.) по вопросам хозяй-

ственной политики. 3. Статьи и речи В. И. Ленина (включая отчеты ЦК съездам партии) по тем же вопросам (в тт. XIV—XVIII собран. сочинений).

III. По истории народного хозяйства.

Ляшенко—«История народного хозяйства России» (обязательно только для экономистов и русских историков).

II. ПРОГРАММА ПО ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛИЗМУ.

(Для всех отделений).

1. Основные школы древне-греческой философии (для философов и естественников). 2. Номинализм и реализм средневековой философии. 3. Фр. Бэкон. 4. Декарт. 5. Гоббс. 6. Гассенди. 7. Локк. 8. Спиноза. 9. Беркли. 10. Юм. 11. Лейбниц. 12. Французский материализм XVIII века, его исторические корни и его особенности. Ламеттри. Дидро. Гельвеций. Гольбах. 13. Кант. 14. Немецкий классический идеализм после Канта (до Гегеля). 15. Гегель. 16. Фейербах. 17. Марксизм, его исторические корни и основные этапы: а) проблема философии с точки зрения марксизма; б) диалектический материализм; в) значение и роль материалистической диалектики; г) дискуссия с механистами (обязательно только для философов и естественников); д) теория познания марксизма; е) учение об обществе; ж) теория общественных классов; з) учение о классовой борьбе; и) теория диктатуры пролетариата; к) учение о праве и государстве; л) учение о партии; м) идеологии; н) философская ревизия марксизма ревизионистами.

Литература по философии и историческому материализму.

1. Энгельс — а) «Л. Фейербах»; б) «Анти-Дюринг»; в) «Происхождение семьи, частной собственности и государства»; г) «Диалектика природы» (в и г — только для философов и естественников). 2. Маркс и Энгельс — «Немецкая идеология. Л. Фейербах» (Архив Маркса и Энгельса, т. I) (только для философов и естественников). 3. Маркс — «Критика Готской программы». 4. Плеханов — а) «Основные вопросы марксизма»; б) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»; в) «Очерки по истории материализма»; г) «Критика наших критиков» (Соч., т. XI) и весь т. XVII Сочинений. 5. Ленин — а) «Материализм и эмпириокритицизм» (Собр. соч., т. X); б) «К вопросу о диалектике»; в) «Что такое друзья народа. I ч.» г) «Маркс, Энгельс, марксизм» (сборник); д) Государство и революция; е) «Пролетарская революция и ренегат Каутский»; ж) «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»; з) «Удержат ли большевики государственную власть». 6. Пашуканис — «Общая теория права и марксизм». 7. Асслерод — «Философские очерки». 8. Ланге — «История материализма» (только для философов). 9. Гомперц — «Греческие мыслители» (только для философов и естественников). 10. Бухарин — «Теория исторического материализма». 11. Дебори — «Философия и марксизм» (сборник). «Введение в философию диалектического материализма». Энгельс и диалектическое понимание природы» (ст. в «Под Знаменем Марксизма», № 10—11 за 1925 г.). «Материалистическая диалектика и естествознание (Воинствующий Материалист) № 5 — для философов и естественников». «Наши разногласия» («Летопись Марксизма» № 11). Энгельс и диалектика в биологии» («Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 1—2, 3, 9—10—только для философов и естественников). «Очерки по теории материалистической диалектики» («Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 11). 12. Ламеттри — Избранные сочинения (для философов и естественников). 13. Фейербах — Собранные сочинения, т. I (для философов и естественников). 14. Для поступающих на философское и естественное отделение, кроме того, требуется знакомство с периодической марксистской литературой по основным проблемам философии и естествознания (в частности, с основным материалом, публикуемым в журнале «Под Знаменем Марксизма»).

III. ПРОГРАММА И ЛИТЕРАТУРА ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ ВКП(б).

(Для всех отделений, кроме естественного).

1. Торговый капитализм в России и крепостное хозяйство.

1. Покровский — «Очерк истории русской культуры», часть I, гл. III и IV.

Под Знаменем Марксизма.

II. Происхождение самодержавия.

2. Покровский «Марксизм и особенности исторического развития России». Сборник статей 1922-1925 гг. 3. Троицкий «1905». 2-е и след. изданий. Введение и приложения. (Статья против Покровского).

III. Декабристы.

4. Покровский «Декабристы». Сборник статей, изд. Центрархива. Кроме того, для специалистов - историков статья Нечкиной о «Соед. славяно» в журнале «Историк-Марксист» № 1.

IV. Крестьянская реформа.

5. Покровский «Очерк истории русской культуры», часть I, гл. V.

V. Народническая революция.

6. Покровский «Русская история в самом сжатом очерке», ч. III, изд. 1928 г., или соответствующая глава из существующих учебников по истории партии.

VI. Аграрный вопрос в России после реформы.

7. Ленин Собр. сочинен., т. IX, стр. 441-703. 8. Его же, том III, «Развитие капитализма в России», гл. II, III и IV.

VII. Промышленное развитие пореформенной России.

9. Ленин Собр. сочинен., т. III, «Развитие капитализма в России» гл. V-VIII.

VIII. 1905 год.

10. Ленин Собр. сочинен., тт. VI и VII, следующие статьи: Том VI - Земская кампания и план «Искры». От народничества к марксизму. О боевом соглашении для восстания. Должны ли мы организовать революцию. Новые задачи и новые силы. Пролетариат и крестьянство. Социал-демократия и Временное Правительство. Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. О Временном Революционном Правительстве (обе статьи). Борьба пролетариата и холопство буржуазии. Революционная армия и революционное правительство. Две тактики социал-демократии (брошюра). Бойкот Бульварной Думы и восстание. Самое ясное изложение самого путаного плана. Отношение социал-демократии к крестьянскому движению. Мелкобуржуазный и пролетарский социализм. Том VII: Победа кадетов и задачи пролетариата (брошюра). Докл. об объединительном съезде РСДРП (брошюра). Разгон Думы и задачи пролетариата (брошюра). 11. Покровский «Русская история в самом сжатом очерке», ч. III, изд. 1928 г.

IX. Столыпинщина и война.

12. Покровский «Русская история в самом сжатом очерке», ч. III, изд. 1928 г. 13. Ленин - Том XIII. Война и РСДРП. О поражении своего правительства в империалистической войне. Социализм и война. О лозунге Соединенных Штатов Европы. Крах II Интернационала. Несколько тезисов. Итоги дискуссии о самоопределении. 14. Покровский - «Внешняя политика России в XX веке», Изд. Свердловского университета. Для специалистов книги: Каменева - «Мелкобуржуазные революции» и Ванага - «Финансовый капитал в России».

X. Февральская и Октябрьская революции.

15. Ленин Собр. соч., т. XIV. Письма издаека. Луи-блановщина. О дикт. власти. Письма о тактике. Задачи пролетариата в нашей революции. Резолюция о войне и земельной реформе на апрельской конференции.

Речь на съезде крестьянских депутатов. Речь на первом съезде совет. о войне. К лозунгам. О конституционных иллюзиях. Уроки революции. О кап. промиссах. Большевики должны взять власть. Марксизм и восстание. Грядущая катастрофа и как с ней бороться (брошюра). Удержат ли большевики государственную власть (брошюра). 16. Бухарин - «От империализма к диктатуре пролетариата». 17. Сталин - «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов» (предисловие к книге «На путях к Октябрю»).

Кроме того, для общего знакомства с русским историческим процессом предлагается знание «Русской истории в самом сжатом очерке» всех 3-х частей и знание одного из учебников, принятых в комвузе по истории партии.

Для специалистов, кроме того, обязательно знание русской истории в сжатом объеме:

18. Покровский—«Русская история с древних времен», тт. I—IV. 19. Покровский—«Империалистическая война», ст. «Виновики войны». «Как началась война 1914 г.», «Выход России из войны». 20. «Русско-японская война». 1906 г., т. I. Изд. Истпарта. 21. Покровский—«Очерки по истории русской культуры», ч. I. 22. Его же—«Борьба классов и русская историческая литература». 23. Лященко—«История народного хозяйства». 24. 1905 г., Изд. Истпарта, т. III, ст. Ярославского и Невского. 25. Ключевский—«История сословий». От 10 до 20 лекций (для историков партии не обязательно). 26. Ключевский—«Курс русской истории», лекции 1, 2, 31—37. 27. Соловьев—«Начало русской жизни» (для историков партии не обязательно). 28. Дьяконов—«Очерки общественного и государственного строя древней Руси», изд. 1926 г. «Государственное строительство» (в обоих периодах) (для историков партии не обязательно). 29. Плеханов—«История русской общественной мысли», т. I. Введение.

Кроме того, от поступающих из историко-партийное отделение требуется чтение следующих работ: 1. Ленин—«Что такое «друзья народа» и как они воюют с социал-демократией», т. I. 2. Ленин—«Экономическое содержание народничества и критика его в книге Струве», т. II. 3. Ленин—«Задачи русских социал-демократов», т. I. 4. Ленин—«Что делать?», том V. 5. Ленин—«Гонители жидов и Аннибалы либерализма», т. V. 6. Ленин—«Шаг вперед, два шага назад», т. V. 7. Плеханов—«Социализм и политическая борьба», т. II. 8. Плеханов—«Наша разногласия», т. II. 9. Бухарин—«Ленин как марксист».

Для естественников по истории и истории партии требуется:

1. Покровский—«Русская история с древнейших времен», тт. III и IV. 2. История партии в объеме какого-либо учебника, принятого в комвузе. 3. Ленин—«Что делать?», «Две тактики социал-демократии в русской революции». «Социализм и война». «Удержат ли большевики власть». «Пролетарская революция и ренегат Каутский». «О продизлоге» (брошюра) и «О кооперации».

IV. ПРОГРАММА И ЛИТЕРАТУРА ПО ЗАПАДНОЙ ИСТОРИИ.

(Для всех отделений, кроме естественного).

I. Происхождение капитализма.

1. Лукин—«Новая история». 2. Маркс—«Капитал», т. I, гл. XXIV.

II. Буржуазные революции.

3. Лукин—«Новая история» (отдел о французской революции).

III. Первые шаги рабочего движения, социализм.

4. Лукин—«Новая история», гл. VIII, §§ 70, 71, гл. IX—вся, гл. X, § 87 (о Бейтсинге), 90, 91.

IV. 48 год.

5. Маркс—«18 брюмера». 6. Маркс—«Классовая борьба». 7. Энгельс—«Революция и контрреволюция». 8. Стеклов—«48-й год».

V. Интернационал.

9. Стеклов—«I Интернационал».

VI. Коммуна.

10. Степанов—«Коммуна».

VII. Основные типы рабочего движения и конце XIX и начале XX вв.

11. Лукин—«Очерки по истории Германии», очерк «О рабочем движении».

12. Ротштейн—«Очерки по истории английского рабочего движения», ч. II. 13. Каутский—«Республика и социализм во Франции». 14. Покровский—«Франция до и во время войны». 15. Ленин—Том XIII, статьи, названные в программе по русской истории (IX, 13).

VIII. Империализм.

16. Преображенский—«Империализм». 17. Лукин—«Очерки по истории Германии». Очерк «О внешней политике».

IX. Кризис международного рабочего движения.

18. Ленин—Том XIII и том XVI Статьи, указанные в пунктах 13 и 15 списка литературы по русской истории.

Для специалистов-историков, кроме того, требуется:

1. Теории экономического развития древнего мира

1. Петрушевский—«Очерки по истории средневекового общества и государства». 2. Тюмиев—«Капитализм в древней Греции».

II. Аграрные отношения в древнем мире.

3. Тюмиев—«Капитализм в древней Греции». 4. Винпер—«Очерки по истории Римской империи».

III. Феодализм.

5. Петрушевский—«Очерки по истории средневекового общества и государства». 6. Петрушевский—«Восстание Уота Тэйлора», гл. III и IV.

IV. Средневековый город.

7. «Обществоведение», под ред. Тарасова, т. II, статьи Грацианского 1) «Феодализм в Западной Европе», § 6. 2) «Разложение феодального строя». «Развитие городов», §§ 1, 2, 3, 4, 7. 8. Белов—«Городской строй средних веков».

V. Крестьянские войны.

9. Энгельс—«Крестьянская война». 10. Каутский—«Предшественники новейшего социализма» (исключая ст. Бернштейна об английской революции).

VI. Буржуазные революции.

11. Коиради—«Истор. револ.», т. I.

VII. Возникновение капитализма.

12. Манту—«Промышленная революция XVIII века», ч. II, гл. I, II, III, B, ч. III, гл. II и III.

VIII. 48 год.

13. Реиар—«48-й год», ч. I.

IX. Коммуна.

14. Лукин—«Коммуна».

Кроме того, необходимо ознакомление с классическими историческими работами: 1. Токвиль—«Старый порядок и революция». 2. Фюстель де Куланж—«Колона».

Для естествоиспытателей по истории Запада требуется знание следующей литературы:

1. Кулишер—«Промышленность и рабочий класс». 2. Моисов—«История революционных движений». 3. Арк. А.—и.—«История рабочего движения (сокращен.)».

IV. ПРОГРАММА И ЛИТЕРАТУРА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ.

Кроме общих требований, предъявляемых к поступающим по политэкономии, экономполитике, истории, истории партии и философии, от поступающих на литературное отделение требуется: 1) знакомство с историей русской и западной литературы в объеме курса литературного отделения педфака; 2) знание основных проблем марксистской методологии в литературоведении и 3) знакомство с основными направлениями современной русской и мировой художественной литературы.

При этом требуется знание следующей литературы:

1. Белинский—а) «Обзор русской литературы 1846 и 1847 гг.», б) Статьи о Пушкине. 2. Чернышевский—а) «Очерки гоголевского периода русской литературы». б) «Эстетические отношения искусства к действительности». 3. Плеханов—Тома IV, V, X и XIV—статьи по литературе, критике и искусству, в частности о Белинском и Чернышевском. 4. Плеханов—«История русской общественной мысли», тт. I—IV. 5. Мерино—«Мировая литература и пролетариат». 6. Перевезев—«Достоевский». «Творчество Гоголя». Статьи о Гичарове («Печать и Революция» 1923 г., №№ 1 и 2. «Вестник Социализма» № 3 1923 год). 7. Ленин—«Статьи о Толстом» (отдельное издание). 8. Воронский—«Литературные очерки». 9. Тэи—«Чтения об искусстве».

VI. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Кроме общих требований, предъявляемых по политэкономии, экономполитике, истории, философии, от поступающих на естественное отделение требуются:

Для естественников всех специальностей: 1. М. Планк — «Физ. очерки», Гиз. Первые две статьи. 2. Сведберг — «Материя». 3. Тимирязев — «Исторический метод в биологии».

Для физиков, химиков и др. специальностей точного естествознания: 1. М. Планк — «Физ. очерки», Гиз. 2. М. Планк — «Физическая закономерность». 3. М. Смолуховский — «О понятии случайности и происхождении законов вероятности в физике» (для химиков не обязательно). 4. Иордан — «Статистика и вероятность» (2, 3, 4 статьи в журнале «Успехи физических наук» за 1926, 1927 и 1928 гг.) (для химиков не обязательно). 5. Планк — «От относительного к абсолютному» (статья в «Под Знаменем Марксизма» за 1925 г.). 6. Сборник «Философия науки». Физика ч. I и II, Гиз, под ред. А. Тимирязева. 7. Сведберг — «Выводение энергии». 8. Брагг — «О природе вещей».

Для биологов и медиков: 1. Дриш — «Витализм, его история и система». 2. Леб — «Организм как целое». Гиз. Серия «Соврем. пробл. естествознания». 3. Павлов — «Двадцатилетний опыт». 4. Философия науки, сборник под редакцией Завадовского.

VII. ПРОГРАММА ПО ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРАВОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Общая часть.

а) Право.

I. Право и классовое общество. Право как форма господства. Право как форма, порожаемая разделением труда и обменом.

II. Обычай и право. Зачатки права у первобытных народов. Возникновение и эволюция института частной собственности.

III. Право и экономика. Базис и правовая надстройка. Право как отношение, норма и идеология.

IV. Основные подразделения права (право в субъективном смысле и право в объективном смысле, право публичное и право частное и т. д. Смысл этих подразделений и их критика с марксистской точки зрения).

V. Основные воззрения на право. Теория естественного права. Историческая школа. Теория Иеринга. Юридическо-догматический позитивизм. Психологическая школа права.

VI. Марксистская теория права.

VII. Источники права в техническом смысле: обычай, закон, прецедент. Применение права. Истолкование нормы права.

VIII. Право в переходный период.

б) Государство.

IX. Происхождение государства. Распад родового общества. Государство и класс.

X. Государство как организация классового господства.

XI. Типы государств: античное государство, феодальное государство, сословная монархия, буржуазное государство.

XII. Формы правления: абсолютизм, конституционная монархия, республика. Династические парламентарные государства.

XIII. Причины развития и упадка парламентаризма. Буржуазное государство в эпоху империализма.

XIV. Учение Маркса и Ленина о диктатуре пролетариата. Задача пролетарской революции по отношению к буржуазному государству. Государство пролетариата. Анархисты и марксисты по вопросу о государстве.

XV. Отмирание государства.

Специальная часть.

I. Государственное право СССР. Декларация прав трудящихся. Организация центральной и местной власти. Система выборов. СССР и его органы.

II. Уголовное право и классовое общество. Уголовная политика советской власти. Наказания и меры социальной защиты. Отличительные черты нашего уголовного кодекса.

III. Гражданское право. Основные политические черты нашего Г. К. Отрасль «частно-правовой автономии». Защита интересов трудящихся советского государства. Основные начала вещного обязательственного и наследственного права по ГК.

IV. Трудовое право. Кодекс законов о труде. Порядок найма и привлечение к труду. Коллективные договоры. Профессиональные союзы и их роль. Социальное страхование.

V. Земельное право. Источники земельного права. Порядок землепользования. Субъекты землепользования. Двор.

VI. Судостроительство и судебный процесс. Система судебных учреждений. Подсудность. Порядок обжалования. Основные начала нашего уголовного и гражданского процессуальных кодексов.

Литература по теории права и государства.

Кроме литературы, обязательной для поступающих на правовое отделение по другим дисциплинам, а также литературы по общей теории права и государства, указанной в разделе «Исторический материализм», дополнительно требуется:

1. Стучка — «Революционная роль права и государства».
2. Стучка — «Курс советского гражданского права», т. I.
3. Гойхбарг — «Хозяйственное право», т. I.
4. Марнер — «Социальные функции правовых институтов».

Кроме того, требуется основательное знакомство с конституциями СССР и союзных государств и общее знакомство с основными кодексами (Гражд. Угол. Труд.). Необходимо также знакомство с курсом какого-нибудь из буржуазных государствоведов (например, Гумплович, Коршунов или Шершеневич) и с политическим строем важнейших буржуазных государств (Англии, Франции, Германии, С.-А. С. Ш.).

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ВОСТОЧНЫЙ СЕКТОР ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

В 1928/29 уч. году при историческом отделении ИКП открывается восточный сектор, задачей которого является подготовка научных работников в области истории современных проблем зарубежного и советского Востока.

Условия приема и исчерпывающие требования на восточный сектор исторического отделения, в основном те же самые, что и для всех поступающих в Институт Красной Професуры по историческому отделению (См. условия приема, опубликованные в журналах: «Коммунистическая Революция» № 6, «Большевик» № 7, «Пламя Знамени» № 4).

Кроме того, от поступающих на восточный сектор требуется:

а) Общее знакомство с одной из восточных стран; б) знакомство с современными проблемами Востока; в) знание следующей литературы:

1. Ленин. I. Т. XIX и XIII том (целиком). 2. Т. IV, статья: «Национальный вопрос в нашей программе». 3. Т. XIII, статьи: «Крах II Интернационала», «О критике на марксизм и об империалистическом экономизме». 4. Т. XVI «Речь на II съезде коммунистических организаций Востока».

II. Сталин. 1. «Марксизм и национальный вопрос» (в сб. «Марксизм и национальная проблема»). 2. Доклады и заключ. слово на X и XII съездах партии по национальному вопросу (Стенограф. отчеты). 3. «Октябрьский переворот и национальный вопрос». Сборн. стат. 4. «К постановке национального вопроса» (в сборе «Национальный вопрос и Советская Россия»). 5. Статьи по нац. вопросу в «Вопросах ленинизма»; там же 5 гл., там же «О политических задачах КУТВ».

III. Доклады и резолюции на III и V конгрессах Коминтерна по колониальному и национальному вопросам, доклады и резолюции по китайскому вопросу VII, VIII и IX пленумов ИККИ.

Программы испытаний по русскому языку и математике для поступающих в подготовительное отделение Института Красной Професуры.

В развитие п. 1 § 7 условий приема для поступающих на подготовительное отделение Института Красной Професуры в 1928/29 уч. году, по которым от поступающих требуется знание по русскому языку и математике, в размере приемных испытаний в вузы, правлением Института утверждены следующие программы испытаний по этим предметам.

Программа по русскому языку.

1. Поступающий должен написать работу на литературно-общественную тему. В ней он должен обнаружить умение связно, толково, ясно и точно излагать свои мысли. Грамотность должна быть удовлетворительна как этимологически, так особенно синтаксически. Особое внимание следует обратить на правильное построение сложных предложений и словосочетаний: согласование и управление.

2. Поступающий должен иметь сведения об основных моментах развития русской литературы XIX века, в связи с развитием социально-экономических взаимоотношений и общественно-политических движений, и обнаружить знакомство с современной литературой.

Список произведений, знакомство с которыми обязательно для кандидата.

1. Фонвизин «Недоросль». 2. Грибоедов «Горе от ума». 3. Пушкин — «Евгений Онегин», «Медный всадник», «Капитанская дочка», «Дубровский». 4. Лермонтов — «Герой нашего времени», «Мцыри», «Демон». 5. Гоголь — «Ревизор», «Мертвые души», «Шинель», «Старосветские помещики». 6. Тургенев — «Записки охотника», «Муму», «Рудин». «Отцы и дети». 7. Чернышевский — «Что делать?». 8. Гончаров — «Обломов». 9. Достоевский — «Преступление и наказание». 10. Островский — «Свои люди сочтемся», «Володино место», «Гроза». 11. Некрасов — «Кому на Руси жить хорошо». «Размышления у парадного подъезда». «Железная дорога». «Арина, мать солдатская». «Филантроп». «На Волге». «Рыцарь на час». 12. Салтыков — «Пошехонская старина». Сказки. «Господа Головлевы». «Смерть Пазухина». 13. Г. Успенский — «Нравы Растеряевой улицы». «Власть земли». «Четверть лошади». 14. Л. Толстой — «Хаджи-Мурат». «Война и мир». «Воскресенье». 15. Гаршин — «Четыре дня на поле сражения». 16. Короленко — «В дураком обществе». «Слепой музыкант». «Река играет». «Лес шумит». «Сон Макара». «Убийца». «Соколик». «Мороз». 17. Чехов — «Мужики». «Степь». «Человек в футляре». «Дядя Ваня». «Вишневый сад». 18. Горький — «Челкаш». «Фома Гордеев». «Детство». «В людях». «Мать». II и IV сказки об Италии. (Забавовка в Парме и Симплонский туннель). «Песнь о соколе». «Буревестник». «О чизе, который глал». «Мои университеты». 19. Серафимович — «Железный поток». 20. Селфуллин — «Правонарушители». 21. Глазков — «Цемент». 22. Иवानов — «Бронепоезд». 23. Фадеев — «Разгром».

Знакомство с современными поэтами: Безыменский, Демьян Бедный, Маяковский.

Критические статьи: 1. Герцен — «Былое и Думы» (изд. «Прибой», 1925 г.). 2. Добролюбов — «Луч света в темном царстве». «Что такое обломовщина». 3. Ленин — «Статья о Толстом». 4. Плеханов — «Статьи о Некрасове, Успенском». «Литературные взгляды Белинского».

Программа по математике.

1. Арифметика. Четыре действия с простыми и десятичными дробями. Проценты вычисления. 2. Алгебра. Действия с целыми и дробными алгебраическими выражениями. Извлечение квадратного корня из чисел с данной степенью точности. Уравнение первой степени с одним и многими неизвестными. Квадратное уравнение с одним неизвестным. Простейшие операции над иррациональностями. Прямоугольная система координат на плоскости. Графическое изображение функций; графическое решение уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии; их суммы. Бесконечная геометрическая прогрессия. Обобщение понятия о показателе степени. Действия с выражениями, содержащими дроби и отрицательные показатели. Логарифмы и их применение (пятизначные таблицы). 3. Геометрия. Основные свойства многоугольников (треугольник, параллелограмм, трапеция, правильный многоугольник) и их площади. Подобие фигур. Метрические соотношения в прямоугольном, косугольном и тупоугольном треугольнике. Окружность: хорды, касательные, измерения углов в круге. Сторона написанного шестиугольника, треугольника, квадрата. Площадь круга. Объем и поверхность многогранников и круглых тел. 4. Тригонометрия. Решение прямоугольных и треугольных и необходимые для этого геометрические соотношения. Синус и косинус суммы и разности двух углов; радиальная мера угла. Перевод из градусной меры в радиальную и обратно. Предел отношения угла к его синусу при безграничном уменьшении угла.

Правление Института Красной Профессуры.

Прием аспирантов в Институт экономики

Научно-исследовательский Институт экономики РАНИОН¹ на ряду с исследовательской работой в области теоретической экономики и конкретных экономических дисциплин имеет задачей также подготовку научных работников для исследовательской и педагогической работы в области экономики.

Для выполнения этой задачи Институт экономики имеет штатные должности аспирантов, на которые ежегодно осенью зачисляются по конкурсу 20—30 человек.

К конкурсу для зачисления в аспиранты Института экономики допускаются как лица, окончившие экономические вузы, так и не имеющие высшего экономического образования, при наличии у них 2-летнего стажа педагогической, научной и общественной работы.

Лица, желающие поступить в Институт осенью 1928 г., должны представить не позднее 15 июля сего года заявление, документы и вступительную работу в комиссию по подготовке научных работников при президиуме ГЭС (Москва, Чистопрудный бульвар, № 6).

Вступительная работа должна отвечать следующим требованиям: тем вступительной работы должна соответствовать избранной специальности (экономика). Работа должна свидетельствовать об основательном знании экономической теории Маркса, об умении пользоваться марксистским методом, об обстоятельном знакомстве кандидата с литературой предмета, умении использовать в критическом отношении к привлекаемому материалу. Желательно, чтобы во вступительной работе кандидат в аспиранты показал знакомство с экономикой Советского Союза и умение теоретически осмыслить конкретный экономический материал.

Крайне желательно предварительное согласование темы вступительной работы с коллегией Института экономики (Волхонка, 18).

Товарищи, работы которых будут признаны удовлетворительными, будут допущены к коллоквиуму по теоретической экономике, историческому и диалектическому материализму и, при необходимости, к дополнительным испытаниям по экономике. Объем знаний, необходимых для кандидата в Институт экономики определяется литературой, указанной в «Справочнике аспиранта» на 1928 г.

При зачислении в аспиранты преимущество отдается товарищам рабочего или крестьянского происхождения.

Лица, зачисленные на штатные должности аспирантов, обеспечиваются стипендией (размер в 1927/28 г. — 40 руб.) и, по возможности, общежитием.

Подготовка аспирантов к научной работе производится по следующему плану:

Первый период посвящается изучению методологии и основных проблем теоретической экономики, а также изучению хозяйственной статистики в специальных семинарах. По окончании периода теоретической подготовки, аспиранты разбиваются для изучения конкретных экономических дисциплин по секциям экономики промышленности, экономики товарооборота, кредитно-финансовой, мирового хозяйства, экономической географии. Товарищи, желающие избрать тему специальности (экономическая статистика, история народного хозяйства, экономика транспорта) или работы в области теоретической экономики или теории советского хозяйства, могут со специального разрешения коллегии Института, работать в избранной ими отрасли экономики в индивидуальном порядке под соответствующим руководством. Секционная работа аспирантов по возможности увязывается с научно-исследовательской работой Института. На ряду с изучением основной избранной ими дисциплины, аспиранты прорабатывают ряд вспомогательных дисциплин, необходимых для данной специальности.

После трех лет теоретической и секционной подготовки, аспирант обязан представить и защитить диссертацию, после чего он считается окончившим Институт экономики и получает соответствующий отзыв от президиума РАНИОН¹.

Одновременно с указанной выше учебной работой аспирант обязан изучать (в степени, необходимой для свободного чтения экономической литературы) немецкий и английский языки, а также вести практическую педагогическую работу в вузах и исследовательскую работу в экономических учреждениях.

По защите диссертаций товарищи направляются в вузы для педагогической работы в экономические наркоматы и учреждения для исследовательской работы.

Подробные условия поступления в Экономический институт РАНИОН¹ см. в газете «Правда», от 28 марта 1928 года и в «Справочнике аспиранта» на 1928 год.

Институт экономики.

Ответственный редактор А. М. Добрян.

Редакционная коллегия: { А. А. Маленков, Н. Н. Покровский, Я. Я. Соколов,
А. К. Тимирязев.